

АКУНИН-ЧХАРТИШВИЛИ

ДРУГОЙ
ПУТЬ

Annotation

Действие нового романа происходит в 1920-е годы.

Если «Аристонмия» была посвящена «Большому Миру», то есть миру глобальных идей и большой истории, то в центре романа «Другой Путь» находится «Малый Мир» – мир личных отношений и любви.

- [Борис Акунин, Григорий Чхартишвили](#)
 -
 -
 - [НЛ и ННЛ](#)
 - [Краткая история Любви](#)
 - [Altera pars](#)
 - [Любовь Нового времени](#)
 - [Соблазн Шопенгауэра](#)
 - [Анамнез Любви](#)
 - [«Неправильная Любовь»](#)
 - [Любовь и Вера](#)
 - [Любовь мужская и женская](#)
 - [Физическая составляющая](#)
 - [НЛ](#)
 - [Настоящая Настоящая Любовь](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)



Борис Акунин, Григорий Чхартишвили

Другой Путь

Текст печатается в авторской редакции, орфографии и пунктуации

© Akunin-Chkhartishvili, 2015

* * *

НН и ННН

Ситуация, в которой я сейчас
оказался, не только выбила
меня из привычной и по сути
комфортной жизненной колеи,
во и выбила потребности,
частично пренебрегая системой
взглядов, изложенную в пред-
ыдущих разделах.

Во вступлении к трактату
говоря о том, что по гробовому
мою убеждению, в котором
без исключения человек
зарожен и как утка: дар
и то главной целью жизни
жизни следует считать обнуле-
нение в себе и всемерное
развитие этого природного ре-
сурса, я написал: "Я признаю, что
счастье бывает и другого про-
исхождения - дарованное ста-
ршей любовью, или барменской
заманчивой саморазлугой.

Если бы не свет и тепло
любви, жизни барменства и
дарованной любви не имеющих след,
была бы невозможна. Прогнози-
рую, впрочем, что естественная по-
добы - тоже дар, который благо-
датен не все и не в равной мере.

Однако я не могу углубиться в
это. Подобие асфальта, поскольку
никак не вращается в нем экста-
зом. Мне хотелось бы сказать, что в
природе любви лучше разобран
женщина. Во всяком случае, я бы

(Из клетчатой тетради)

НЛ и ННЛ

Ситуация, в которой я сейчас оказался, не только выбила меня из наезженной и по-своему комфортной жизненной колеи, но и вызвала потребность частично пересмотреть систему взглядов, изложенную в предшествующих разделах.

Во вступлении к трактату, говоря о том, что, по глубокому моему убеждению, в каждом без исключения человеке заложен некий уникальный Дар и что главной целью всякой жизни следует считать обнаружение в себе и всемерное развитие этого природного ресурса, я написал: «Счастливой можно назвать жизнь, если она была полностью реализована, если человек сумел раскрыть свой Дар и поделился им с миром». Там же, в сноске, правда, оговорено: «Я признаю, что счастье бывает и другого происхождения – дарованное счастливой любовью, этим волшебным заменителем самореализации. Если бы не свет и тепло любви, жизнь большинства людей, *до самой смерти не нашедших себя*, была бы невыносима. Предполагаю, впрочем, что способность любви – тоже Дар, которым обладают не все и не в равной мере. Однако я не могу углубляться в этот особый аспект, поскольку никак не являюсь в нем экспертом. Мне почему-то кажется, что в природе любви способна лучше разобраться женщина. Во всяком случае, я бы прочитал такой трактат с интересом». Иными словами, я уклонился от изучения этой темы, с одной стороны, ощущая свою некомпетентность, а с другой, если уж быть до конца честным, боясь ворошить болезненные воспоминания.

В нынешнем же моем положении, хочу я того или нет, мне все-таки приходится заняться этой проблематикой, поскольку никто так и не написал трактата о любви, который давал бы удовлетворительный ответ на занимающие меня вопросы. Я по-прежнему чувствую свою удручающую бездарность в сфере, касающейся сложных, по большей части нерациональных движений души – будто я дальтоник, которому предстоит рассуждать о колористических гаммах, или глухой, решивший стать музыкальным критиком. Но, как говорится, нужда заставила. Та часть жизни, которую я полагал давно похороненной, вдруг воскресла и чуть не сшибла меня с ног своим внезапным натиском. Я остановился, растерянный, испуганный, сбившийся с пути. Мне нужно собраться с мыслями, восстановить ориентацию в экзистенциальном пространстве. И сделать это я смогу единственным знакомым мне образом:

проанализировав возникшие новые обстоятельства.

Мой личный опыт психоэмоциональной эволюции, именуемой «любовью», не только скуден, но и травматичен. Не потому что я любил безответно или несчастливо, о нет, а потому что после резекции образовалась рана, которая заживала долго и мучительно. Теперь же приходится ее беречь, сдирать наросшее за годы «дикое мясо». В то же время рационализация может сыграть роль анестезии, облегчающей болевые ощущения, которыми будет сопровождаться эта операция.

Я, конечно же, попробую обойтись без автобиографических подробностей. Не из опасения, что мою рукопись прочтут чужие глаза (я пишу в трактате вещи несравненно более рискованные), а потому что в теоретическом исследовании личный опыт может оказаться вреден и увести в сторону – от общего к частному, от универсального к феноменологическому.

Я буду писать не про свою любовь, а про любовь как явление, частным случаем которой были выпавшие на мою долю переживания. (Заодно, может быть, пойму, до какой степени они типичны и что я делал неправильно.)

Научный подход к такой теме, как любовь, – отдаю себе в этом отчет – постороннему взгляду может показаться комичным. Но я ведь пишу не для посторонних, а для себя. И потом, так уж я устроен: я способен по-настоящему воспринимать реальность, только если разложил ее по полочкам.

Мне хорошо знакома методика, с помощью которой полагается исследовать область, где чувствуешь себя полным профаном.

Сначала нужно определить цель изысканий: сформулировать вопрос или вопросы, на которые хочешь найти ответ. Затем – составить список литературы, включив туда труды авторов, которые считаются знатоками темы. По ходу чтения будут непременно возникать собственные суждения, ремарки и мысли. Потом обозначатся и первые выводы: поначалу робкие, но к концу всё более определенные. Точно таким же способом в разное время я изучил множество разных дисциплин и раскрыл некоторое количество научных загадок. Отчего же не применить проверенный метод и для анализа загадки, именуемой «любовью»?

В конце концов, я далеко не первый зануда, кто пытается подвергнуть эту эфемерную субстанцию анатомическому препарированию. Существует целое направление философской науки, которое только этим и занимается. Оно называется «философия любви».

Но я назвал вставную главу моего трактата об аристонии иначе: «Другой Путь». «Путь» – с большой буквы, ибо я имею в виду жизненный алгоритм, способный полноценно заменить «Закон Лучшего» (номос + аристос), в следовании которому мне видится истинное назначение человеческого существования.

В главе, посвященной выведению формулы аристонии, я пришел к выводу, что настоящим аристономом человек может считаться, если он 1) стремится к развитию; 2) обладает самоуважением; 3) ответственен; 4) выдержан; 5) мужественен; 6) уважителен к окружающим; 7) сострадателен – причем дефицит любой из этих семи характеристик приводит к дисквалификации. Это весьма строгий кодекс, условиям которого соответствуют очень немногие. (Например, сам я к числу аристономов причислить себя не могу, так как в недостаточной степени наделен четвертым качеством и тем более пятым.) Очевидно, что на свете гораздо больше тех, кто обретает жизненный смысл и счастье благодаря любви. Уже потому этот Путь заслуживает не менее скрупулезного изучения, чем аристонический.

Многие скажут: «Не усложняй, умник. Просто люби, как можешь, и старайся, чтобы тебя тоже любили. Вот вся премудрость». Однако же я вслед за Сократом считаю, что, если человек не попытается осмыслить свою жизнь во всех ее проявлениях, она так и останется бессмысленной. А кроме того, ничего простого в любви нет. И, за исключением очень немногих, кто от рождения наделен даром *мудро любить* (а это такой же талант, как другие, если только не самый драгоценный из всех), люди любить не умеют или любят неправильно и настоящего счастья, равно как и самораскрытия, на этом пути не достигают. Более того: любовь, как мощный инструмент, может способствовать не только созиданию, но и разрушению, в том числе саморазрушению. Примеров тому множество и в литературе, и в повседневной жизни.

Углубившись в тему, я обнаружил, что, хоть любят или пытаются любить почти все, мало кому удается найти «настоящую любовь», а уж тех, кто обрел «*настоящую настоящую любовь*» (я потом объясню значение этого странного термина), и вовсе единицы. Такие счастливицы, кажется, встречаются ненамного чаще, чем аристономы, и я вполне мог бы, подобно Стендалю в романе «Пармская обитель», закончить эту вводную главу цитатой-посвящением из Гольдсмита: «To the happy few»^[1].

В мировой культуре тема любви занимает больше места, чем даже религия. Любовь, собственно, и является культом, которому человечество служит с не меньшим пылом, чем Иисусу, Аллаху или Будде.

В современном мире она безусловно значит больше, чем Вера. Но и у Павла в «Первом послании к Коринфянам» говорится: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Можно было бы подумать, что апостол имеет в виду любовь к Богу, однако ниже сказано: «пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше». И как бы теологи ни пытались интерпретировать это речение, оно недвусмысленно. Впрочем, на конфликте между Любовью и Верой я подробно остановлюсь позднее.

Сейчас же пришло время обозначить задачи, решение которых я надеюсь найти, приступая к своему исследованию.

Их две.

Задача-минимум может быть изложена в следующем виде:

«Каковы параметры любви, которая могла бы стать Другим Путем, то есть полноценным субститутотом аристонии, позволяющим личности достичь самораскрытия и счастья?»

Такую любовь я буду обозначать аббревиатурой «НЛ», «Настоящая Любовь».

Задача-максимум несравненно сложнее. Не уверен, что она вообще имеет решение. Прежде чем ее сформулировать, придется сделать небольшое отступление.

Я начинал писать трактат об аристонии, исходя из бытийных обстоятельств, в которых находился в тот момент. Это был мир одиночества, выстроенный и обжитый мной ценой долгих, тяжелых усилий, но по-своему комфортный и неплохо защищенный.

Аристонический Путь, конечно же, предназначен именно для такой системы координат. Человек, облагодетельствованный (но и обремененный) эмоциональной связью с другими людьми – семьей или возлюбленной, – живет в условиях несвободы. Принимая выбор в некоей трудной, *принципиальной* ситуации, он часто оказывается перед неразрешимой дилеммой, когда приходится жертвовать или своими принципами – или благом, а то и самое жизнью близких людей. В двадцатом веке, в моей стране, в моем поколении через подобную душераздирающую альтернативу прошли очень и очень многие. В том числе и я. Достойного выхода из этой ужасной коллизии не существует. Ты в любом случае

получаешься предателем и достоин осуждения. Те, кто из любви или жалости к родным изменил Идею, отказываются от аристократического Пути и теряют самоуважение. Это разрушительно для личности. Но те, кто не поступился своими убеждениями, заплатив за это любовью и любимыми, вызывают содрогание. Их-то, я полагаю, и имел в виду Павел, говоря об отдающих тело свое на сожжение в ущерб любви.

Как же быть? Неужели для человека, стремящегося к аристократии, любовь – непозволительная роскошь? Неужели нужно выбирать между двумя этими видами счастья?

И снова – человек более мудрый, чем я, сказал бы: «Не морочь себе голову. Живи и радуйся счастью, пока оно есть. Не отравляй его пустыми страхами. На трудном повороте судьбы внутренний камертон подскажет тебе, как должно поступить». Но мудрецы трактатов не пишут, ибо слишком мудры для этого. Трактаты пишут умники, к числу которых принадлежу и я. Нам, умникам, необходимо заранее все предусмотреть и спланировать, повсюду подстелить соломки.

Вот вторая задача, несравненно более сложная, чем первая. Признаюсь честно, что она повергает меня в трепет своей трудноразрешимостью:

«Бывает ли такая любовь, которая позволяет человеку не отказываться от аристократического принципа существования?»

Я буду называть такую любовь, если она вообще возможна, «ННЛ», то есть «настоящей Настоящей Любовью».

Что ж, вопросы сформулированы. Приступаю к поиску ответов.

Предмет исследования: любовь и Любовь

Слова «любовь», «любить» используются столь широко и в столь разных смыслах, что, если уж придерживаться научного метода, необходимо вначале как можно точнее определить, какую именно любовь я выбрал в качестве предмета исследования, и во избежание путаницы отделить ее терминологически от всех других «любовей».

На свете немало людей (гораздо больше, чем может показаться завсегдатаям кинотеатров и читателям романов), которые по своей натуре либо вообще не способны испытывать любовь, либо любят только самих себя. С их точки зрения, поведение любящего выглядит иррациональным и даже абсурдным, вызывает непонимание и раздражение. Я и сам так

долго жил вне любви, что стал забывать, как это специфическое состояние влияет на психику и поступки. Сколько раз я назидательно, а то и сердито поучал какую-нибудь аспирантку или медицинскую сестру, которая от любовных терзаний начинала проявлять нерадивость: «Любить, барышня, надо свое дело, и никогда этой любви не изменять» – или что-то подобное. (На днях, погруженный в эти терминологические размышления, я был вынужден вспомнить свою присказку и покраснел. Видел в общепитовской столовой, как бабушка кормила ложкой внука, тот отворачивался, хныкал, что не любит пшенку, и старушка ему говорила:

«Любить надо родину, партию, Ленина-Сталина, бабулю. А кашу надо кушать»).

«Любовь к своему делу», «любовь к каше», «любовь к Ленину-Сталину» и «любовь к бабуле» – совершенно отдельные классы любви. Кроме общего смысла сердечной привязанности их ничто между собой не объединяет. И все они не имеют отношения к предмету моего исследования.

Древние греки называли сущностно несходные сердечные привязанности разными словами.

Одно дело – *филос*, нечувственная и не обусловленная родством любовь к друзьям, к определенным занятиям или к системе взглядов. То есть любовь добровольная, рациональная и, если угодно, *необязательная*, хотя она может стать и главным смыслом жизни. Такова, например, «любовь к своему делу».

Сторхе, любовь к родным («к бабуле»), напротив, является долгом всякого нравственного человека.

Одухотворенная, всепоглощающая любовь к богам почиталась как высшая из форм любви и называлась *агапе*. Позднее, в христианскую эпоху, она трансформируется в любовь к Единому Богу и долгое время будет считаться единственной похвальной формой любви. «Любовь к Ленину-Сталину», пожалуй, тоже из этой области.

Та любовь, которую исследую я, разумеется, ведет свою генеалогию от античного *эроса*. Изначально это слово употреблялось в весьма широком значении – как всякое страстное желание (оно буквально и значит «желание»), однако со временем, будучи привязано к культу бога Эрота, стало использоваться главным образом для обозначения чувственных устремлений. И если бы кто-то сказал, что испытывает эрос по отношению к каше, бабуле или диктатору, для греческого уха это прозвучало бы странно или даже непристойно.

Впоследствии я подробно опишу историческую эволюцию эроса.

Сейчас же ограничусь замечанием, что душевное состояние, которому посвящена моя вводная глава, относится именно к эротическому изводу любви и обозначает комплекс эмоциональных, физиологических, мировоззренческих и психических отношений, возникающих между мужчиной и женщиной^[2].

Для того чтобы отличить свою любовь от всех других, в том числе самых прекрасных, я не буду придумывать особого слова, как мне пришлось поступить с «аристономией». Я просто во имя ясности введу заглавную букву: Любовь, Любить, Любимый.

Поразительно, но ответить на элементарный вопрос «что такое Любовь?» довольно трудно. Это напоминает ситуацию со сложной болезнью, которая хорошо известна по симптоматике, анамнезу, осложнениям и последствиям, но причина и возбудитель наукой не выявлены, и потому эффективной терапии медицина предложить не может. Честные врачи движутся наощупь, признавая свое бессилие; шарлатаны самоуверенно заявляют, будто владеют тайной лечения, – и лгут.

Эта ситуация не претерпела никаких изменений с тех пор, как философы и поэты впервые принялись рассуждать о Любви.

В «Филологическом словаре» так и написано: *«Л. – не имеющий чёткого научного определения термин, используемый в разных значениях».*

В процессе подготовки я выписал несколько десятков дефиниций как любви, так и Любви.

Есть совсем простые: *«Движение сердца, влекущее нас к живому существу, предмету или универсальной ценности».*

Встречаются и сложные: *«Принцип консубстанциальности бытия, через который раскрывается все его содержание»*, а то и очень сложные: *«Универсалия культуры субъектного ряда, фиксирующая в своем содержании глубокое индивидуально-избирательное интимное чувство, векторно направленное на свой предмет и объективирующееся в самодостаточном стремлении к нему. Л. называют также субъект-субъектное отношение, посредством которого реализуется данное чувство».*

Возможно, честнее всех поступил «Оксфордский словарь», написав: *«Психологи, возможно, поступили бы мудро, если бы отказались от ответственности за анализ этого термина и предоставили это поэтам».*

Всё же приведу несколько определений, за каждым из которых стоит своя традиция, школа или даже целое мировоззрение.

«Индивидуализация и экзальтация полового инстинкта».

«Неустовое влечение к тому, что убегает от нас».

«Страстное влечение к другому человеку с намерением создать семью, образовать пару, или испытать сексуально-романтические переживания».

«Комплексное аффективное состояние и переживание, связанное с первичным либидинозным катексисом^[3] объекта. Чувство характеризуется приподнятым настроением и эйфорией, иногда экстазом, временами болью».

«Высокая степень эмоционально положительного отношения, выделяющего его объект среди других и помещающего его в центр жизненных потребностей и интересов субъекта».

«Фиксация на другом человеке как на части своего „я“ и смысле своего существования».

«Отношение к кому-либо или чему-либо как безусловно ценному, объединение и соединенность с кем (чем) воспринимается как благо, т. е. одна из высших ценностей».

«Влечение одушевленного существа к другому для соединения с ним и взаимного восполнения жизни».

Я расположил эти дефиниции в определенном порядке: от «холодного» к «теплому» – по моей субъективной оценке. Теплее, теплее, совсем тепло. Последняя формулировка кажется мне уже очень близкой к искомому. Она принадлежит Владимиру Соловьеву.

В своей замечательной работе «Смысл любви» этот философ пишет: «Смысл и достоинство любви как чувства состоит в том, что она заставляет нас действительно всем нашим существом признать за другим то безусловное центральное значение, которое, в силу эгоизма, мы ощущаем только в самих себе. Любовь важна не как одно из наших чувств, а как перенесение всего нашего жизненного интереса из себя в другое, как перестановка самого центра нашей личной жизни. Это свойственно всякой любви, но половой любви по преимуществу; она отличается от других родов любви и большей интенсивностью, более захватывающим характером, и возможностью более полной и всесторонней взаимности; только эта любовь может вести к действительному и неразрывному соединению двух жизней в одну, только про нее и в слове Божьем сказано: будут два в плоть едину, т. е. станут одним реальным существом».

Я, в отличие от Соловьева, нерелигиозен и, наверное, был бы склонен считать выражение «два в едину плоть» не более чем красивой метафорой,

если б не имел перед глазами примера моих родителей, которые, раз соединившись, уже не расстались – буквально – до самого последнего мига своей жизни.

Настоящей Любовью (НЛ) я буду называть возникающую между двумя людьми связь, которая обусловлена неодолимой потребностью расширить рамки своего «Я» и превратить его в «Мы», то есть создать некое новое качество, новую общность.

Все виды любовных отношений, не стремящиеся к образованию такого союза или не выдерживающие испытаний, в это понятие я не включаю – пусть остаются просто «Любовями».

Сначала я попытаюсь разобраться в истории, философии и практике Настоящей Любви, отделив ее от всевозможных разновидностей Любви ненастоящей. Эта задача кажется мне относительно несложной, поскольку в литературе случаи НЛ многократно описаны, да и в окружающей жизни они хоть нечасто, но все же встречаются.

Куда труднее мне придется, когда нужно будет перейти к дескрипции ННЛ, правила которой мне пока непонятны и, может быть, окажутся нереализуемыми.

Существует множество теорий, пытающихся дать объяснение тому, что такое Любовь; в чем состоит ее предназначение; что следует ею считать, что не следует, и так далее.

Каждая из наук, занимающихся исследованием человека во всех его жизненных проявлениях, трактует Любовь со своей колокольни.

С точки зрения эволюционной биологии, это усложненное (по сравнению с животными) проявление инстинкта продолжения рода и инструмент естественного отбора, заставляющий особь выбирать оптимального партнера для производства потомства.

С точки зрения теологии, Любовь – дар, ниспосланный Господом. Как все теории мистического происхождения, эта очень удобна, поскольку в труднообъяснимых случаях всегда можно сослаться на непостижимость Божьего Промысла и ограниченность человеческого рассудка.

Есть целый ряд теорий психологического направления, исследующих только эмоционально-поведенческий механизм Любви.

Есть теории социологические, которые рассматривают Любовь как явление идеологическое и исторически обусловленное. Например, в радикально-феминистских кругах возникла версия, будто Любовь выдумана и культивируется мужчинами в качестве убаюкивающего средства и наркотика, дабы навязать женщине подчиненную роль в семье

и обществе.

Предметом особенного интереса Любовь является для философии – вероятно, самой главной из наук, ибо она берет на себя очень трудную и важную миссию: предложить нам такую версию бытия, которая сделала бы человеческую жизнь осмысленной и плодотворной, избавила бы нас от экзистенциального страха и прибавила нам мужества – ведь объяснённое и понятное пугает меньше, чем неизведанное и иррациональное. Поскольку люди устроены по-разному, единой философской теории быть не должно и не может. Каждый, у кого вообще есть потребность в рефлексии, выбирает ту из концепций жизненного смысла, которая лучше подходит данному типу личности и более всего помогает нести груз существования.

Философия любви давно выделилась в своего рода субдисциплину, изобилующую самыми разными толкованиями, от грубо-материалистических до весьма затейливых. Я посвящу обзору этих версий всю следующую главу.

Как уже было сказано, для моей цели, каковой является поиск той Любви, которая способна стать альтернативой аристоническому развитию (либо же, в идеале, совместиться с ним), более всего подходит взгляд на Любовь как на взаимообогащающий и взаимостимулирующий союз, когда Любящие перемоделируют свою личность во имя создания новой общности, меняясь в лучшую сторону. К этой идее, восходящей своими корнями еще к Аристотелю и Платону, сделал существенное дополнение Владимир Соловьев, выделивший три вида отношений такого типа.

Это, во-первых, Любовь нисходящая (*amor descendens*), которая отдает больше, чем берет; Любовь восходящая (*amor ascendens*) – преимущественно берущая, а не дающая; и наконец Любовь равная (*amor aequalis*) – при которой каждый дает и получает в равной мере.

К категории НЛ, Настоящей Любви, на мой взгляд, можно отнести лишь третий вид – с оговоркой, что речь идет не об арифметически-симметричном равенстве, а о сочетании Любви нисходящей с Любовью восходящей, когда в зависимости от ситуации роли дающего и берущего чередуются и гармонично переплетаются, поскольку каждый из партнеров в чем-то сильнее, а в чем-то слабее другого.

Итак, с моей точки зрения, **Настоящая Любовь – это федерация двух равноправных автономий, которые не поглощают, а дополняют и развивают друг друга.**

Однако этот взгляд не является единственным или преобладающим.

Его придется обосновывать и доказывать, а для этого нужно сначала пройти по всему историческому маршруту «Любовеведения» от его истоков до сегодняшнего дня.



(Фотоальбом)

* * *

– Это ничего не меняет, – сказала Вера, откидываясь на подушку. Тронула покрасневшую щеку, не глядя потянулась к тумбочке, безошибочно точным движением вытянула из пачки папиросу. У нее все

движения были безошибочными и точными. – Ты ведь понимаешь, Рогачов, что это ничего не меняет?

– Понимаю. – Он поднес ей спичку. Сам тоже закурил. – Я тебя люблю. Ты меня любишь. Но это ничего не меняет.

Комната была просторная – что называется, с остатками былой роскоши. Раньше здание принадлежало банку, здесь находился кабинет управляющего. От тех времен осталась мясистая лепнина на потолке и хрустальная люстра с дюжиной пузатых плафонов. Но всю мебель, красное дерево чепуху, Рогачов велел отдать в наркоматовский клуб, оставил только сейф для документов и канцелярский шкаф, в котором хранил одежду и личное имущество, при необходимости без труда помещавшееся в небольшой чемодан. Посередине комнаты стояла железная кровать, около нее стул, исполнявший функцию тумбочки. Всё.

Рогачов здесь жил, вернее спал. В соседнем помещении, за двойной дверью, находился рабочий кабинет, бывшая секретарская. Это рационально и удобно. Не нужно терять время, ездя на службу, со службы. Если валишься с ног, клюешь носом – зашел, рухнул на кровать, поспал час-другой. Или, допустим, надо переодеться.

Когда приходила Вера – это случалось нечасто, потому что у нее тоже дел невпроворот, – никуда ехать не нужно. Вошли, заперлись, а личный помощник, верный человек, держит оборону. Если что срочное – постучит.

Но сегодня Вера пришла в последний раз. И то – чудо.

– Я не хотела приходить, – сказала она, видимо, думая о том же. – Но мы с тобой плохо расстались. После всего, что у нас было, – плохо. Я решила, что нужно расстаться по-хорошему.

Вера глядела в потолок, тугой серой струйкой выпускала дым. Она красиво курила. Она всё делала красиво. Рогачов смотрел на нее, и в груди у него похрипывало, будто назревал и все не мог прорваться кашель.

– Я... кх... рад, что ты... кх... пришла. Вчера на съезде после голосования я тебе кивнул, а ты меня полоснула взглядом, будто я помесь Колчака с Юденичем.

– Ты хуже, – сказала Вера, не приняв шутливого тона. Серые прекрасные глаза были прищурены. Голос враждебен. Будто это не она пять минут назад обнимала его, стонала через стиснутые зубы. – Колчак с Юденичем хотели убить революцию. А вы с вашим Сталиным ее предали. Предательство хуже убийства. Вы променяли мировую революцию на чечевичную похлебку жалкой власти над жалким куском суши. «Социализм в одной отдельно взятой стране», «мирное сосуществование

двух систем» – чушь, и ты отлично это знаешь. У революции нет границ. Она захватывает весь мир. Или погибает. Твой Сталин – преступник. И вы все вместе с ним.

– Послушай, Бармина, ты же умная. – Рогачов тоже начал злиться. – Мы, большевики, – реалисты, только поэтому мы победили. И твой Троцкий во время Гражданской был реалистом. Воевал он хорошо, но восстанавливать и строить ему скучно. Вообразил себя новым Бонапартом, подавай ему всю Европу. Какая Европа? Мы и о Польшу-то несчастную в двадцатом году зубы сломали. Мы пока слабы, Бармина. Воевать нечем, жрать нечего! Будто ты не знаешь! Троцкий оторвался от реальности. Реалист теперь Сталин, и поэтому я – за Сталина. Мы должны показать мировому пролетариату, как замечательно умеет трудовой люд жить без буржуев. Когда мир увидит преимущества социализма, революции вспыхнут повсеместно! Сами собой!

– Какие преимущества? – Она села на кровати и теперь смотрела на него сверху вниз – так же яростно, как после голосования, определившего судьбу оппозиции. – Вы разлагаете и развращаете страну, которая без того разложена и развращена! Маните пряником мелкобуржуазности и нэпмановского уютца, щелкаете кнутом своего ГПУ, которое хуже царской Охранки. Опомнись, Рогачов! Вот за *это* мы с тобой погибали и убивали? Чтоб жены партработников форсили в мехах и ездили по магазинам на авто с шофером? Когда ты упал раненый – там, под Кронштадтом, – я тебя волокла по льду и плакала, а ты все повторял: «не жалко, не жалко» – помнишь? – ты вот ради этого хотел отдать свою жизнь? Чтоб членам ЦК выписывали матобеспечение по первому разряду, а членам Политбюро – по высшему? Чтоб люди шептались по углам и боялись пикнуть, потому что всюду шныряют филеры Дзержинского? Что за общество вы строите, Рогачов? Наверху – чинуши, внизу – трясущиеся от страха рабы? Всё снова-здорово, как при царе Горохе? У вас *это* называется социализмом?

Верин голос поднимался выше, наливался звоном, но не срывался. Так она говорила на митингах. Однажды на Дальнем Востоке она вернула на фронт краснопартизанский полк, взбунтовавшийся и перебивший политработников.

Когда Вера заводилась, надо было не кричать в ответ, а наоборот понижать голос. Тогда она умолкала.

– Победить в Гражданской войне было трудно, – тихо сказал Рогачов, – но в десять раз труднее будет победить косность сознания, шкурничество, хапужничество. Порядок новый, а люди-то прежние. Эту темную,

дремучую страну можно вытащить на свет только за шиворот, только пинками. Да, через страх – если через ум не получается. Нет пока ума. Его еще нажить надо. Как минимум – научиться грамоте, мыть руки перед едой, жить общественным интересом. Я за линию Сталина, потому что в Политбюро он яснее всех понимает эту грубую правду, готов впрячься в телегу и протащить ее через грязь.

– Твой Сталин – мерзавец. Единственное, что его интересует, – власть. Ради нее он пройдет по трупам.

– Мы все идем по трупам. Сколько их было – оглянись назад.

– Это были трупы врагов. А Сталин пройдет по трупам своих товарищей!

Они сидели в нескольких вершках друг от друга, нагие – и непримиримые.

– Если понадобится, он и собственную семью не пощадит, – жестко произнес Рогачов. – Если придется выбирать – не дрогнет. Сталин – он из стали. Это человек ледяного пламени, оно пылает в его желтых глазах.

– Да ты в него влюблен, Рогачов. Ишь, про глаза заговорил... – Злая усмешка искривила ее распухшие от поцелуев губы. – Вот что, Рогачов. Для ясности. Мы с тобой враги. Однажды я увижу тебя на мушке прицела. И моя рука не дрогнет.

– Даже так? – Комната была плохо протоплена, он вдруг ощутил это и поежился. – Ты считаешь, дойдет до этого?

– Не будь ребенком, Рогачов. Если вы нас не перебьете, то мы перебьем вас. Не в пятнашки играем. *Ваш* это понимает, *наш* – пока еще нет. Поэтому скорее всего стрелять в меня будешь ты. – Она дернула красивым голым плечом. – Ну, или подпишешь приговор, это все равно. Стрелять будет ваше ГПУ.

– Чушь. – Он смотрел на ее плечо и опять не чувствовал холода. – Никогда этого не будет. И насчет твоей руки, которая не дрогнет...

Взял ее кисть – узкую, с длинными тонкими пальцами, которых не портили даже обрезанные под корень ногти. Прижал к губам.

– ...Она дрогнет. И ты промахнешься.

Пальцы действительно задрожали, но Вера их выдернула.

Отбросив одеяло, она рывком поднялась на ноги. Фигура у Веры была узкобедрая, почти мальчишеская. На спине и ягодицах длинные белые полосы – следы от казачьей нагайки. В девятьсот седьмом начальник знаменитой Усть-Зелейской пересылки приказал строптивую каторжанку «выдрать как Сидорову козу». Подвергать женщин телесным наказаниям запрещалось, но Усть-Зелей в девятьсот седьмом жил по своим законам.

Начальник пересыльной тюрьмы был мерзавец. Знал, что политические после позорного наказания обычно накладывают на себя руки в знак протеста. Только не на ту напал. Вера не отравилась и не повесилась, а бежала из тюремного лазарета. Одна, тайгой и дикими реками добралась до Тихого океана и ушла с японскими рыбаками. Другой такой женщины на свете не было.

Рогачов спустил ноги с кровати. Провел рукой по ложбинке на Вериной спине.

– Я тебя люблю, – сказал он и снова захекал.

Вера отпрянула. На пол упал ремень, звякнул пряжкой.

Двое, тихо шептавшиеся в соседнем помещении, испуганно оглянулись на звук. Они стояли у длинного стола для заседаний. На другом столе, заваленном бумагами, чернели четыре телефонных аппарата: один обычный, один совнаркомовского коммутатора, один цековского коммутатора и еще прямой, с выходом к единственному абоненту.

– Встают! – шепнул помощник Рогачова, аккуратный блондин в коричневом френче, отодвигая льнущую к нему барышню. Она была не «товарищ» и даже не «гражданка», а именно что барышня: лицо сердечком, сама белокожая, с перекинутой через плечо черной косой. – Иди, нельзя тебе тут! Говорил же, никогда сюда не приходи!

– Как же было не прийти, Филечка! – пролепетала милая барышня и шмыгнула носиком. Ее глаза были влажны от слез, но не горестных, а наоборот, радостных. – Счастье-то какое!

Помощник коротко взглянул на нее (он всё смотрел на дверь), чмокнул в щеку.

– Иди, Софа, иди, дома отпразднуем.

Черноволосая Софа кивнула, взяла со стола сумочку – настоящую французскую, «Лориган Коти», из таможенного конфиската, Филин подарок на октябрьские.

– Погодь, – сказал он. – А это точно? Что понесла-то? Без ошибки?

Она прыснула.

– Дурачок. В женском деле ошибок не бывает.

– А рожать когда?

– Господь дозволит, к лету.

– «Господь», – передразнил он, поправляя ей славный завиток на лбу. – Всё, катись колбаской.

Девка была хорошая, послушная. Сразу и покатилась – шажочки мелкие, плавные, будто коромысло с полными ведрами несет.

У блондина от нежности затуманился взгляд. Но сказал вслед строго:

– Обстриги ты свою косу, сколько раз говорено. Перед людьми показаться стыдно. Ты мне теперь не какая-нибудь там, а жена будешь, законная.

Обернулась, личико засветилось.

– Ой, Филя... Филечка... – И слезы – прозрачные, что хрустальные бусинки.

– Про церковь даже не мечтай. – Он погрозил кулаком. – А насчет расписаться, это да. Чтобы дитё росло при отце, а не байстрючком, как я. – Оглянулся на шум из-за двери. – Всё, беги!

– Слушай. Давай поговорим еще...

Вера молчала, притоптывала об пол, загоняя ногу в сапог. Она одевалась так же, как в Гражданскую, по-военному.

– Мы с тобой большевики, – быстро заговорил Рогачов, понимая: сейчас уйдет. Навсегда. – Мы диалектики, а не схоласты от марксизма. Как ты не видишь очевидных вещей?

– Брось, Рогачов. – Она оправила гимнастерку. – Все слова сказаны, мы друг друга не переубедим.

Сняла со спинки стула кожан – тот же, в котором Рогачов впервые увидел ее почти пять лет назад, на Десятом съезде.

– Вы проиграете. Даже если Троцкий с Зиновьевым объединятся, вы проиграете. Вы уже проиграли. Вы обречены, – сказал он, как будто этот довод мог на нее подействовать. – Сейчас в тебе говорит просто упрямство...

Стук каблуков по паркету. Хлопнула дверь. За ней вторая.

Голый человек, сидящий на железной кровати, остался один.

Рогачов сломал четыре спички, пытаясь зажечь потухшую папиросу. Закрыв ладонями лицо, замычал.

Вот так заканчивается жизнь.

– Не ври, – сказал он вслух, тряхнул пальцами, будто что-то смахивал, и усмехнулся. – Заканчивается только счастье. А жизнь, она продолжается.

Быстро, по-солдатски, оделся.

На внутренней дверце шкафа, приколотая кнопкой, висела Верина фотография. Это он нарочно так повесил, чтобы посторонние – помощник или уборщица – не пялились. Утром, одеваясь, задерживался на карточке взглядом.

Снимок этот Рогачову ужасно нравился. Вера тут была на себя не похожа: в шляпке, с модной стрижкой, с накрашенными губами.

Фотографировалась в позапрошлом году, перед конспиративной поездкой в Германию.

Сдернул карточку, разорвал пополам, швырнул на пол. Будут подметать – выкинут. Кончено.

Скрипнула дверь.

Рогачов резко обернулся.

Это был Филя Бляхин.

– Товарищ Рогачов, вы велели без пятнадцати про Уральский металлургический напомнить...

Мигнул светлыми ресницами, скользнув по разобранной постели. Рогачова это не смутило. Чего Бляхина смущаться? Свой человек, который год вместе. Парень смысленый, но деликатный. Лишнего не скажет, куда не просят – не сунется.

– Да-да. Вызывай директора Микитенку.

– Уже вызвал. Ждет на проводе... – И, поколебавшись. – Чего это товарищ Бармина такая бледная вышли? Не заболели?

Рогачов, не отвечая, прошел в кабинет – Бляхин посторонился, пропуская.

Увидел на полу разорванную карточку. Поцокал языком, подобрал.

Милые бранятся – только тешатся. Хватится потом товарищ Рогачов, пожалеет, что фотку выкинул. А она – вот она, Бляхин сберег. Сзади ее калечкой проложить, да на клеёк.

– Здорово, Микитенко! – неся из соседней комнаты бодро-рыкастый голос. – Ты с каких это пор очковтирателем сделался? Я, Микитенко, очков не ношу, у меня глаз острый. Знаю, какая у тебя в литейном буза. Ну-ка, выкладывай начистоту, не по-директорски, а по-большевистски...

Краткая история любви Первая инкарнация.

Каждый, самым ранним из существующих до нашего времени кандидатский труд любви была космогония Пармениды, созданная в начале этого века до нашей эры. Философ славя, эросом любви, регулятором всего существа, ибо под воздействием этой энергии создавались катаклизмы, светила, звезды, планеты, растения и животные. Впрочем, воззрения Пармениды сохранились лишь в фрагментах. Неевропейско-популярно известна теория другого мыслителя, Эмпедокла (490-430). Он предполагал, что мир состоит из четырех первоосновных элементов: огня, воздуха, воды и земли. Эти стихии движимы любовью и ненавистью, однако находятся в постоянном взаимодействии. Свечи под влиянием духа и огня: любви и ненависти, иррациональной любви (Эмпедокл называет ее не-эросом, а философия) обрабатывает физические свойства свечей: вращение, движение, тепло и липкость, и они творят добро, единство, взаимоприятие, а ненависть порождает сухость, ожесточенность, огонь и зло, разделение, взаимное уничтожение.

Оригинально же первые философские трактаты, посвященные любви, которые люди испытывали

(Из клетчатой тетради)

Краткая история Любви

Первая инкарнация

Кажется, самой ранней из дошедших до нашего времени концепций любви была космогония Парменида, созданная в начале пятого века до нашей эры. Философ считал Эрос, силу любви, регулятором всего сущего, ибо под воздействием этой энергии оба вселенских начала, Свет и Тьма, связываются между собою, растут или ослабевают. Впрочем, воззрения Парменида сохранились лишь во фрагментах. Несколько подробнее известна теория другого мыслителя, Эмпедокла (490–430 гг. до н. э.). Он предполагал, что мир состоит из четырех первоосновных элементов: огня, воздуха, воды и земли. Эти стихии неизменны и вечны, однако находятся в постоянном взаимодействии под влиянием двух начал: любви и ненависти, причем любовь (Эмпедокл называет ее не «эросом», а «филосом») обладает физическими свойствами влаги, будучи текучей и липкой, и олицетворяет добро, единство, взаимопритяжение, а ненависть подобна сухому, обжигающему огню и знаменует зло, разъединение, взаимоотталкивание.

Примечательно, что первые философские трактаты, посвященные чувству, которое люди испытывали и желали как-то себе объяснить, по форме были поэмами. В последующие века философия и поэзия будут рассуждать о любви (вернее о Любви), применяя два разных, даже противоположных подхода – рационально-логический и эмоционально-образный.

Основополагающим текстом, от которого ведут свою генеалогию большинство позднейших теорий любви (во всяком случае, в западной традиции), является Платонов «Пир» (385–380 гг. до н. э.). В этом произведении описана застольная беседа («симпозиум»), происходящая в гостеприимном доме драматурга Агафона, где пирующие один за другим произносят похвальное слово богу любви Эроту, причем всякий излагает собственный взгляд. Не столь важно, что, согласно обыкновениям афинского просвещенного сословия, на пиру главным образом обсуждают любовь педерастическую, почитая ее более духовной и возвышенной, нежели гетеросексуальные отношения, ставящие перед собой «низменную» цель деторождения. Существенно другое: устами двух ораторов, Сократа

и Аристофана, Платон излагает концепции, на которых так или иначе будут базироваться главные направления любовной философии, которые я бы определил как эгоцентрическое и симбиотическое.

Сократ (превосходство которого над прочими участниками беседы всячески подчеркивается автором) произносит блестящую и, с точки зрения Платона, логически безупречную речь, суть которой сводится к тому, что основа любви – стремление к прекрасному, которого человек не обнаруживает в себе и предполагает обрести в партнере. Оратор приводит аллегория, по которой Эрот стал плодом соития богини нищеты Пеннии с богом предприимчивости Пором, когда тот напился пьян на дне рождения Афродиты. От матери Эрот унаследовал неутолимый голод, от отца – настойчивость, а поскольку был зачат в день Афродиты – влюбленность в красоту. Сам он нищ, некрасив и бездомен, но бесстрашен и одержим жаждой Красоты. Влияние этого бога на людей благотворно, ибо Красота – благо, а тот, кто стремится к благу, достигает счастья.

Аристофан, как и подобает драматургу, говорит ярче и образнее остальных. Он рассказывает легенду об андрогинах – древних существах с четырьмя руками и ногами, объединявших в себе оба пола и оттого обладавших огромной мощью, опасной для богов. Зевс рассек андрогинов надвое, чтобы сделать их слабыми. С тех пор две половинки некогда единой плоти бессознательно ищут друг друга, желая вновь воссоединиться. Этим инстинктом и объясняется любовное чувство, толкающее людей в объятья друг друга: не окажется ли возлюбленный той самой утраченной половиной? Аристофан утверждает, что человечество «достигнет блаженства тогда, когда мы вполне удовлетворим Эрота и каждый найдет соответствующий себе предмет любви, чтобы вернуться к своей первоначальной природе».

Таким образом, по Сократу Любовь – это голод души по Красоте; по Аристофану – стремление к созданию новой сущности.

Я называю «сократические» теории Любви эгоцентрическими, поскольку они сосредоточены на субъекте и его потребностях, ведь голод – ощущение сугубо индивидуальное. Оговорюсь здесь, что душа может голодать вовсе не обязательно по красоте и чему-то похвальному. В любовных отношениях можно найти сколько угодно примеров того, как людей притягивает страшное, порочное или безобразное. В сократовской смысловой паре «голод» и «красота» определяющим является первый компонент. (На этой теме я намереваюсь детально остановиться в дальнейшем.)

В то же время «аристофанический» взгляд на природу Любви

предполагает симбиоз двух стремящихся друг к другу личностей и не фиксируется только на одной из них.

Впоследствии каждая из этих концепций обросла множеством разветвлений, некоторые из которых не имеют ничего общего с Любовью. Так, ранняя христианская теология, почитавшая за единственно прекрасную сущность Бога, признавала приемлемой только любовь к Всевышнему, Любовь же полагала грехом или необходимым злом. Неслучайно в средневековой этике наилучшим образом жизни почитался монашеский.

Античные мыслители, продолжатели сократовской линии возвышающей любви, так далеко не заходили. Они не отвергали физиологической стороны любовных отношений, относясь к ней безо всякого осуждения, однако ставили «филос» выше «эроса».

В обиходной речи часто используют выражение «платоническая любовь», имея в виду отношения, лишённые чувственности и телесности. На самом деле, развивая сократовскую линию, Платон вовсе не возводил в идеал асексуальность. Он призывал подчинить голос плоти, равно как и другие «низменные» вождения, разуму и воле – во имя освобождения и духовного роста. Как любая программа индивидуального и автономного самоусовершенствования (в том числе и моя аристономия), эта позиция безусловно относится к категории эгоцентрических. Вообще нужно заметить, что именно такое отношение к любви и Любви являлось преобладающим на протяжении всей античности и еще долгое время по окончании этого исторического периода.

Теория любви, созданная учеником Платона великим Аристотелем, относится к той же школе, хоть и содержит ряд важных уточнений. Этот философ менее строг к человеческой телесности, почитая чувственность органичной частью души, однако же признает лишь спокойную и разумную привязанность «филос», осуждая самозабвенный и обсессивный «эрос».

Осторожный Эпикур, апологет душевной защищенности, которой можно достичь, лишь возведя вокруг себя прочную стену из минимальных потребностей и эмоциональной самодостаточности, тоже видел в Любви одну только опасность. Он советовал влюбленным поскорее жениться, ибо повседневность, деторождение и хозяйственные заботы быстро избавляют отношения от страсти, заменяя ее эмоцией более надежной и здоровой – дружеским расположением (то есть опять-таки «филосом»). Если вернуться к определению, которое я дал несколько выше, такой союз является не федерацией, а конфедерацией двух автономий, каждая из которых, в случае смерти партнера, сможет без разрушительных для себя

последствий пережить утрату.

Для философов, каковыми были Сократ, Платон, Аристотель или Эпикур, подобное отношение к жизни естественно. Философ – существо головного устройства, привыкшее всё рационализировать и, как правило, успешно справляющееся с грузом бытия в одиночку. Рассуждения философа о Любви – теоретизирования о голоде из уст человека, который довольно смутно представляет себе, что это такое. Это расположение духа мне хорошо знакомо по собственному опыту.

Но примечательно то, что в эпоху античности и поэты, которым, казалось бы, по складу ума и темпераменту следовало бы возвеличивать Любовь, относились к ней с изрядной настороженностью – гораздо приземленней и, я бы сказал, циничней, чем философы.

У Лукреция и Овидия, и поныне считающихся большими авторитетами в вопросах Любви, это чувство рассматривается как опасный недуг, который нельзя запускать, поскольку он может привести к безумству и гибели. По мнению Лукреция, сердечная привязанность – лишь помеха физическому удовольствию. С одобрением и аппетитом описывая прелесть любовных утех, поэт предостерегает читателя от того, что я называю Настоящей Любовью:

Но избегать должно нам сих химер, истребляя
Корни подобной любви, устремляя свой разум к иному;
Соки свои извергай в любое пригодное тело,
Не береги их во имя единственной страсти,
Это чревато несчастьем и тяжким страданьем...

Еще легкомысленней на Любовь смотрит Овидий, видя в ней увлекательную игру и формулируя правила этой чудесной забавы – вплоть до того, что дает женщинам точные инструкции, как следует себя вести во время соития.

Такое отношение к Любви, являющееся нисходящей ветвью эгоцентрической линии, я бы определил как «скептическое». Со временем у него, помимо легкомысленных поэтов, отыщутся сторонники и среди философов, которые теоретически обоснуют и аргументируют отрицание НЛ.

Большую часть Средневековья, все так называемые «темные века», из краткого обзора философии любви можно вычеркнуть, поскольку

в трудах отцов церкви, от Блаженного Августина до Фомы Аквинского, речь шла только о любви божественной. Собственно Любовь на время будто исчезла. Насколько можно судить, браки в ту эпоху заключались не по сердечному влечению, а из практических соображений и во имя продолжения рода. Был повсеместно распространен обычай женить по сговору, а в аристократических домах считалось нормальным даже заочное бракосочетание, когда жених присылал вместо себя на венчание своего представителя. Любовь (с большой буквы), вероятно, возникала и в таких семьях, однако была счастливой случайностью, и люди твердых этических взглядов должны были считать ее чем-то греховным, обкрадывающим Господа.

Можно сказать, что первая инкарнация Любви в западной эйкумене продолжалась примерно тысячу лет и закончилась вместе с античностью. На следующие полтысячелетия Любовь умерла или, по крайней мере, впала в глубокую и длительную гибернацию.

Этот померкший было свет засочился вновь, едва лишь оксидентальная цивилизация начала выходить из самой суровой поры варварства. С тех пор он больше не угасал, сияя все ярче и ярче. Поскольку это уже не древняя история, а *нынешняя жизнь* Любви, имеет смысл рассмотреть ее эволюцию поэтапно, в подробностях.

Вторая жизнь Любви

Реинкарнация Любви произошла в Окситании (современной южной Франции), наиболее зажиточном и культурно развитом регионе средневековой Европы, где в XI–XII веках возникла мода на «куртуазную Любовь», которая на провансальском языке называлась *fin'amor*, то есть красивая или утонченная Любовь.

Это явление было вызвано целым рядом естественных факторов. Прежде всего – смягчением условий существования вследствие хозяйственного развития и относительной политической стабильности. Человек так устроен, что когда борьба за выживание оставляет хоть какую-то часть внимания и сил незадействованными, этот ресурс начинает немедленно работать на усложнение жизненно-бытийных запросов. Пресловутый поиск Красоты, о котором так много писали еще античные авторы, в своей основе строится именно на этом – на движении от простого и необходимого к сложному и избыточному.

В материальном отношении общественный прогресс выразился в изобретении новых удобств, диверсификации пищевого рациона, улучшении качества построек. В области культурной – в тяге к украшательству и развитию искусств (что в конце концов приведет к Ренессансу). Ну а в сфере эмоциональной главные бенефициары всех этих благ, представители высшего сословия, начали ощущать потребность в более тонких чувствах. После долгих веков крайне сурового прозябания европейская жизнь начала смягчаться, и это обстоятельство нашло свое отражение в отношениях между полами. Как ни цинично это прозвучит, но воскресение Любви было явлением того же порядка, что возрождение пришедшей в упадок кулинарии, усовершенствование ювелирного ремесла или бум производства дорогих тканей.

Несомненно сыграло роль и культурное влияние соседствующей испано-арабской культуры, в которой к тому времени уже существовала традиция романтизированного отношения к Любви. Европейские дворяне попадали в плен к маврам, ездили к ним с посольствами и видели, как придворные поэты халифов и эмиров воспевают очень странные вещи: муку сердечной любви и преклонение перед женщиной^[4].

С точки зрения тогдашнего рыцаря-христианина, женщина была «сосудом греха», недочеловеком, средством для детопроизводства и заключения выгодных союзов. Следует учитывать и то, что у мужчины-дворянина существовало довольно туманное представление о женском мире. Мальчика в очень раннем возрасте разлучали с матерью, сестрами, няньками и отдавали на воспитание в воинскую среду. Да и потом, повзрослев, рыцарь почти не общался с равными по статусу представительницами противоположного пола. Вообразить их некими особенными и таинственными созданиями, поступки которых удивительны, а мотивы неподвластны пониманию, было очень просто.

С социальной точки зрения, расцвету «куртуазной Любви» способствовала сложившаяся к тому времени майоратная система, при которой, во избежание бесконечного дробления феодалов, наследником считался только старший сын, а прочие оставались безземельными и, стало быть, практически не имели шансов обзавестись собственной семьей. С дочерьми эта проблема решалась проще: бесприданниц обычно отдавали в монастырь и они выпадали из матримониально-любовного «оборота». Но кадеты (младшие сыновья) по большей части оставались в миру и имели достаточно досуга для того, чтобы вздыхать по чужим женам или заведомо недоступным невестам.

При дворе герцогов Аквитанских, графов Прованских и Шампанских,

постепенно распространяясь на сопредельные области Западной Европы, начал формироваться новый тип отношений между мужчинами и женщинами – разумеется, только аристократического сословия, а вслед за революцией в этикете возникло и новое, модное чувство: Любовь.

При этом оно не распространялось – во всяком случае не должно было распространяться – на брачные отношения. В двенадцатом столетии возник обычай проводить «Любовные суды», на которых заседали знатные дамы, вынося свои вердикты по поводу трудных Любовных случаев. Самый знаменитый из таких «трибуналов», проведенный графиней Шампанской в 1174 году, провозгласил: «Мы объявляем и постановляем, что Любовь не может иметь полной власти над женатой парой, ибо возлюбленные – это те, кто дарит Любовь по своей свободной воле, а не по необходимости и не по принуждению, в то время как муж и жена исполняют желания друг друга и не могут один другому ни в чем отказать из супружеского долга».

Брак считался скучной прозой, Любовь же должна была существовать по законам высокой поэзии. Неслучайно ее глашатаями, пропагандистами, законотворцами были трубадуры, среди которых попадаются очень важные сеньоры и даже монархи.

Куртуазную Любовь можно разделить на две категории: «земную» и «идеальную».

Первая представляла собой всего лишь метод ухаживания. Чтобы добиться благосклонности дамы, рыцарь должен был проявлять галантность, демонстрировать самоотверженность и доблесть – с целью добиться взаимности и насладиться плодами победы. Фактически это было не более чем усложнением эротического ритуала ради того, чтобы продлить наслаждение и сделать его изысканнее. Опасности, которыми сопровождалось подобное приключение, добавляли остроты и пикантности. Безумства поощрялись, они считались проявлением высокого вкуса, но в сущности разница с «практическим любовеведением» Лукреция или Овидия тут невелика.

Однако возникла и другая разновидность куртуазной Любви, которую скорее можно возвести к сократовско-платоновскому служению возвышенной Красоте. Обыкновенно такая влюбленность (служение даме) связывала вассала с владетельной или высокопоставленной женщиной, которая по своему положению была совершенно недоступна. Рыцарь поклонялся ей издалека, не надеясь на взаимность. Совершал в ее честь подвиги, сражался на турнирах, если умел – сочинял стихи. В данном случае предмет Любви словно бы переставал быть живой женщиной и превращался в символ всего прекрасного и возвышенного.

Конечно же, и «земная», и «идеальная» разновидности fin'amor целиком относились к «эгоцентрическому» направлению Любви, поскольку реальная женщина с ее чувствами и мыслями трубадуров занимала очень мало; в центре действий и переживаний всегда мужчина. Никому не приходило в голову спросить, хочет ли женщина, чтобы ее считали Прекрасной Дамой и пламенно обожали издалека. Собственно, куртуазная Любовь адресовалась не живому человеку, а некоему умозрительному образу.

Исследователю, который изучает историю, чтобы найти ответ на важные философские вопросы, куртуазность, этот младенческий возраст Любви, может показаться комичным манерничаньем, не заслуживающим особенного внимания. Но это заблуждение. Веяния, проявившиеся как дань придворной моде, обозначили серьезный сдвиг в сознании европейцев и повлекли за собой далеко идущие последствия.

Если раньше вся жизнь духа концентрировалась исключительно на религиозно-божественном поиске, то с этих пор стало считаться нормальным, если значительная часть душевных сил будет расходоваться на попытки установить эмоционально-психическую связь между мужчиной и женщиной. Это был первый шаг по преодолению экзистенциального одиночества, в котором обречен существовать человек, *без использования инструментария религии*; первый шаг к сближению половинок аристофанова андрогина.

Разумеется, даже в самых культурных кругах феодальной Европы нравы оставались весьма грубыми. Куртуазность по отношению к дамам была не более чем проформой и аффектацией, демонстрацией принадлежности к высшему сословию. Однако, как известно, даже сугубо декоративные поведенческие нормы вроде придворного этикета или правил учтивости оказывают огромное влияние на изменение личного и массового сознания, поскольку создают модель «правильного» и «неправильного» существования, определяя, к какому образу мыслей надлежит стремиться и какие чувства следует испытывать. Эти представления постепенно распространяются от верхушки социальной пирамиды вниз. Более же всего на умы и обычаи воздействует литература, жизнь которой гораздо долговечнее преходящей моды.

Если нудный латинский «Трактат о любви» (ок. 1200 г.), в котором парижский клирик Андре Капеллан изложил свод законов куртуазной Любви, так и не стал популярным чтением, то многочисленные рыцарские романы, описывающие служение Прекрасной Даме, а также баллады и сказания трубадуров, бардов, миннезингеров на протяжении нескольких

веков являлись чуть ли не единственным культурным развлечением всех мало-мальски образованных сословий.

Читая повести или слушая песни о том, как сэр Ланселот поклонялся королеве Гвиневре или как Тристан с Изольдой во имя страсти преодолевали тысячу препятствий, европейцы позднего Средневековья привыкали к идее, что, оказывается, возвышенную любовь можно испытывать не только к Господу.

Любви была выдана лицензия на почетное существование. Она стала считаться могущественной силой. Один из самых прославленных провансальских трубадуров, аквитанский герцог Гийом IX, сформулировал это так:

Ее восторги исцелят больного,
Но гнев ее здорового сразит;
Мудрец лишится от нее рассудка,
Красавец в безобразии впадет.

Важным открытием для мужчин было то, что женщина, оказывается, не только средство для удовлетворения полового инстинкта и что вообще-то неплохо бы для начала завоевать ее сердце, а потом уже насладиться радостями Любви.

Иначе стали ощущать себя и женщины, впервые почувствовавшие себя вправе – пускай не в социальном и не в юридическом, но хотя бы в этическом смысле – распоряжаться своими чувствами по собственному усмотрению.

Идея того, что в идеале Любовь должна быть *взаимной*, произвела настоящую революцию в сознании.

После того как провансальский очаг культуры, слишком контрастировавший с общим уровнем развития континента, был в XIII веке разорен войсками крестоносцев, авангард культуры переместился в Италию, где произошло Возрождение западной цивилизации, то есть восстановилась нить, которая тысячелетие назад была оборвана нашествием варваров.

Идеологическим сопровождением Ренессанса, осмыслением происходящих в обществе процессов, был гуманизм – учение, суть которого сводится к тому, что человек достоин уважения и любви таким, каков он есть, не только в духовной, но и в физической своей ипостаси.

Человек не безобразен и не низмен, ему незачем стыдиться своего естества. Применительно к эволюции Любви этот поворот мысли означал, что можно Любить, не стыдясь физиологичности и не терзаясь, что крадешь частицу любви у Бога.

Мысль, побаивающаяся преследований за вольнодумство, одеревеневшая от однобокого употребления (ведь целую тысячу лет ни о чем кроме божественного рассуждать не полагалось), на протяжении XV, XVI, да и большей части XVII столетия еще робка и малоподвижна. Философы были заняты тем, что заново открывали или переинтерпретировали идеи античности.

Умнейший автор своего времени Мишель де Монтень пишет: «Удачный брак отвергает Любовь; он стремится возместить ее дружбой. Это – не что иное, как приятное совместное проживание в течение всей жизни, полное устойчивости, доверия и бесконечного множества весьма осязаемых взаимных услуг и обязанностей» – то есть опять, вслед за Аристотелем, прославляет «филос», прибежище экзистенциального одиночества.

Мне не кажется нужным задерживаться на философии, относящейся к этому периоду полупробудившегося от оцепенения разума. Гораздо более важное открытие в ту эпоху сделала поэзия. В глухие времена, когда на кострах жгли ведьм, когда бушевали религиозные войны, когда от антисанитарии случались моровые поветрия, когда научные открытия воспринимались как опасная ересь, Уильям Шекспир вдруг заговорил зрелым, ничуть не инфантильным языком о Любви – не слепой, а зрячей. То есть о Любви не к отвлеченному, придуманному идеалу, а к живой женщине. Звучным, мощным стихом было впервые сказано, что Любимая – такая, какая она есть, со всеми своими несовершенствами и некрасивостями – для Любящего прекраснее и драгоценнее всякой красавицы и всякого идеала.

С дамасской розой, алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щек.
А тело пахнет так, как пахнет тело,
Не как фиалки нежный лепесток.

(Перевод С. Маршака)

Это любовь не к телесной оболочке с игнорированием души

и не любовь платоническая к одной только душе; это – Любовь, устремленная и к душе, и к телу, притом без самообмана и орнаментальности.

Философски ту же идею обосновал Спиноза, писавший, что любить должно не идеал, а живого человека во всей его полноте, духовной и физической, включая сюда и недостатки. Однако трактат «О Боге, человеке и его счастье» написан на полстолетия позже, чем 130-й сонет Шекспира.

Лишь в XVIII веке философия наконец продвинулась дальше античных образцов в исследовании Любви как одной из важнейших тем бытия, но эту работу мыслители вели параллельно с литераторами, и не так просто сказать, какая из двух методик – теоретическая или, так сказать, практическая – добилась лучших результатов.

Но перед тем как приступить к описанию великого наступления Любви, начавшегося двести лет назад и продолжающегося до настоящего времени, я, пожалуй, должен сделать небольшое отступление от хронологического принципа.



(Фотоальбом)

* * *

Дни всегда короткие. Чихнуть не успеешь – уже ночь. А в конце декабря вообще будто кто-то выключателем балуется: включил лампочку – и сразу выключил, включил – выключил.

Мирра любила, когда светло, солнечно и тепло, а еще лучше жарко, чтоб градусов тридцать или больше. Все потеют, в тенечек жмутся, а она плывет себе по самому солнцепеку, как верблюд по пескам Каракума, и ей хорошо.

Зимой же Мирра не ходила – бегала. Даже не потому что холодно,

она почти никогда не мерзла. Просто день короткий. Только начался, и уже заканчивается.

Между прочим, сегодня заканчивался и год, по-старому тысяча девятьсот двадцать пятый. Говорят, скоро введут новое летоисчисление, от седьмого ноября семнадцатого, и все месяцы переименуют, а дни недели со смешными старорежимными названиями («воскресенье», ха!) к чертовой бабушке отменят, но пока считали по-привычному, потому что очень уж большая волынка все календари переделывать и отсталого народа в стране еще много, запутаются. Есть дела поважнее и заботы понасущнее. Новый год пока что считали от первого января, но за праздник этот день числили лишь такие, кто одной ногой остался в прошлом. Есть еще несознательный элемент, для кого и рождество или пасха – праздники. Поразительно все-таки. Зачем оглядываться назад, словно там было что-то хорошее? Мирра не понимала людей, которые живут, словно плетутся, и всё ноют: «Ах, до войны ситный стоил три копейки! Ах, до войны на улицах было чище!» Жить надо днем сегодняшним, еще лучше – завтрашним. Нужно пришпоривать время.

«Клячу истории загоним! Левой, левой!» – командовала сама себе Мирра, маршируя по длинному общежитскому коридору.

От кухни шел Оська с терапевтического, тащил горячий чайник.

– Куда намылилась, Мирка?

– В урологию, на комитет.

– Зачем далеко ходить? Погляди на мою урологию. – Оська хлопнул себя по ширинке и заржал. Он был парень ничего себе, но дураковатый.

– Микроскопа с собой нет, – бросила Мирра, не сбиваясь с марша.

Хохма про «урологию» была с бородой. Факультетский комитет РЛКСМ перенес заседания в первую аудиторию урологического отделения еще в сентябре, а всё не нашутятся. Надоело.

Общага на медицинском факультете Первого МГУ была знатная, от царских времен. Какие-то городские толстосумы расщедрились, выстроили тогдашним студентам общежитие. Правда, жили не так, как нынче, а по-барски: у каждого отдельная комната. Это потому что учащихся было намного меньше. Сейчас селят по четверо, по пятеро. Мирре повезло, они с Лидкой отвоевали комнату на двоих, но крохотную, шестиметровую, где раньше была самоварная. Все равно, конечно, роскошь.

Урология была рядышком, только перебежать Большую Пироговскую, бывшую Большую Царицынскую. Но Мирра все равно опоздала. Просто

напасть какая-то – вечно неслась вприпрыжку, а никуда вовремя не попадала.

Главное, рассчитала минута в минуту. Освежившись морозным воздухом, подлетела к клинике – и спохватилась, что забыла взять «Лейку», а потом возвращаться будет уже некогда. Побежала обратно. Было еще самое начало шестого, а тьма полуночная. Жуткая гадость этот ваш декабрь.

Сгоняла туда-обратно пулей, но из-за того что торопилась, не спрятала фотоаппарат за отворот своей так называемой бекешки, которая была лет на десять старше Мирры. Ну и в вестибюле, конечно, ребята налетели, пристали: сними, сними. Всегда так. Отказать нельзя, не по-товарищески. А это небыстро. Девчонки перед зеркалом марафет наводят, парни друг у друга галстуки одалживают. Ничего не попишешь – сама, дура, виновата.

Это прошлым летом попала она на практику в коммуну для бывших беспризорников. Все побоялись, а Мирра согласилась. Практика получилась хорошая: девять переломов, шесть вывихов разной сложности, два сотрясения мозга, одно проникающее ножевое брюшной полости и одна настоящая срочная аппендэктомия. Не считая всяких мелочей. Пацаны как пацаны: любят веселых и нетрусливых. Мирра с ними быстро контакт нашла. На прощанье компашка самых отчаянных преподнесла «медичке» подарок: малоформатный аппарат «Лейка». Сперли, наверно, у иностранца или у нэпмана, но Мирра не стала обижать, взяла. Ведь от чистого сердца.

Выкинуть ее, что ли, камеру эту. Прямо житья нет. Сними да сними. Фотограф она им, что ли?

Короче, когда попала в аудиторию, секретарь Фима Абель уже всю докладывал.

Сегодня закончился четырнадцатый партсъезд, где происходило много интересного и не очень понятного. В райкоме РКП(б), которая отныне будет именоваться ВКП(б) – не Российская, а Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, – Фиме всё растолковали, и теперь он рассказывал товарищам, как и что: про сектантство ленинградской парторганизации, про то, как по-двурушнически повел себя товарищ Троцкий.

Фиму перебивали, заступались за Троцкого. Особенно ярился предстудкома Балабан. Он был старше остальных ребят, воевал на деникинском фронте, получил лично из рук председателя Реввоенсовета наградной браунинг и всегда говорил, что это Троцкий победил беляков, Ленин только тылом командовал, а про товарища Сталина тогда вообще

не слыхивали.

Все расшумелись, хрен слово вставишь. Но Мирра, конечно, вставила. Сказала:

– А я, честно скажу, не знаю, кто больше прав: товарищ Зиновьев, опасаясь усиления кулака, или товарищи Сталин с Бухариным, которые хотят, чтоб крестьяне жили богаче. Не разобралась пока. Но мне нравится, что на съезде нашей партии спорят в открытую и от народа своих споров не скрывают. Все хотят как лучше – вот что главное. У нас некоторые вузовцы бухтят по углам, что, мол, нету в СССР демократии. Есть! Но не для нэпманов с кулаками и не для мещан, которые заботятся только о своем брюхе. Право на демократию заработать надо, в жизни задарма ничего не бывает. Кто активный, кто за дело болеет, тот заслужил, а остальные – цыц, помалкивайте в тряпочку. Или давайте с нами, тогда и вас послушаем. Я уверена, что ленинградские товарищи волю большинства выполняют. Потому что партийная дисциплина и демократический централизм!

Послушать, что станут возражать, у Мирры времени уже не было. Она обещала Лидке в восемь быть на диспуте в Мосгубрабисе, а туда еще добираться.

Вроде вовремя сорвалась, в двадцать минут восьмого, но опять опоздала.

Заскочила по дороге в Красный уголок, на полминутки, только заплатить взнос в «Авиахим», а в фойе толпится народ, кто-то завывает плачущим голосом. Как не посмотреть?

На стене третий день висел портрет поэта Есенина в черной рамке. Лидка Эйзен, соседка по комнате, тоже над кроватью прицепила. Еще искусственную розочку снизу прикрепила. Раньше Есенина не любила, говорила, что вульгарный, а тут проревела всю ночь. Ну, Лидка – она и есть Лидка.

А здесь толпу собрала какая-то младшекурсница, золотые кудряшки, ротик бантиком, на болонку похожа. Мирра ее несколько раз мельком видела, фамилию только забыла.

Болонка побывала на похоронах поэта. Рассказывала, наслаждалась всеобщим вниманием. Мирра тоже послушала.

Маленькая дочка Есенина прочла над гробом стихи Пушкина. Все плакали.

Народу была уйма. Несли гроб от Дома печати на Страстной на руках. Три раза обошли вокруг памятника Пушкину. Плакали.

Пошли к дому Герцена. Какой-то поэт Кириллов, которого Мирра знать не знала, сказал речь. Еще поплакали.

Сходили с гробом к Камерному театру, завешенному черными полотнищами. Послушали траурный марш. (Болонка даже пропела несколько нот: пам, пам, па-пам, пам, па-пам, па-пам, пам – и сама прослезилась.)

Потом по Никитской, по Пресне направились на Ваганьковское. И тут уж наревелись на всю катушку.

Болонка протиснулась к самой могиле, видела всё и всех: и Качалова, и Зинаиду Райх (очень эффектная в черном), и Мейерхольда, и Книппер-Чехову (ну, эта уже в возрасте), и Таирова с Алисой Коонен (старорежимная вуалетка и ботики фетр на кнопках).

А еще раздавали листки с предсмертным стихотворением.

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, –
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

Пока длился рассказ, Мирра, хоть и фыркала, но держалась. Однако когда слушательницы, разнюнившись от стихотворения, тоже завсхлипывали, а болонка повернулась и с ревом поцеловала портрет, молчать не осталось мочи.

– Чего зря ревешь? – громко сказала она болонке в кудрявый затылок. – Возьми и тоже повесься, из солидарности. Только записку оставь: «Завещаю тело родному факультету». Сама знаешь, в анатомичке свежего трупматериала не хватает. Мы тебя препарлируем. По банкам заспиртуем: «Разбитое сердце вузовки Клячкиной», «Мочевой пузырь вузовки Клячкиной».

От злости даже болонкину фамилию вспомнила.

Клуша и мещанка Марамзян, педиатричка, накинулась с упреками – какой цинизм, какая жестокость. Жалко, времени не было дать сдачи как следует. Мирра совершенно кошмарно опаздывала.

Только крикнула, передразнивая певучий армянский акцент:
– МараЗМян, куший баклажян!
И с хохотом ускакала дальше, аллюр три креста.

Бежала по Пироговке – снег хрустел под ногами, в свете редких фонарей посверкивали снежинки. Налетал ветер, взметал клубы белой трухи.

Повезло – подкатил «пятнадцатый». Он, конечно, был битком, но Мирра привычно ввинтилась между полушубками, ватными телогреями, драповыми пальто, отвоевала свои полквadrата жизненного пространства. Перевела дух.

От нечего делать стала рассматривать свое отражение в черном стекле.

Физиономия круглая, как мяч. На лоб свесилась растрепанная русая челка, выбившись из-под шерстяного, по-пиратски завязанного платка.

Скажем со всей пролетарской прямоотой: не Мэри Пикфорд. Глаза – километр один от другого, скулы – картинка из медицинского атласа «Лицо человека, покусанного пчелами», нос типа «Картофель мелкий, обыкновенный».

Но Мирра из-за своей внешности не переживала. Во-первых, французский классик Марсель Пруст сказал: «Оставим красивых женщин мужчинам, лишенным воображения». А во-вторых, с красотой мы еще разберемся, на то есть Мечта.

В Доме Мосгубрабиса, Московского губернского профсоюза работников искусства, Мирра не сразу разобралась, куда идти, – вестибюль был весь завешан объявлениями.

«Вечер спайки рабфаковцев с труженниками балета». Не то.

«Доклад о гражданской войне в Китае». Интересно, но опять не то.

Лекция для работников комхоза. **«Творческий подход к снегоборьбе».**

Хм.

«Пути разрешения галошного кризиса». Тьфу на вас.

А, вот:

«Овальный зал 8 ч. веч.

ПОЛОВОЙ ВОПРОС ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ.

Выступление секретаря Красного Спортинтерна тов. Ганса Лемберг.

Свободный диспут».

В Овальном зале раньше, наверно, находилась гостиная или, может,

музыкальный салон. На расписном потолке по-над облаками парили пухлые нимфы с лирами, дудел на свирели козлоногий Пан. Старый мир улетел на небеса, оставил землю новым хозяевам.

Они сидели густо и тесно – шумные, молодые, черт-те во что одетые. Оборванцы-победители. Те, кто был ничем, а стал всем.

Мирра оглядела затылки (ни одного седого или плешивого), выискивая Лидку.

Увидела ребят с факультета.

Они замахали:

– Носик, давай к нам!

Один парень из последнего ряда (чубатый, веселоглазый – очень ничего) обернулся на Мирру, подмигнул:

– И правда – носик-курносик.

Такая у Мирры была фамилия – Носик. Мать рассказывала, что в прошлом веке, когда вышел царский указ переписать всех иудеев, в городки и местечки приехали чиновники, стали евреев заносить в книги. Быстро скумекали, что тут есть чем поживиться. У евреев фамилий отродясь не бывало, и казенные ловкачи устроили торг: кто платит – получает красивое прозвание, по собственному выбору, а нет – носи фамилию, какую дадут. И на славу поупражнялись в тупом антисемитском остроумии. Тонкоголосых нарекали «Соловейчиками», краснолицых – «Рубинчиками» и так далее.

По своей фамилии Мирра вычислила два факта. Во-первых, ее предок был бедняк, не имевший денег на взятку, а во-вторых, обладал монументальным еврейским носом. Она бы, между прочим, от такого не отказалась – большой нос придает лицу значительность. Но увы. От папаша, свиного рыла, Мирре достался какой-то пороссячий пяточок. Она была из детей знаменитого Кишиневского погрома, когда черносотенные скоты изнасиловали много еврейских женщин. Мирра очень надеялась, что ее безвестному родителю на войне, японской или германской, потом оторвало осколком его поганые причиндалы.

Попробовал бы кто Мирру насиловать. Без яиц бы остался, и войны не надо. Она иногда воображала, как повела бы себя, если бандиты или шпана какая-нибудь. Надо так: прикинуться, будто испугалась, на всё согласна, и даже сама не прочь. Взять мошонку в горсть – и резко, с вывертом, до разрыва семенных канатиков, чтоб с гарантией последующего некроза. Элементарная хирургическая манипуляция. А потом пускай хоть убивают. Мирра Носик не захочет – никакой кобель не вскочит.

Сердито зыркнув на ни в чем не повинного чубатого, будто это он собирался ее насиловать, Мирра показала однокурсникам вперед – нет, я туда.

С первого ряда, приподнявшись, махала рукой Эйзен: давай сюда, я тебе место заняла.

Зашипела:

– Вечно ты опаздываешь!

Лидка Эйзен среди публики, по преимуществу вузовско-рабфаковской, смотрелась будто орхидея среди чертополоха. Горжеточка, жакеточка, перчаточки на серебряных пуговках. Шляпка-«бутон» надвинута вроде бы небрежно, но Мирра-то знала, сколько времени Лидка торчит перед зеркалом, проверяя наклон и угол – хорошо ли тень ложится на лоб. Втирает тушь в подглазья, чтоб быть похожей на Лириан Гиш. И так-то бледна, как спирохета, ветром качает, а всё ей мало.

Лидка была девка хорошая, но с придурью. Очень уж любила интересничать. Говорила: «Новые вещи так вульгарны» – и выдирали из хорошей лисы шерсть, а бархатный жакет, на который потратила весь полученный от мамочки перевод, полночи терла резиновой щеткой – придавала изысканную потрепанность.

Но, надо сказать, на мужчин Лидкины ухищрения действовали. На нее и сейчас пялились, а она словно не замечала. Стратегия такая: «Ах-ах, я прекрасный цветок, любуйтесь мной, вдыхайте мой аромат, но руками не трогайте».

– Ужас, что несет этот тип, – прошептала Лидка, когда Мирра села. – Сил нет слушать!

На сцене стоял, рубил кулаком воздух неряшливый парень в драном бушлате: смазные сапоги с заляпанными галошами, рожа в угрях, сальные волосы.

– ...Страшно много несознательных и, прямо сказать, глупых девушек, которые насмерть держатся за свою невинность, – говорил оратор. – А от этого происходит большой общественный вред. Во-первых, эти несознательные гражданки мучают себя, подрывают свою физиологию и психику. Во-вторых, терзают мужчин, обрекая их на одиночество, неудовлетворенность и опасный для здоровья онанизм!

В зале заржали.

– Это докладчик из Спортинтерна? – удивилась Мирра.

– Да нет! – Лидка досадливо поморщилась. – Докладчик задерживается, а пока выступают все желающие. Это какой-то из общества

«Долой невинность».

– Зря регочете! – обиделся угреватый. – Молодому, здоровому организму необходима разрядка. Неудовлетворенная половая нужда мешает человеку сосредоточиться на работе или учебе, толкает на антиобщественные поступки! Жестче скажу: мешает строить социализм!

Он стал говорить, что жить надо по правде, а правда – она всегда простая и голая. Такими должны быть и современные половые взаимоотношения.

Слушали оратора, посмеиваясь, но и с интересом. Кое-кто выкрикивал: «Правильно! Даешь! Жги, Тимоха!»

– Революция, товарищи, для того и затеяна, чтоб люди были честными друг с другом. Это буржуазная мораль, попы с дворянами, учили прикидываться. Ухажер должен был стишки сочинять, про нежные чувства брехать, а на самом деле хотел того, что природой назначено – поскорей на бабу влезть. Барышня должна была закатывать глазки, изображать, что у нее фиалка-незабудка вместо, извиняюсь, причинного места, а «грязь» ее ничуть не интересует. Что ржете? Или я не правду говорю? Вот давайте я вас напрямки, по-комсомольски спрошу. – Он вышел на самый край сцены. – Товарищи мужчины, подымай честно руку. Кто, глядя на молодую сочную гражданку, говорит себе: «Ух, я бы ей попользовался!», а?

Лес рук, хохот. Мирра поглядела вокруг, засмеялась.

Лидка воскликнула:

– Мерзость какая!

– А теперь товарищей женщин спрошу. Товарищи женщины, кто, глядя на красивого парня, думает: «Ух, я бы с ним переспала!»

Мирра сразу подняла руку. Таких смелых в зале было мало. Парни заплодировали, Лидка зашипела: «Как тебе не стыдно!»

– Видите, товарищи, как еще мало передовых женщин, без предрассудков? Ура честным женщинам, товарищи! – провозгласил представитель общества «Долой невинность» и показал на Мирру, сидевшую ближе всех.

Она встала и крикнула:

– Ты особо не радуйся! Про тебя я такое не думаю!

Аплодисменты и хохот сделались еще громче. Выступавший залился краской, сердито махнул рукой и ушел со сцены. Мирра села на место, очень довольная собой.

Потом выступала немолодая, лет тридцати, тетка из Охматдета,

общества по охране материнства и детства. Говорила скучно, сыпала цифрами: после войны женщин детородного возраста в стране на два с половиной миллиона больше, чем мужчин, и есть несознательные элементы, которые пользуются этой ситуацией, а в детдомах между прочим уже двести пятьдесят тысяч детей без отца-матери, и мест не хватает.

– Сейчас ведь как, товарищи? Жениться не хотят. Сойдутся на недельку или на месяц, а потом в стороны. Или вообще так гуляют. Но это ж не в домино-шашки играть. От таких игр с женщинами сами знаете что бывает. В Москве средняя работница или вузовка делает по полтора аборта в год, товарищи.

– Как это «полтора аборта»? – крикнули из зала. – Подробно расскажи!

– Смешно им! А это, между прочим, будущие строители социализма не рождаются, красноармейцы и краснофлотцы. Вы же у советской власти граждан крадете!

– Мы, мужики, не виноваты! – не унимался тот же шутник. – Мы свое дело исправно сполняем! Это вы рожать не хотите!

Выступающая возмутилась:

– Да как же рожать, если дитё растить не на что?

Здесь с места поднялся солидный человек – костюм, галстук.

– Это вы, гражданка, бросьте! Нечего тут мрак наводить! При советской власти не как при самодержавии – всякой матери, женатой или неженатой, положены алименты!

Поставил на вид – и сел. Должно быть, ответственный работник. Или кто-то из Мосгубрабиса, присматривающий за диспутом – чтоб не свернул в неправильную сторону.

Но тетка из Охматдета солидного человека не испугалась. Вскинулась:

– Алименты, говоришь? Я вам расскажу про алименты. Только сегодня на женсовете разбирали случай. Ты, который в галстук, послушай.

И завела волынку. Про какую-то посудомойку, которая родила ребенка от соседа по квартире, женатого человека. По закону отец должен платить алимент пропорционально количеству едоков. А у соседа пятеро собственных детей. Суд посчитал его зарплату, поделил на восемь частей (муж, неработающая жена, шестеро малолетних) и выписал матери-одиночке пять с половиной в месяц. Живи, гражданка, корми дитё малое, одевай-обувай.

Зал слушал невнимательно, гудел, все болтали о своем.

Подруга начала рассказывать Мирре, как побывала на кинофабрике, там отбирают желающих сниматься в фильме про заграничную жизнь. Лидка всё свободное время таскалась по театрам, по кино, дарила цветы

знаменитым артистам, ездила на пробы и один раз даже попала на экран – в массовке картины «Гамбург», по произведениям Ларисы Рейснер. Но сзади, во втором ряду, две вузовки говорили про более интересное. Что жена товарища Буденного, которую недавно похоронили с военным оркестром, потому что она была конармейка и героиня, умерла не просто так, а что товарищ Буденный ее не то застрелил, не то зарубил шашкой. Любил ее лютой казацкой любовью, а она изменяла.

– Разносите чепуху, как торговки базарные, – сказала девушкам Мирра, обернувшись. – Еще, поди, комсомолки.

На сцене была уже не тетка, а какой-то парень – из Москомстудсоюза, что ли. Вроде одет по-пролетарски – серая косоворотка, красный бант на груди, кирзачи, а видно и слышно, что из бывших. Беда с ними. Вроде правильные вещи говорят, сыплют цитатами из Маркса-Энгельса, но очень уж стараются. Сейчас много таких норовит в РЛКСМ, а то и в партию втиснуться. Только нет им доверия.

Оратор говорил про новый уровень отношений между женщиной и женщиной, небывалый в истории человечества. Про то, что религия – опиум для народа, атак называемая любовь – опиум для молодежи.

– ...Нам, солдатам революции, не до нежностей и сентиментов. Сладкая сказочка про любовь выдумана поэтами и писателями из эксплуататорского класса, чтобы связать человека по рукам и ногам. Плодись, выкармливай потомство, заготавливай припасы. Мужчины и женщины, которым приходится растить семью, всего боятся, задавлены домашним бытом, прикованы друг к другу цепью, как каторжники. Семейный интерес для них выше общественного. Социализм избавит трудящихся от семейного рабства и любовных мерехлюндий, высвободит творческие силы души для настоящего, большого дела. Наша вузовская ячейка, товарищи, постановила в честь четырнадцатого партсъезда отработать четырнадцать воскресников на строительстве Миусской фабрики-кухни, которая будет обслуживать десять тысяч едоков ежедневно. Десять тысяч человек смогут обходиться без стояния в хвостах за продуктами, без примусов, без мытья посуды! И это только первые шаги, товарищи. Недалеко время, когда государство полностью возьмет на себя заботу о воспитании детей. Ребенок будет расти не в семье, а в прекрасно оборудованных интернатах, на попечении педагогов, с самого раннего возраста привыкая к равенству и коллективизму! И тогда осуществится великая мечта «Манифеста коммунистической партии», который призывал уничтожить семью вместе с частной наживой, наемным трудом и идиотизмом сельской жизни!

Публика не хлопала – как собака, чуяла чужого. Очень уж гладко он говорил, слишком искательно шарил взглядом.

– Товарищ Лемберг пришел, докладчик, – шепнула Лидка. – Я его на митинге солидарности с Гоминьданом видела. Интересный мужчина.

Сбоку к сцене подошел, присел на ступеньку светловолосый в пиджаке и свитере. Успокаивающе показал оратору: ничего, товарищ продолжай. Подмигнул залу – и сразу стало видно, что этот-то свой в доску, хоть и Ганс Лемберг.

Плечистый, стройный. И довольно молодой. Картинка!

– Вот этим блондинчиком я бы «попользовалась», – прошептала Мирра. – Так бы прямо и слопала.

Лидка строго покосилась, но когда Мирра сделала ртом «ам!» – не выдержала, хихикнула.

Интеллигент быстро свернул речь, так и не заработав аплодисментов.

Лемберг поднялся на сцену, прошелся, присматриваясь к аудитории.

Болтать перестали.

– Что вам сказать об отношении Всесоюзной коммунистической партии большевиков и Красного Спортинтерна к половым контактам, товарищи? – серьезно, даже сурово начал докладчик.

Сделал паузу, стало совсем тихо.

– ...Большевики и спортинтерновцы относятся к половым контактам очень хорошо и даже с энтузиазмом.

Засмеялись.

– Старшие товарищи поручили мне, секретарю Спортинтерна, выступить перед вами с докладом по вопросам половой любви, очевидно, рассматривая ее как один из видов физкультуры и спорта.

Снова смех – громкий, но короткий. Так бывает, когда людям хочется слушать дальше.

Вот ведь тоже интеллигент, думала Мирра, но не старорежимный, а наш, новый. Говорит грамотно, выглядит культурно, но нет в нем этого гниловатого двурушнического запаха. Когда нынешние рабфаковцы позаканчивают вузы, таких будет много.

Разморозив казенное слово «доклад» шуткой, товарищ Лемберг заговорил серьезно:

– Я, товарищи, перед тем как войти, в дверях постоял, послушал. Много было сказано дельного, но и завиральной чепухи тоже хватало. Начну с семейной проблемы. Правы были товарищи, кто критиковал регистрацию брака как пережиток буржуазной эпохи. Оно, конечно, так. Со временем запись в ЗАГСе отомрет за ненадобностью. Но на данном

этапе, товарищи, она нужна как способ борьбы с церковным браком. Лет через двадцать-тридцать, когда мы построим социализм и возьмемся за строительство коммунизма, люди будут сходиться для совместной жизни безо всякого бюрократизма и формализма. Свадьба и медовый месяц останутся, а свидетельство о браке станет ненужным.

– Свадьба – мещанский пережиток и повод для пьянства! – крикнули с места.

– А ты не напивайся до поросычьего визга. Знай меру, – парировал Лемберг. – Выпить для хорошего настроения, если есть повод, Карл Маркс с товарищем Лениным не запрещают. И Политбюро не возражает... Если же говорить серьезно, товарищи, то лично я за практику «пробных браков». Когда двое сначала пробуют, получится ли у них жить вместе, а потом уже гуляют свадьбу и заводят детей.

Аудитория на это откликнулась по-разному:

– Правильно! – кричали одни, в основном мужчины. Женские голоса по большей части были против.

– Тут товарищ говорил, что детей следует изымать из семей и передавать на воспитание государству, – продолжил выступающий. – Это чистой воды маниловщина. Нет у нас на то ни обученных кадров, ни средств. Сами знаете, сколько у нас беспризорников. И на них-то детдомов, коммун и колоний не хватает.

Рассказав, как партия борется с проблемой беспризорничества, товарищ Лемберг перешел на тему лирическую: о новом содержании любовно-брачных отношений.

– ...При социализме, товарищи, брак коренным образом отличается от прежнего идеала «голубок и горлица». Жениться нужно не ради создания «гнездышка», не ради мещанского уюта, не чтобы «прикрыть грех» и «соблюсти приличия». Для нас брак – товарищеский союз между мужчиной и женщиной, которые хотят не только любить друг друга, но и вместе делать общее дело – огромное, небывалое в истории человечества!

Мирра первая хлопала, не жалея ладоней. Другие подхватили.

– А детей рожать и воспитывать нужно! Это, товарищи, дело не личное, а государственное. Правильно тут говорили – от скучной хозяйственной рутины освободить себя очень хотелось бы. Но давайте смотреть правде в глаза: пока не получится. Зато наши с вами дети будут жить в других условиях. В счастливых условиях! И скажут нам с вами спасибо. Зато, что мы себя не жалели. Что проливали свою кровь и свой пот. Что думали не о своей шкуре. В чем наша сила, товарищи? В том,

что мы умеем мечтать и умеем делать мечту былью. И не надо думать, будто нам с вами достанутся одни мозоли, а пожинать плоды выпадет следующим поколениям. Вот нынче наступает 1926-й год, так? А представьте, какая жизнь у нас будет в канун 1956-го года! Скажете – это когда еще будет. Ничего, за хорошей работой время летит быстро. Вы будете только на шестом десятке. Да и я еще не очень состарюсь.

Доклад был хороший, бодрый. И недлинный. Мирра прочитала в одной умной книжке, что залог успеха при публичном выступлении – вовремя остановиться, когда аудитория еще не наслушалась. Красивый секретарь Спортинтерна этот секрет безусловно знал.

Потом пошли вопросы. Как обычно, каждый не столько спрашивал, сколько высказывал свою точку зрения. Но кто мямлил, нудил или нес чушь, того быстро осаживали – криками, а то и свистом.

Выслушали, посмеиваясь, но не прерывая, давешнего прыщавого из общества «Долой невинность».

– Опять вы, товарищ Лемберг, про союз одного мужчины с одной женщиной! Снова старая сказочка про любовь, а на стороне ни-ни? Ладно, допустим поселился я с какой-нибудь гражданкой. У нас любовь и все такое, я не возражаю. А партия посылает меня на стройку, или в Красную армию, охранять нашу советскую границу. Одного. И, согласно закону природы, начинается у меня физиологический голод. Могу я удовлетворить его с малознакомой или даже вовсе незнакомой женщиной, хоть сам и женатый?

– Нет, не можешь! – закричали девушки.

– А товарищ Коллонтай – между прочим, член нашего ЦК – иначе считает, – обернулся к ним парень. – Половой голод ничем не отличается от желудочного. Или от той же жажды. Берешь стакан воды, выпиваешь и, будучи удовлетворен, строишь социализм дальше. А товарищ женщина, которая своему же товарищу мужчине откажет в этом простом деле, будет не товарищ а сквалыга, которому жалко поделиться с товарищем куском хлеба. Правильно я говорю, товарищ Лемберг? – вспомнил он всё же, что нужно задать вопрос.

– Про «стакан воды» не товарищ Коллонтай сказала, а писательница прошлого века Жорж Санд, которая любила дразнить буржуазную мораль. «Любовь, как стакан воды, дается тому, кто попросит». – Лемберг с лукавой улыбкой поднял палец. – *Попросит*, ясно? Не потребует. А у нас некоторые лихие товарищи прут по-красноармейски, как в двадцатом на Врангеля: «Даешь Крым!» Но, во-первых, женщина не Врангель. Во-вторых,

ее любовь не Крым. А в-третьих, вот если, допустим, у тебя какой-нибудь вшивый, немывтый попросит: «Товарищ, дай свои подштанники поносить», ты дашь?

– Еще чего, – ответил парень. Он всё не садился.

– Так почему женщина тебе, прямо скажем, не Дугласу Фербенксу, должна давать? Мало ли что ты попросил.

В зале все так и легли, даже Лидка прыснула. Очень уж прыщавый мухортик из общества «Долой невинность» был не похож на Дугласа Фербенкса.

Еще не додохотали, а Мирра уже вскочила, подняв руку.

– В порядке реплики! – весело крикнула она. – Я вот не понимаю, товарищ Лемберг, почему женское участие в половом акте у вас, мужчин, называется «давать». Мы не даем, а берем. Доим мужчину, как корову. Выжимаем, как лимон. Женщина после оргазма переполняется энергией, а мужчина еле ноги волочит. Если, конечно, поработал как следует.

Ух, как ей захлопали – и мужнины, и женщины.

Кто-то сзади крикнул:

– Это наша, Мирка Носик, с хирургического!

Смеялся и спортинтерновский секретарь.

– Ну извини, товарищ. Исправлюсь.

Рядом поднялась Лидка. Ободренная успехом подруги, она тоже захотела выступить.

– И я в порядке реплики!

При всей хрупкости и манерности Лидка была не из застенчивых. Любила находиться в центре внимания.

Мирра села, чтобы не отвечивать.

На эффектную барышню смотрели с интересом. Лемберг даже подошел поближе, показал жестом: «Пожалуйста».

Лидка обратилась не к нему – к залу. Мирра отлично поняла геометрию Лидкиного маневра: повернулась к интересному мужчине профилем (он был точеный, еще выигрышнее фаса), но дала возможность и остальным собой полюбоваться.

– Знаете, чем человек отличается от животного? – тихим, но в то же время звучным голосом сказала Лидка. – У человека есть чувство красоты, а у животного нет. Животные спариваются, а люди...

Она задохнулась от волнения, и кто-то, воспользовавшись паузой, крикнул похабное:

– ...утся!

Грохнули. Мирра яростно обернулась, заметила шутника, погрозила

кулаком.

У Лидки бледное лицо пошло пятнами. Но трусихой она не была. Сглотнула и продолжила, будто ничего такого не слышала. Только голос повысила.

– Животные спариваются, а люди любят. Мы строим новое общество для того, чтобы жизнь стала из безобразной – красивой. Любовь между мужчиной и женщиной тоже должна стать красивее, чем раньше. А что мы видим вместо этого? Раньше мужчины ухаживали, дарили цветы, писали стихи. Это было красиво! А сейчас что? Подходит какой-нибудь, кого едва знаешь или вовсе незнакомый. Берет за руку, говорит: «Я тебя хочу. Пойдем». И девушки тоже хороши! Рассказывают гадкие подробности про любовников, норовят перецеголять мужчин в цинизме. Коммунизм – красивая идея, товарищи. Про красивые отношения между людьми. Красивые отношения – это когда он и она показывают друг другу лучшее, что в них есть. А не худшее! Тут много говорили о природе и естественности. Но разве в природе самец, желая понравиться самке, не старается показать себя в самом привлекательном виде? Кто-то распускает перья, кто-то меняет окрас. А вспомните майских соловьев! Ведь они поют от любви и про любовь!

Про соловьев – это в комсомольской аудитории было уж через край. Мирра, хоть и подруга, наморщила нос. А похабник, тот самый (третий ряд, крайнее место), снова вызвал всеобщий регот:

– Твои соловьи все в Парижи-Константинополи улетели! А на бесптичье и жопа соловей!

Лидка хотела еще что-то сказать, но перекричать зал не смогла. Всхлипнула, побежала из зала.

Мирра, конечно, за ней. Только по пути сделала небольшой крюк. Проходя мимо шутника, упивающегося своим успехом, врезала ему локтем по носу – хорошо так, до хруста. В порядке педагогики. Он лицо руками закрыл, между пальцев кровь в два ручья.

– Иди в травмопункт, а то кривоносый останешься, – посоветовала Мирра и припустила за Лидкой.

Догнала уже в вестибюле. Выслушала жалобные речи, дала платок высморкаться.

Потом сказала:

– Вообще-то правильно они тебя. Не тебе, генеральской дочке, смольнинской институтке проповедовать рабоче-крестьянской молодежи про красивую любовь. Это у вас там красиво ухаживали, ручку целовали. А у пролетариата жизнь была грубая, скотская. Если дворяне с буржуазией

галантерейничали, то это за счет народа. Так что ты их в некрасивость мордой не тычь. Им до красоты еще сто верст колупаться по грязи и навозу.

Лидка сверкнула мокрыми глазами:

– Вот и ты меня происхождением попрекнула! Ну иди, расскажи всем, что я генеральская дочь! Что я не просто «Эйзен», а «фон»!

Между подругами секретов не было. Все Лидкины тайны Мирра знала в доскональности.

Что в Петрограде «бывших» в университет не принимали, их там слишком много, поэтому Лидке пришлось переехать в Москву и перед поступлением год отработать в больнице, прикрыться «пролетарской» профессией. Отец у нее действительно был военно-медицинский генерал. У Лидки в потайном месте, за подкладкой саквояжа, хранилась карточка: важный такой, в мундире. Умер от испанки. Это в память о нем Лидка решила стать врачом, хоть боится крови и грязи, не может слушать стонов и криков боли. Потому и выбрала рентгенологию, где чистота, металл со стеклом да утешительный мрак. Про «фон» Лидка тоже сама когда-то рассказала, шепотом. С этой треклятой приставкой в пролетарской республике жить совсем невозможно. Поэтому еще в Гражданскую фон Эйзены выправили себе новые документы, за хорошую взятку. Стали просто Эйзенами.

– Дура ты, Лидка, – ответила Мирра плаксе. – Обидеть хочешь? Забыла, что я не обидчивая? И жалеешь ты себя зря. Подумаешь, поработала год санитаркой из-за неправильного соцпроисхождения, утки за больными повыносила. Меня, жидовку незаконнорожденную, при вашей власти и в школу-то не брали. Только после Февральской учиться пошла, в тринадцать лет. – Взглянула на часики, спохватилась. – Мама родная! Ладно, досмаркивайся. Дай я тебе с физии тушь сотру. На черта похожа. Езжай в общагу, я поздно вернусь. Мне еще в лабораторию.

На двадцать три ноль-ноль у нее была запись на проявку и печать. Лаборатория, где есть реактивы и увеличитель, одна на весь университет, а пленочных фотоаппаратов становится всё больше. Можно, конечно, у частников, но те, пользуясь дефицитом, дерут втридорога, так что карточки получаются золотые. А в университетской лаборатории для преподавателей и вузовцев бесплатно (последним – по предъявлении лекционной книжки без прогулов).

Время только неудобное: у медфака с одиннадцати до двенадцати вечера.

Трамваи уже не ходили, пришлось до Моховой скакать галопом,

на своих двоих. Тут опаздывать было никак нельзя. Дверь закроют, красный свет включат – не войдешь.

Улицы были пустые, только раз попалась шумная компания подвыпивших нэпманов, да прокатила мимо битком набитая пролетка, откуда пронзительный бабий голос проорал: «Словно лебеди са-ночки!» Обыватели гуляли свой мещанский новый год.

Было морозно, и вьюга подсвистывала, трепала афиши на тумбах, но Мирра не замерзла, а наоборот вспотела. Не устала нисколько. Подумаешь – пробежать пару километров. На прошлой неделе она задень отмахнула пятьдесят кило на областном пробеге с целью пропаганды лыжного спорта среди крестьянской молодежи.

И что вы думаете? Все-таки опоздала! Прямо фатум.

Потому что на Тверской, около строящегося телеграфа, лежал, охал пожилой гражданин. Поскользнулся, упал, а встать не может. И стонет – больно.

Еще бы не больно. Мирра посмотрела, пощупала – перелом лодыжки. Наскоро приложила снежный компресс, сымпровизировала шину, благо мусора вокруг полно. Две дощечки, обрывок провода. Нормально. Хорошо, рядом был Первый дом Советов, а перед ним дежурил милиционер. Сдала ему калеку.

Припустила что было мочи дальше.

Но дудки. Семнадцать минут двенадцатого. Дверь лаборатории была уже заперта, наверху мигала электрическая вывеска, гордость завлаба: «Не входи! Идет печать!» Эх...

В коридорчике сидел какой-то очкастый, держал на коленях мешок с карманчиками, на ляжках.

– Медфак запустили? – безнадежно спросила его Мирра.

– Нет, – сказал интеллигент (их даже по такому коротенькому слову слышно). – ...Химики застряли. Я тоже с медицинского.

Гражданин был тихий, скучный, несимпатичный. Еще и прикартавливал. Мирра таких квелых не любила. Но от облегчения улыбнулась и несимпатичному.

– Здорово! Повезло!

Интеллигент – ноль внимания, даже не взглянул. Достал из своего красивого мешка шикарную «Лейку IA». Аккуратно стал вынимать кассету.

У Мирры была выдавшая виды «Ур-Лейка», самая первая пленочная модель. А у этого новехонькая, спекулянты за такую две сотни дерут.

– Вы точно с медицинского?

Мирра разглядывала очкарика с подозрением. Может, он нэпман.

Прослышал про университетскую лабораторию, узнал откуда-то про запись и заявился на халяву. Откуда у студента или хоть преподавателя такие деньжищи? Доцент на кафедре получает семьдесят рэ, а этому в доценты рановато.

– Ассистент из хирургической госпитальной клиники. Клобуков, – представился картавый, и Мирра успокоилась. В любом случае завлаб заставит незнакомого человека показать удостоверение.

– А я – Мирра Носик, с пятого курса. Тоже буду хирургом.

Ничего не ответил. Неинтересно ему со студенткой разговаривать. Ей с ним вообще-то тоже не особенно.

Она подошла к двери, громко постучала:

– Эй, химия! «Что, с часами плохо? Мала календарная мера?»

– Сейчас досохнет! Минутку, товарищ! – отозвалась лаборатория. – Не переживай, медицина, поспеешь. После вас никого нет.

Это была новость хорошая. Мирра села, стала качать ногой.

Ассистент Клобуков смотрел на нее со слабым любопытством.

– Почему «календарная мера»? В каком смысле?

– Вы что, стихов Маяковского не знаете? – недоверчиво спросила Мирра. – Правда что ли? Вы у кого ассистент?

– У профессора Логинова. Главным образом.

– У Логинова? Тогда ясно.

Она сожалеюще покачала головой. А этот даже не поинтересовался, что ей ясно. И Маяковского дальше процитировать не попросил. Зашелестел блокнотиком, почиркал что-то маленьким дамским карандашом.

Наконец вышли химики, три человека. С ними завлаб Ульманис.

– А, Носик, – говорит. – Еще принесла? Когда ты только учишься?

Потом увидел ассистента – обрадовался.

– Товарищ Клобуков! Это хорошо, что вы тоже тут. Вы и без меня отлично управитесь. Меня соседи, с коммутатора, позвали новый год отметить. В порядке смычки. Поможете студентке? Только к оборудованию ее не подпускайте, она мне в прошлый раз винт перекрутила. Я на полчаса, потом вернусь.

– Не беспокойтесь. И, ради бога, не спешите. Если мы закончим раньше, я запру и оставлю ключ на вахте.

Мирра едва сдержалась, прямо заклокотала вся. Во-первых, Ульманис этот – хам. «Не подпускайте!». Но еще больше ее раздражил картавый ассистент. «Не беспокойтесь», «ради бога». Не любила она таких. Вежливость – изобретение ханжеской буржуазной морали, придуманное,

чтобы обманывать и скрывать истинные чувства.

Хуже всего, что она действительно пока не очень разобралась в фототехнике и даже не могла сказать ассистенту пару ласковых. Попала к нему, стеклянно-глазому, в подчинение.

А он и рад. Раскомандовался, и вежливенько так – не огрызнешься.

– Позвольте узнать, сколько у вас кассет? Дайте-ка взглянуть. Благодарю... Нет, эта бракованная, вы ее засветили. Видите, трещина? Аккуратнее нужно. Заберите назад. А эту положите в резервуар. Благодарю...

Руки у него были ловкие, поворачивался он быстро. Шустро пристроил к Мирриной кассете две своих, смешал проявитель, залил, завинтил крышку, включил хронометр.

Стали ждать.

Клобуков сел на стул, сложил перед собой маленькие немужские руки – смиренненько, как школьник.

Черт его знает, отчего Мирру всё в нем так бесило.

Держать в себе раздражение вредно для здоровья. В себе вообще ничего насильно удерживать нельзя.

Мирра и не стала.

– Про вашего Логинова говорят, что он враг, – объявила она. – Белогвардеец.

Очкастый засмеялся.

– Кто белогвардеец? Клавдий Петрович? Скорее уж я. Я у барона Врангеля служил.

– И так спокойно признаетесь? – поразилась Мирра.

– Не волнуйтесь, пятикурсница Носик. Кому полагается, про это знают. А насчет врага... – Пожал плечами. – У Клавдия Петровича нет врагов. Не думаю, что он вообще знает смысл этого слова.

Какая все-таки скользкая и хитрая дрянь – старорежимная интеллигенция! Сколько презрения прячется за ее хваленой вежливостью! «Пятикурсница Носик» – вроде не придерешься, а будто сухой последней обозвал.

– Жить без врагов все равно что жить без друзей, – отрезала Мирра.

– У Клавдия Петровича и друзей нет, – рассеянно заметил Клобуков, окуная пленки в фиксажницу.

– Терпеть таких не могу. Ни рыба ни мясо. Кто не умеет ненавидеть, тот и любить не умеет.

– Вы полагаете? – Он на мгновение замер, блеснул на Мирру очками. – Если уравнение верно, его компоненты можно поменять местами. В данном

случае не получается. Мне доводилось встречать людей, которые отлично умели ненавидеть и никого при этом не любили. Не думаю, что вы правы.

Вот опять: ткнул носом в нелогичность, софист, а формально обидеться не на что.

Враждебно наблюдая, как он промывает пленки водяным душем, Мирра сказала:

– Такие, как вы, вечно во всем не уверены. И врагов у вас, как у вашего Логинова, конечно, тоже нет.

– А у вас есть? Много? – вежливо так, и опять со скрытой интеллигентской издевочкой.

– Много! Антанта, мировой капитализм, итальянский фашизм, японские самураи, клика Чжан Цзолина. И наша сволочь тоже: белогвардейские недобитки, бандюги, совбюрократы, мещане.

– Действительно много. А у меня только один враг. И победить его труднее, чем Антанту. Но я учусь. Кое-что начинает получаться.

Ассистент, оказывается, и не думал издеваться. Во всяком случае, ответил всерьез, задумчиво.

Мирра сразу остыла – укрутила горелку. Спросила с любопытством:

– Кто? Если не секрет?

– Боль.

– Какая боль?

– Физическая. Я ее ненавижу, хочу избавить от нее людей. Понимаете, хоть я занимаю в хирургической клинике ставку ассистента, я не хирург. Я специалист по наркозу.

– А, хлороформист.

Теперь обиделся Клобуков.

– Что за название! Хлороформ – средство допотопное и очень опасное. Оно погубило больше пациентов, чем неловкие операторы. Я анестезист.

– Какая разница? – Она дернула плечом. – Обезболивание, как его ни назови, бабская профессия. Делай что скажут. Вот хирургия – мужская.

Думала – окрысится, будет спорить, но он не стал.

– Но вы ведь хотите быть хирургом? Не боитесь мужской профессии?

– Сейчас многие женщины берутся за дела, которые считаются мужскими. Летают на самолетах, водят мотоциклы, проектируют двигатели. Ну а я буду первой женщиной – выдающимся хирургом, – уверенно заявила Мирра.

– Желаю успеха.

И отвернулся, пропустил пленку через осушитель. Решил, конечно, что вузовка глупо хвастает, утратил к ней интерес, и раньше-то небольшой.

Мирра насупилась. Пообещала себе, что больше рта не раскроет.

Зажегся красный фонарь. Раствор в ванночке превратился в кровь, ассистент сделался похож на жреца какого-то зловещего культа: брал фотобумагу, словно печень, вынутую из жертвы, и клал под окуляр пузатого увеличителя, словно приношение на алтарь.

– Сначала отпечатаем ваши. У меня много.

Она молчала.

Клобуков развернул Миррину пленку, быстро просмотрел негативы, хмыкнул.

– Да у вас печатать нечего. Сплошь темные. Проверьте выдержку и экспозицию. В фотокружок бы записались, чем зря пленку переводить. Нет, в самом деле! Всего один нормальный кадр.

Оставить такое без ответа было невозможно.

– У меня аппарат старый, не то что ваш. Интересно, как это вы на ассистентскую зарплату «Лейку IA» купили?

– Профессор привез из заграничной командировки. Узнал, что я старый фотограф, и решил подарить. Для дела, разумеется. У Клавдия Петровича всё для дела. Хочет выпустить пособие-альбом по базовым операциям, для студентов. С иллюстрациями. Я поэтапно снимаю все манипуляции и стадии. Сегодня вот отпечатаю «Трепанацию черепа» и «Заднюю гастроэнтеростомию». Думаю, вам как начинающему хирургу такое пособие пригодится?

Мирра не ответила, не хотела поддакивать.

Она забрала у него пленку, просмотрела сама. Чертов Клобуков был прав. Только один негатив получился годным – из сегодняшних. Четыре головы, не поймешь чьи.

– Валяйте, печатайте эту.

Когда на бумаге проступило изображение, поняла, кто это. На фоне стены Мишка Котов, Ленка Федотова и Анфиса Гриб, плюс затесался третьекурсник Арик, как его, Лившиц, у него с Анфиской роман.

– Четыре штуки печатайте, – сказала Мирра. – Нет, пять. Одну себе оставляю.

Снимки такого хорошего качества у нее – что правда, то правда – получались редко.

Где-то забили часы и долго не смолкали. Раздался нестройный вопль «Ура-а-а!!!».

– Новый год... – Клобуков обернулся на дверь. В голосе звучало то ли удивление, то ли грусть. – Когда-то я считал его важным праздником, на втором месте после дня рождения. А сейчас ни того, ни другого

не отмечаю... В старые времена на новый год все пили вино, загадывали желания. И друг другу что-то желали. Подарки дарили... Самому себе, разве, подарить что-нибудь? – Разговаривал с собой, будто Мирры рядом нет. Но вот взглянул на нее – удостоил. – Раз уж получилось, пятикурсница Носик, что мы встречаем новый тысяча девятьсот двадцать шестой год вдвоем, давайте я вам чего-нибудь пожелаю. Что прикажете?

– А что желали в ваши старые времена девушке? – язвительно спросила она. – Жениха хорошего?

Ассистент развел руками:

– Любви. Счастья. Чего-нибудь такого. Годится?

– Любви мне желать не надо. Сама управлюсь. Со счастьем тоже сама разберусь.

Она забрала из сушилки готовые снимки, завернула в газету.

– Тогда просто пожелаю всего хорошего, – слегка поклонился Клобуков.

Хорошего он желает, как же. Их бы с Логиновым воля, загнали бы таких вроде Мирры назад, в черту оседлости.

Вышла из лаборатории, стукнув дверью. Для интеллигента этого она все равно хамка, пускай такой и остается. Ни «спасибо» не сказала, ни «до свидания». «Спасибо» значит «спаси бог», а бога нету. Свидание с Клобуковым Мирре тоже было не нужно.

ALTERA PARS

Женский взгляд.

В определенном смысле своего исторического исследования я буду полагать, что всё время получаю сведения лишь с одной стороны — мужской. В любви — или любви — расстраивает и теоретизировать только мужчины, которых, естественно, занимают прежде всего собственные роли и собственные позиции в процессе, вообще — в признательном глас, даже чуждым. Ужаснее всего — авторитарной структуры общества, существующей в виде на протяжении всего отчасти большого периода, Женщины была фактически лишена права голоса, и мы можем попытаться прояснить о том, что дума, о любви в отношении похоти, некрофильно из переказа, нарраторов — мужчин.

Вместе с тем жизнь женщины, весь круг ее забот, интересов, обязанностей, устремлений, ее конкретное поведение, ее присутствие в действительности и идеальном — столь сильно отличаются от обычного мужского представления, что и в литературе и в искусстве должна была быть такая картина. Для «символической» любви, которую я считаю истинной, вопрос о позиции и взглядах Женской колонии передается не менее, а может быть, и более важен. Я говорю — «молитва», «блеск», потому что, как известно,

(Из клетчатой тетради)

Altera pars

Женский взгляд

В определенный момент своего исторического исследования я вдруг понял, что всё время получаю сведения лишь с одной стороны – мужской. О любви или Любви рассуждают и теоретизируют только мужчины, которых, естественно, занимает прежде всего собственная роль и собственная позиция в процессе, вообще-то предназначенном для двух участников. Из-за жестко патриархальной структуры общества, существовавшей на протяжении всего описываемого периода, женщина была фактически лишена права голоса, и мы можем получить представление о том, что думал о Любви противоположный пол, почти исключительно из пересказа нарраторов-мужчин.

Вместе с тем жизнь женщины, весь круг ее забот, интересов, поступков, устремлений, ее кодекс поведения, ее представления о достойном и недостойном столь сильно отличались от обстоятельств мужского существования, что и палитра чувств должна была выглядеть как-то иначе. Для «симбиотической» Любви, которую я считаю истинной, вопрос о позиции и взглядах женской половины человечества не менее, а может быть, и более важен. Я говорю «может быть, более», потому что, как известно, в любовных отношениях женщины обычно компетентнее мужчин – смелее, самоотверженнее, ответственнее, что вызвано, в частности, биологическим распределением ролей в механизме воспроизводства, вся тяжесть которого лежит на женщине. Сегодня считается установленным фактом, что Любовь – территория, где женщины ориентируются лучше. Они, вероятно, больше разбирались в этом предмете и в исторические времена, просто общество не давало им слова.

Источники, из которых можно получить хоть какое-то представление о «женском» взгляде на Любовь во времена античности и Средневековья, чрезвычайно скудны. Мне известны всего два.

Первый – сохранившиеся стихи греческой поэтессы Сафо, которая родилась на острове Лесбос в VII веке до нашей эры, то есть раньше Парменида, самого раннего толкователя «эроса». Женщины этой области Эллады жили много свободней, чем другие гречанки. Имели доступ к образованию, не были заперты в доме, могли состоять в *фиасах*,

формально – сообществах для подготовки девушек к замужеству, а на самом деле просто дамских клубах. Достоверных биографических сведений о Сафо почти не сохранилось, а большинство легенд не вызывают доверия, но известно, что жизненный путь поэтессы был насыщен событиями. Она прошла через раннее сиротство, школу для гетер, нужду и богатство, эмиграцию и реэмиграцию, замужество и материнство, безвестность и признание.

Будучи не философом (занятие, невообразимое для тогдашней женщины), а поэтом, Сафо не теоретизировала и не рефлексировала на темы Любви, не пыталась подменить огненный «эрос» тепловатым «филосом», не морализаторствовала. Она без стеснения воспевала Любовь к представителям обоих полов (впрочем, большинство античных авторов-мужчин тоже были бисексуальны). В стихах Сафо жизни и Любви гораздо больше, чем в высокоумных конструкциях философии. Недаром сам Сократ называл поэтессу своей наставницей в вопросах Любви – и, как мне кажется, владел предметом слабее, чем его учительница.

Примечательно, что, в отличие от позднейших поэтов-мужчин, Сафо в стихах почти не живописует плотских наслаждений, всецело поглощенная эмоциональным аспектом Любви. Насколько я могу судить по прочтении сотен произведений, написанных на эту тему в позднейшие времена писательницами и поэтессами, это вообще характерная особенность «женского взгляда», который главным образом фиксируется на чувствах, а не на чувственности.

Ни один лирик Эллады или Рима не писал о любовных ощущениях так сильно и так искренне, как Сафо:

Равен блаженным богам тот, кто рядом с тобой
Немее, тебя лицезрея, слушая неясный твой смех
И твой сладостный голос.
У меня б, верно, лопнуло сердце.
Ведь стоит тебя лишь увидеть –
 сил я лишаясь, в устах цепенеет язык,
Кожа пылает огнем, помрачается взор,
Ураган завывает в ушах, всё чернеет вокруг.
Льется ручьями волнения пот,
И дрожат ослабевшие члены.
Я вся бледнею, как жухнет зимою трава.
Гаснет рассудок, почти пресекается жизнь.
Но не страшит меня это нисколько...

Так пишет о Любви женщина, жившая две с половиной тысячи лет назад. Как жаль, что это единственный женский голос, пробившийся к нам сквозь толщу веков.

Много труднее было любить и, в особенности, писать о Любви женщине, которая жила в средневековой Европе – хотя бы потому, что грамотность среди женщин стала куда большей редкостью, чем в античные времена.

Среди обширного наследия куртуазной литературы можно встретить лишь одно сколько-то примечательное женское имя. Некая знатная дама, ни жизненных обстоятельств, ни даже имени которой мы не знаем (она вошла в историю как Мария Французская), оставила дюжину баллад, по которым можно угадать, что женский взгляд на Любовь несколько отличался от мужского.

В своих лэ (балладах) Мария описывает те же коллизии, что и авторы-мужчины, пересказывает те же бродячие сюжеты, но ее интересуют в первую очередь чувства, возникающие в сердце любящей. Пишет она об этом с подкупающей простотой, даже бесхитростностью. «Дева зорко поглядела на рыцаря, его лик и фигуру, и сказала своему сердцу, что в жизни не видала никого милее. Ее глаза не могли обнаружить в нем никакого изъяна, и любовь постучалась ей в сердце, и велела любить, ибо тому пришло время» (лэ «Элидюк»). Если трубадурам загадочной, недоступной пониманию кажется *La Belle Dame sans Merci* (Прекрасная Безжалостная Дама), то в глазах Марии непредсказуемым, ненадежным и неблагодарным выглядит мужчина. Между полами есть взаимопротивление, но нет попытки взаимопонимания; куртуазная стилистика ему никак не способствует. «Прекрасный и нежный друг, – с печальной безнадежностью говорит героиня лэ «Гигемар», – сердце подсказывает мне, что скоро я вас потеряю, ибо тайна наша раскроется. Коль вас убьют, пусть тот же меч сразит и меня. Но если вы одержите победу, я знаю, вы найдете себе другую любовь, а я останусь одна со своими думами. И пусть Господь не даст мне ни радостей, ни покоя, ни мира, коль в разлуке с вами я стану искать иного друга. Вам незачем этого страшиться».

Ярким и впечатляющим свидетельством того, что женская Любовь в ту эпоху могла быть и иной – не отстраненно-воздыхающей, а основанной на понимании и сопереживании, – является уникальный текст, не имеющий

отношения к изящной словесности. Я, конечно же, имею в виду письма Элоизы к Абеляру.

Из уст самого Абеляра мы знаем, что ее Любовь к нему была самоотверженной и зрячей; Элоиза очень хорошо понимала человека, которого любит. «Она всеми силами отговаривала меня от женитьбы, – пишет ученый, – утверждая, что всякие узы губительны для философа, что детские крики и семейные заботы несовместны с покоем и прилежанием, какого требуют мои занятия. Она цитировала мне Теофраста, Цицерона, а более всего приводила в пример несчастного Сократа, который с радостью ушел из жизни, так как это позволило ему избавиться от его Ксантиппы.

«Не лучше ль для меня оставаться твоей возлюбленной, нежели стать твоей женой?»

Думаю, найдется мало женщин, готовых на такую жертву ради «покоя» и «занятий» Любимого. Как известно, связь эта завершилась трагически. Дядя и опекун Элоизы приказал оскопить соблазнителя своей воспитанницы, а саму ее навсегда заперли в отдаленный монастырь, так что больше Любящие не увиделись и лишь обменялись несколькими письмами.

Женщина XII века пишет: «Тебя, возможно, удивит и даже огорчит нижеследующее, но я более не стыжусь своей беспутной страсти к тебе, ибо я превзошла ее. Я ненавидела себя за то, что смею любить тебя; я заточила себя навечно, дабы ты мог жить в мире и покое. Лишь добродетель вкупе с нечувственной любовью могла привести к такому исходу. Страсти подобное не дано, она слишком поработчена телом. Любя наслаждения, мы любим жизнь, а не смерть. Мы пылаем желанием, но не встречаем ответного огня. Вот на что рассчитывал мой жестокий дядя; он мерил мою цену слабостью моего пола и полагал, что в тебе я люблю не человека, а лишь мужнину. Но он ошибся. Я люблю тебя больше, чем когда бы то ни было, и тем самым мщу ему. Я буду любить тебя всей нежностью моей души до последнего мига моей жизни...»

Как проигрывают по сравнению с этой великодушной и возвышенной простотой витиеватые эпистолы Абеляра, описывающего свои, вечно только свои страдания.

Мне еще не раз придется вернуться к этой переписке, поскольку она выявляет некоторые сущностные отличия между мужской и женской Любовью, неподвластные перемене культурно-исторических условий жизни.

Иные трактовки

Полагаю, именно сейчас, перед тем, как перейти к эпохе, когда в мире начал формироваться более или менее единый взгляд на человеческое существование, мне следует хотя бы коротко описать интерпретации Любви, сложившиеся в принципиально других исторических условиях. Я имею в виду Восток.

Если брать культурно-этические традиции мусульманской Азии, то доктрина Любви здесь восходит к эллинистическому миру и основывается всё на той же платоновской концепции: единственно приемлемой считается любовь духовная, поскольку лишь она возвышает и облагораживает душу. Ибн Сина в «Трактате о любви» (XI век) совершенно по-платоновски различает в человеке душу «животную» и душу «разумную», говоря, что первая обязана во всем повиноваться второй. По утверждению автора, Любовные отношения допустимы только с собственной женой или невольницей, и исключительно ради деторождения.

Дальнейшее развитие мусульманской религиозной этики, сколько я могу судить, никак этот тезис не модифицировало (помимо отмены института невольничества). Поскольку ислам позволяет мужчине иметь несколько жен, о симбиотической Любви тут говорить не приходится. В основе одобряемых, то есть супружеских отношений лежит не «эрос», а «филос» – или, в терминологии Корана, «привязанность и милосердие» (в этой священной книге сказано: «...Он создал для вас из вас самих жен ваших, дабы вы жили с ними, и учредил меж вами привязанность и милосердие»). Халиф Умар ибн аль-Хаттаб (VII век), обращаясь к женщинам, поучает: «Если кто-то из вас не любит своего мужа, пусть не говорит ему об этом, ибо немногие семьи держатся на любви; в совместной жизни больше помогает благо добрых нравов и Ислама».

Вместе с тем, помимо религиозного – если угодно, официального – взгляда на Любовь в персидской и арабской культуре существовал и другой, поэтический, который, конечно, не мог основываться ни на «филосе», ни на многоженстве. Такова Любовь, которая свела с ума и погубила Маджнуна, разлученного с Лейлой. Не о «филосе» писал свои рубайи и Омар Хайям:

Моей избранницы милее в мире нет.
Ты для меня и сердца жар, и солнца свет.

Живет Хайям, высоко жизнь ценя,
Но ты дороже жизни для меня.

Как я уже писал, концепция куртуазной fin'amor, от которой ведет свое происхождение современная Любовь, была заимствована окситанскими трубадурами в мавританской Испании. Арабоязычные странствующие поэты научили соседей воспевать изысканную страсть, поклоняться женской красоте и служить Любви во имя Любви.

Но и в суннах, где рассказывается о жизни Пророка, Любовь предстает не только чинным, бесстрастным «филосом». У Магомета было много жен, но по-настоящему он Любил, кажется, только одну из них – Аишу. В хадисах можно прочитать, что Пророк старался пить из чаши, прилагая ее к устам в том же месте, где краев касались губы Аиши; что Он предпочитал пользоваться той же зубочисткой; что Он умер, прижавшись головой к ее груди. Всё это классическая симптоматика «эроса» и несомненная НЛ.

Примечательно, что, осуждая проявления страстной Любви в поступках (как, впрочем, и христианская церковь), Ислам оставляет больше свободы для движений души. Христианская доктрина считает грехом даже соблазнительную мысль: «Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». В фетве же, посвященной дозволенному и недозволенному в Любви, говорится: «Если мужчина и женщина полюбили друг друга, за это чувство не будет с них спрошено в Судный день. Тот, кто полюбил, не властен над своим чувством. Но если любовь понуждает тебя к тайным свиданиям и действиям, которые дозволены лишь состоящим в брачных узах, то это запретное».

Другая система взглядов, не менее мощная и еще более древняя, чем арабо-персидская – восточноазиатская – складывается из нескольких компонентов: индуистского, буддийского и конфуцианского.

Мне недостает образованности, чтобы уверенно изложить воззрения этой школы, которая к тому же делится на множество учений и ветвей. Я не владею ни санскритом, ни китайским, ни японским и был вынужден довольствоваться европейскими популяризациями и немногочисленными переводами, однако кое-какое представление о любовной философии этого мира я все же составил.

Она обладает одним важным преимуществом по сравнению

с христианской и мусульманской доктринами: в индийском и китайском эпосах отсутствует понятие стыда перед телесностью, а у индийцев сексуальность даже возведена до уровня почтенной культурной практики. Жизнь человека там делится на четыре составляющих, каждая из которых благотворна, если превалирует в уместном возрасте: Кама – это стремление к чувственным наслаждениям, Артха – к материальным благам и жизненному успеху, Дхарма – к нравственности, Мокша – к спасению души. Созревая, а потом старясь, правильно развивающаяся личность последовательно проходит через все эти этапы, движется от простых и относительно низменных целей ко всё более трудным и высоким. Кама делает существование приятным, Артха – безопасным, Дхарма – добродетельным, а Мокша обеспечит счастливый исход.

Эта добродушная схема выглядит весьма симпатичной и, вероятно, сильно облегчает существование тем, кто ее придерживается, однако же довольно трудно представить себе реального человека, который был бы в двадцать пять лет идеальным возлюбленным, в сорок – хозяином жизни, в пятьдесят – образцом нравственности, а в семьдесят – святым старцем. Сильная любовь помешала бы карьере и обогащению; достижение материального успеха испортило бы нравственность, и откуда в конце жизни образовалась бы святость – непонятно. Меня в этой цепочке перевоплощений, согласно теме моего исследования, больше всего интересует первая стадия – служение Каме.

Индусы понимают эту ипостась жизни шире, чем просто Любовь. Речь идет о всевозможных удовольствиях, которые может доставить эксплуатация осязания, зрения, слуха, вкуса и обоняния под руководством ума и сердца. То есть, собственно, слово «Кама» обозначает радость бытия. Именно так – как к занятию, ориентированному на радость, – индуизм относится и к Любви, хотя, как известно, НЛ никак не сводится только к радости и удовольствиям. Отсюда и упрощенность, обедненность канонической «индийской» Любви, описание которой содержится в знаменитом трактате «Кама-сутра». Это своего рода практическое руководство для девиц, как быть счастливыми в браке. Для этого нужно до замужества научиться всяким полезным для семейного счастья вещам – не только 64 сексуальным позициям, но еще и пению, танцу, шитью, кулинарии, разгадыванию шарад, маникюру, устройству петушиных боев, и так далее, и так далее.

Буддийская философия относится к Любви серьезнее, но и строже, по сути дела считая духовный компонент этого чувства опасным

заблуждением. Если любовь в общем смысле трактуется как благоволение, то есть желание счастья другому человеку и всячески одобряется, то *упадана* (собственно Любовь) числится одной из двенадцати причин человеческого страдания. Поощряются лишь привязанности, не нарушающие Дхарму, которая в буддизме представляет собой свод правил, способствующих душевному миру и просветлению. Слишком сильная эмоциональная фиксация на другом человеке влечет за собой тяжкие страдания, ибо все земное конечно, бесконечен лишь мир Всевышнего. В одной буддийской книге я прочитал, что Будда отвечает ученику, вопрошающему, как же обходиться без Любви, если при этом жизнь утрачивает тепло и вкус. Будда говорит: Любовь порождает в сердце несправедливость, ибо заставляет относиться к Любимому лучше, чем к другим людям; это неравенство порождает страхи и ненависть; страхи и ненависть делают просветление невозможным. Создается впечатление, что Будда – во всяком случае, как персонаж этой притчи – не знал, что такое Настоящая Любовь; он никогда ее не испытывал.

В конфуцианстве (которое так сильно помогло мне своей концепцией «благородного мужа», когда я выводил формулу аристократии) много прекрасных рассуждений о любви к человечеству, но в вопросах Любви это стройное учение оказывается не просто некомпетентным, а, кажется, даже не считает сей предмет заслуживающим серьезного обсуждения. В китайском государстве, правящее сословие которого на протяжении веков придерживалось конфуцианства, Любовь считалась материей низменной и недостойной восхваления – в отличие от дружбы и семейной привязанности.

Согласно конфуцианской доктрине, жену или мужа должны были выбирать родители, при этом фактор Любви совершенно не учитывался. Нравственный долг и семейные ценности ценились несравненно выше интимного чувства. Если супруги, пожив вместе, полюбят друг друга – прекрасно; если этого не произойдет, ничего страшного. Состоятельный мужчина может дать волю чувствам, взяв себе наложницу по вкусу, – эти отношения семье не угрожают и важности не имеют.

Главная идея дальневосточного Пути состоит в стремлении души, пройдя цикл возвышающих перерождений, в конце концов слиться с Буддой, когда «я» превратится во всемирное «не-я». При таком взгляде на смысл существования идея Любви как соединения двух половинок андрогина выглядит нелепой. Зачем соединяться душой с другим человеком, когда впереди – воссоединение с самим Буддой?

Завершив свое краткое и, несомненно, поверхностное знакомство с индо-буддийской философией, я был вынужден придти к выводу, что много полезного в этой цивилизации для моего поиска я не обрету, и свет с Востока мне не воссияет.

Пришлось возвращаться на Запад.



(Фотоальбом)

* * *

После лабораторных занятий стояли вдвоем на крыльце Госпитальной клиники, дымили. Главврач, формалист и старорежимная сволочь, не разрешал курить даже в уборной – гонял на улицу, мороз не мороз.

Притоптывали ногами от холода, дымили одной папиросой на двоих: у Мирры на плечи накинута ее заслуженная бекеша, у Лидки – элегантная мантошка на рыбьем меху.

Подруга рассказывала Мирре тихим, страшным голосом про свою новую любовь, совершенно безумную и, конечно, безнадежную. У Лидки все любви были такие – совершенно безумные и безнадежные. Мирра морщила нос, но слушала с интересом. Не выдержала только, когда Эйзен совсем уж зарাপортовалась, сказала, что, видно, такая у ней судьба – вечно обретаться в аду, Эвридикой, за которой никогда не спустится никакой Орфей. Еще и носом шмыгнула, со слезой.

– Дура ты, а не Эвридика. Вроде современная девушка, сверхпередовой областью медицины занимаешься, а сама... Кто так вообще сейчас разговаривает? «Обретаться в аду», «Эвридика»! Ты кто – рентгенолог или осколок римской империи?

– Во-первых, это не римская мифология, а греческая, – ответила Лидка, уязвившись. Она не любила, когда ее попрекали несовременностью и в особенности старомодностью. – А во-вторых, скажи-ка, Миррочка, чьи это стихи?

И, закатив свои томные глаза, продекламовала:

И вдруг, забыв слова стыдливости и гнева,
Приникнет к юноше пылающая дева...
Еще, о Гелиос, о царственный Зенит!
Благослови сады широкогрудой Гебы,
Благослови шафран ее живых ланит,
На алтаре твоём дымящиеся хлебы,
И пьяный виноград, и зреющие сливы,
Где жертвенный огонь свои прядет извивы.

– Тютчев какой-нибудь, – пожалала плечами Мирра. – Или Анненский. Сейчас так никто не пишет.

– Нет, это стихотворение Ларисы Рейснер, прекрасной амазонки

Революции! – торжествующе объявила подруга. – И если Лариса Рейснер не современная, передовая женщина, то пусть и я буду такая же!

Она обожала Ларису Рейснер, которая и для Мирры, конечно, являлась непререкаемым авторитетом, женщиной новой эпохи, бесстрашной и свободной, дающей мужчинам сто очков вперед.

Крыть было нечем.

– Ладно, срезала, – усмехнулась Мирра. – Видно, от любви и у товарища Рейснер гайки с болтов слетают.

– От любви человек начинает думать и говорить языком любви, – убежденно сказала Лидка, – а совсем не таким, каким обсуждают примусы или жилищный вопрос.

– Ладно, широкогрудая Геба, переходи от лирики к фактам. Давай, рассказывай.

– Первый раз я увидела его три дня назад, в театре Корша. Олимпиада Аркадьевна, билетерша, я тебе про нее рассказывала, посадила меня на чудесное место в амфитеатре, под ложей. Он был прямо надо мной.

– Кто, царственный Зенит?

Но Лидку было уже не сбить. Она придерживала тоненькой – каждую косточку видно – рукой ворот пальтишки, длинные ресницы полуопущены, под глазами синие тени, – и мечтательно тянула слова:

– Сначала я услышала го-олос... Потом увидела серый тви-идовый рукав, лежащий на лаковом бордюре ло-ожи... Блеснули очки в стальной опра-аве... Потом, во мраке театрального зала – зеркальный пробор... Как Теодор говорит, как держится!

– Теодор? Иностранец что ли?

– Латыш.

– Твидовый рукав, пробор на бриллиантине. Нэпман?

– Сама ты нэпман! Он герой Гражданской войны, состоит на какой-то секретной работе, часто ездит за границу. Это настоящий европеец!

– А как же Кторов?

Последнее время Эйзен была влюблена в актера Кторова из того же коршевского театра. Разумеется, безумно и безнадежно, потому что Кторов женат на актрисе Поповой и души в ней не чает, а Попова на десять лет старше и вообще ужасная женщина.

Лидка только пальчиками плеснула – про Кторова ей было уже неинтересно.

– Ты хоть с этим Теодором познакомилась?

– Что ты! У него красавица-жена и маленькая дочь. Это препятствие, которое не преодолеешь... Ты бы видела, как он прогуливается с коляской.

Такой нежный отец! И совсем не стесняется быть ласковым, не то что другие мужчины.

– А, вот ты где последние дни пропадаешь. Выследила? У подъезда караулишь? – Мирра осуждающе покачала головой. – Гляди, Лидка. Холодище, а на тебе ботики фетр, платьишко «шемиз», чулочки фильдеперсовые. Заработаешь пневмонию, да еще придатки застудишь. Погляди на себя. Глиста зеленая. Тебя ветром шатает, месячные через раз.

Каждый день после занятий Эйзен подрабатывала в рентгеновском кабинете, ей еще и мать из Ленинграда присылала, чтоб дочка хорошо питалась, но все деньги уходили на шмотки и билеты в театр или кино, а есть Лидка вообще не ела. Говорила, аппетита нет.

– Ох и парочка мы с тобой, – сказала Мирра, случайно взглянув на отражение в окне: одна длинная, тощая, вторая маленькая, плотная, в распахнутой бекеше. – Пат и Паташон. Дон Кихот и Санчо Панса... Ладно, валяй дальше рассказывай.

– Потом. Андрогин идет, – шепнула Лидка, смотря ей через плечо.

Мирра обернулась.

Из дверей вышла Андропова, пятикурсница с военно-медицинской кафедры. Увидела – помахала рукой. Лидка ее не любила, говорила, что это не женщина, а недоразумение. «Андрогин» – это что-то из древней философии. Полумужик-полубаба, кажется.

Андропову действительно издали можно было принять за парня. Она стриглась под ноль, ходила размашистой походкой и одета была в военное: шинель, буденовку, сапоги. Мирра уважала Андропову за целеустремленность и волевые качества. Вот кто тоже имел все шансы стать первой выдающейся женщиной-хирургом, но военно-полевая медицина так далека от той области, которой собиралась заниматься Мирра, что соперничать им, слава богу, не придется.

– Здорово, Носик. – Андропова крепко пожала руку. Лидке небрежно бросила: – А, это ты, Эйзен.

Она была принципиальная. Рукопожатием обменивалась только с теми, кого уважала. Кого не любила – игнорировала. С Лидкой это она еще любезность проявила – только потому что Миррина подруга.

– Слушай, Носик, я с тобой должна про завтрашний актив поговорить. Чтоб выработать единую позицию по снегоборьбе. Слыхала, вчера с крыши глыба свалилась, первокурсника с тяжелым сотрясением мозга увезли? Надо поставить перед ректоратом вопрос ребром: или делайте сами, или не мешайте ячейке выполнить за вас вашу работу...

Говорила она энергично, толково. Перечисляла аргументы – загибала

сильные, белые от дезинфекции пальцы. Но при этом успевала смотреть на входящих-выходящих. С кем-то здоровалась по имени, кому-то просто кивала, на кого-то враждебно суживала глаза.

Вдруг, прервавшись на полуслове, подошла к человеку, появившемуся из-за двери, поздоровалась за руку, вернулась.

Мирра с любопытством обернулась – кому это такая честь?

Оказался знакомый. Ну, то есть не то чтобы знакомый-знакомый, а виделись недели три назад, разговаривали. Этот, как его, Клобуков. Неприятный.

Мирра не сразу его узнала, потому что он оброс светлой бородкой. За спиной у ассистента-анестезиста висел все тот же мешок с карманчиками, на лямках; из-под мышки торчали какие-то дощечки с маленькими колесиками, непонятного назначения.

– Кто это? – спросила Лидка. – Лицо интеллигентное.

– Хирурга Логинова знаешь? С козлиной бороденкой, рожа надутая. Буржуй, на авто с шофером ездит. Это его ассистент, специалист по обезболиванию. Тоже фрукт, вроде своего профессора. – И вернувшейся Андроновой: – Ты чего с ним за руку? Он же сволочь, недобитый беляк. У Врангеля служил.

Та засмеялась:

– Кто, товарищ Клобуков? Ну ты сказанула! Он конармеец, фронтовик, с белополяками воевал. Мне знакомый буденовец про него рассказывал – мировой, говорит, мужик. Свой на все сто, даром что интеллигент.

Аспирант спустился с крыльца, повозился со своими дощечками, и они превратились в самокат. Взялся за алюминиевые ручки и быстро, с удивительной мягкостью покатился вдоль по Царицынской, отталкиваясь от заснеженного тротуара ногой в добротной нэпманской бурке и блестящей галоше.

– Здорово шпарит! – сказала Андроновая. – Он у нас в группе ведет курс по анестезии в военно-полевых условиях. Жутко интересно!

Лидка вздохнула:

– Жалко, некрасивый. И рост маловат.

Мирра же молчала, глядя вслед шустрому самокатчику сощуренными от ярости глазами. Ах так? Ты, значит, у барона Врангеля служил?

Хамства она не спускала никому. Особенно интеллигентского, которое не от пролетарской простоты, а от издевательства.

Ну гляди, Клобуков. Выставил душой перед Андроновой? Ладно. Узнаешь, как Мирре Носик голову морочить.

* * *

Давать обидчику сдачи нужно сразу, не откладывая в долгий ящик. Это правило Мирра соблюдала железно.

Сразу же пошла в секретариат. Спросила у сморщенной мымыры, сидевшей за «ундервудом», какое завтра расписание у ассистента Клобукова.

Мымыра ей:

– А вы, гражданка кто? Вам зачем? Вы по личному вопросу?

– По общественному, – мрачно ответила Мирра, уже чувствуя, что сушеная слива ничего ей не скажет.

У них тут было гнездо старорежимной науки. На стенах портреты исключительно Пироговых-Боткиных. Даже Ильича нет, хотя только что прошла траурная годовщина.

– Обратитесь к профессору Логинову. Это его ассистент, – отрезала секретарша. – А меня от работы не отрывайте.

И демонстративно заколотила костлявыми пальцами по клавишам.

Мирра повернулась, но напоследок дала залп прямой наводкой, потому что не уходит же, поджав хвост.

– Думаете, испугаюсь? Это вы все тут перед Логиновым стелитесь. Тоже еще богдыхан выискался. И спрошу!

Тут случилось чудо. Секретарша улыбнулась.

– Пойдите, барышня. Сейчас посмотрю...

От изумления Мирра даже спустила ей «барышню». Переписала расписание гнусного Клобукова на завтра и, на всякий случай, на послезавтра.

23 января анестезист в двенадцать ассистировал у профессора Логинова (обыкновенная апендэктомия – даже странно, что светило хирургии тратит время на ерунду) и в три часа у профессора Бруно, восстановление челюстно-лицевого сустава, – на такой операции Мирра и сама бы с удовольствием поассистировала или просто посмотрела бы, это была ее тема.

24 января в одиннадцать – опять Логинов. Проникающее огнестрельное ранение грудной клетки с изолированным повреждением перикарда. Ого!

Ну всё, конармеец. Будет тебе «в схватке упоительной, лавиною стремительной». Не уйдешь от расплаты.

Назавтра поймать Клобукова не получилось – Мирра застряла на ячейке, где развели канитель по вопросу бибсовета: что делать с имеющейся в университетской библиотеке классово чуждой литературой – уничтожить или запереть в спецхран. Мирра чуть не охрипла, продавливая свою резолюцию, хотя ясное вроде бы дело. Всю немедицинскую дребедень – романчики, литературные журнальчики – выкинуть к черту, пускай вузовцы не тратят время на ерунду. А всё научное оставить, будь автором хоть доктор Дубровин, председатель черносотенного «Союза русского народа».

В общем, проворонила анестезиста. Повезло очкастому 23 января.

Но зато уж на следующий день Мирра села в засаду почти сразу после начала операции. Ждать пришлось больше трех часов. Времени даром она не теряла, штудировала фармакологию Кравкова, скоро зачет сдавать. Ну и распалаясь, конечно – чем дальше, тем больше. Поганый Клобуков мало что тогда поиздевался, так еще и теперь заставлял вести себя глупо.

Вот он наконец вышел, направился в курилку. У них тут в клинике люди делились на два сорта: вузовцев, значит, гоняли дымить на мороз, а медперсоналу – комфорт и привилегии.

Ассистент нес свой мешок и дощечки, что-то немелодично насвистывал, назад не оборачивался. Мирра шла тихонько, как кошка за мышью. Затевать ласковый разговор в коридоре не имело смысла. Выглянет на шум какой-нибудь профессор, тот же Логинов, не дадут поговорить по душам.

А в курилке – в самый раз. Не сбежит.

В маленькой голой комнате никого не было. Когда Мирра вошла, Клобуков сидел в кресле нога на ногу, раскуривал трубку. Надо сказать, что с усами-бородкой, да с трубкой, он выглядел не таким обмылком, как тогда, в новогоднюю ночь. У некрасивого мужнины волосистой покров на лице выполняет ту же функцию, что косметика у женщины. Усы, хоть пока и коротенькие, прикрыли прохейлию верхней губы, щетина компенсировала слаборазвитую подбородочную мышцу. (Подобные вещи Мирра отмечала автоматически – выработала в себе эту полезную для дела привычку.)

– Здра-асьте, – протянула она. Поскольку мещанской привычки здороваться у Мирры не имелось, если она говорила кому-то «здрасьте», это было не приветствием, а чем-то вроде артподготовки. – Зачем же вы мне набрехали, гражданин Клобуков? Сам, значит, воевал у Буденного, а мне наплел про Врангеля? По-вашему, это смешно?

Начала Мирра тихонечко, даже вкрадливо. Берегла пока голос.

Вариантов было три. Или сейчас сделает вид, что ничего не помнит. Или скажет что-нибудь наглое. Или, что вероятней всего, заблеет какие-нибудь оправдания. Интеллигенты трусят, когда чувствуют, что дело идет к крупному разговору.

Во всех трех случаях Мирра собиралась выдать сучьему ассистенту по первое число.

Следующий вопрос, тоном чуть повыше, предполагался следующий: а если бы она пошла в органы просигнализировать о бывшем врангелевце, проверить – действительно ли про это знают те, кому положено знать такие вещи? Вообще-то по-комсомольски она была даже обязана это сделать. Кем бы она оказалась перед товарищами чекистами? Клеветницей? Идиоткой? Ничего себе была бы шуточка!

Но ассистент не стал хамить и не заблеял, а улыбнулся – не нагло, скорее приязненно, будто был рад Мирру видеть.

– А-а, пятикурсница Носик. Новогодняя снегурочка. – И только потом наморщил лоб, вдумавшись в смысл вопроса. – Почему наплел? Я действительно побывал у Врангеля, а потом служил в армии Буденного. Война была странная, всякое случалось... – И оживленно: – Знаете, я потом много думал про ваши слова. Ну, помните, вы тогда сказали, что анестезиолог – женская профессия. Делай, что хирург скажет. И я пришел к выводу, что вы, наверное, правы. Я недостаточно тверд – или, по вашей терминологии, недостаточно мужественен, – чтобы быть хирургом. И вообще в моей жизненной позиции безусловно есть нечто женское. Я не решаюсь подступить к коренному решению больных проблем, а ограничиваюсь лишь тем, что стараюсь облегчить вызванные этими проблемами страдания. Уж это-то почти всегда возможно.

Он говорил так, будто они закадычные приятели и расстались совсем недавно. Никакой издевки или высокомерия. Это сбило Мирру с атакующего настроения. Захотелось не ругаться, а возразить.

– Обезболивание – вроде обмана. Само по себе не лечит и не спасает. И потом, как быть, если кто-то орет от боли, а под рукой нет ни хлороформа, ни прокаина? Ваша жизненная позиция и правда хромает. На работе быть анестезистом можно, в жизни – нельзя.

– Вы опять очень интересную мысль высказали, – блеснул очками Клобуков. – Есть над чем подумать. Но в одном я вам, пожалуй, возражу. Хороший анестезист должен уметь снимать болевой синдром, даже когда под рукой нет нужных препаратов. Мне не раз приходилось это делать, на войне ведь часто попадаешь в причудливые обстоятельства. Я, студент-недоучка, побывал там и хирургом, и венерологом, и дантистом, один раз

даже акушером. Получалось неважно, но других врачей вокруг не было. Иногда инструменты вообще отсутствовали. А хуже всего было с анестезией. Какой прокаин! Однако приходилось как-то выкручиваться, голь на выдумки хитра. А война – дело травматическое. Попробуйте, скажем, ампутировать человеку конечность, если он в сознании. Обычно выручала лошадиная доза спирта, но случалось, что и его не было. Вот я вам расскажу одну смешную историю. То есть она довольно жуткая, но и смешная тоже...

Ассистент, сегодня неожиданно разговорчивый, показал на свободное кресло, и Мирра села. Она любила фронтовые медицинские рассказы.

– ...Драпали мы от поляков, через леса, и угодили в жуткую топь. Чуть весь полк не погиб. Эскадроны выбирались по отдельности. Наш и третий вышли к своим, а второй и четвертый так и сгнули. Но я не про это хочу рассказать, а про необычную анестезию... Комэск у нас был довольно страшный субъект. Знаете, из таких, у кого психика совершенно изуродована долгой войной без правил. Любил сам «кончать» пленных, да сначала еще куражился. Стрелял либо рубил не наповал, а чтоб человек помучился.

– Вот гад! – воскликнула Мирра. – А вы что все – молча смотрели?

– Говорю вам, это был очень страшный человек. Все его боялись. Я тоже, – спокойно признался Клобуков. – Он запросто мог и своего убить. Неоднократно это проделывал. Вообще война – не то, что воображают себе люди, которые там не бывали. Это я безо всякого высокомерия говорю. Какое высокомерие... Гордиться там нечем. Только стыдиться... – Он помрачнел. Махнул рукой, отгоняя какие-то ненужные воспоминания. – Так вот. В болоте наш комэск поскользнулся на кочке, неудачно упал, пропорол себе бок острым суком. Рана, разумеется, грязная, полно щепок и всякой дряни. Нужно срочно прочистить, продезинфицировать. Спирту нас, кстати, имелся в изобилии, но в данном конкретном случае он бы не помог. У комэска организм и так был насквозь проспиртован. А человек он, как большинство садистов, был чрезвычайно мнительный, с низким болевым порогом. Пробую почистить рану – не дается, орет, грозитя шлепнуть. Я поискал вокруг каких-нибудь трав, годных для обезболивания – увы. Даже белладонны, которая по-народному именуется «сонная дурь», не было. Что делать – непонятно. Ведь помрет, кретин, из-за пустяковой травмы, от заражения. И тогда я вспомнил лекцию, некогда прослушанную в университете...

– В нашем?

– Нет, в Цюрихском.

Ого, подумала Мирра и поглядела на ассистента с почтением, но ничего не сказала.

– Профессор рассказывал про так называемую «плацебоанестезию». И я решил попробовать. Все равно другого выхода нет.

– А что это такое?

– Сейчас поймете. – Клобуков с улыбкой покачал головой, будто сам не верил своей истории. – Я приготовил из первых попавшихся трав смесь, развел ее в спирту. Прodelал это на глазах у пациента, с чрезвычайно сосредоточенным видом, сыпля научными терминами. Объяснил: это декокт по швейцарскому рецепту, гарантирует полное обезболивание. Пациент, конечно, не поверил в магические свойства «декокta», но я был к этому готов. У комэска был вестовой, такая же сволочь – насильник, вор, сифилитик. Но у этого, по крайней мере, было одно хорошее качество. Он очень любил своего командира, был ему предан беззаветно, по-собачьи. С этим Левкой я обо всем сговорился заранее... Дал попить бурды, сосредоточенно отсчитал по хронометру ровно минуту. Взял самую толстую хирургическую иглу. Тычу прямо в руку – другой раз, третий. Левка только зубы скалит. Шкура у него толстая, выдержка поразительная. А комэск все-таки сомневается. Ты, говорит, Левка, с утра зенки залил, тебе всё нипочем. Пришлось мне, увы, демонстрировать эффект плацебо на себе. Уж как не хотелось, а надо. – Ассистент комически наморщил нос. Показал на левый бок. – Выбрал вот здесь точку, где нет нервных узлов и не повредишь никакой внутренний орган. Мысленно собрался. Ну и воткнул, глубоко... Знаете, боль легче перетерпеть, если психологически подготовился. Но все равно, скажу я вам, улыбаться было трудновато. Я нарочно зацепил капилляр, чтобы обильно закрыло. И когда пациент увидел, что кровь течет, а мне хоть бы что, он успокоился, расслабился. Поверил. И потом, представьте себе, лежал не шелохнувшись на протяжении всей довольно долгой процедуры. Еще и бахвалился перед бойцами, какой он герой. Вот что такое плацебоанестезия.

– Здорово! – воскликнула Мирра.

Она уже забыла, что собиралась задать обидчику хорошую взбучку. Тем более он, оказывается, и не думал над ней издеваться.

Выпустив последний клуб дыма, Клобуков блаженно вытянул ноги.

– Устал... Вы меня извините за говорливость. После тяжелой, но успешной работы я делаюсь болтлив. Сегодня была прелесть что за операция. Клавдий Петрович превзошел сам себя. Я знавал только одного хирурга, который работает не хуже, да и тот не здесь, а в Швейцарии... Хотя гениальных хирургов так же бессмысленно

сравнивать, как гениальных пианистов. У тех кто-то лучше исполняет Бетховена, а кто-то Рахманинова. То же самое у нас. Логинов, несомненно, виртуоз по черепно-мозговым, а по гастроэнтеростомиям просто номер один в мире. За это и получил в Парижском университете гонорис кауза. Ничего, что я на вас дымлю? – вдруг спохватился он, разгоняя ладонью сизые клубы. – Я редко себе позволяю. Только в награду за что-нибудь. Вместо шампанского. Папироса – ерунда, вынул да зажег, а с трубкой целый праздничный ритуал.

– Чудной вы какой-то, – нахмурилась Мирра. – Вроде и обидеть не хотите, а все-таки обижаете. Вот у мужчины вы спросили бы про дым? Так почему у меня спрашиваете? Ужасно не люблю эти мужские игры в галантность.

– Готов спорить, что женские игры вы тоже не любите, – засмеялся ассистент. – А я люблю и всегда любил. С детства. Можно я вам еще одну историю расскажу? Постоперационная болтливость пока держится.

– Валяйте.

Слушать его, правда, было интересно. Он даже перестал казаться Мирре сильно некрасивым. Глаза живые, опять же бородка скрашивает.

– Я еще и потому хочу про это рассказать, что не понимаю, отчего так вышло. Мне почему-то кажется, что вы объясните загадку... В детстве я не любил играть в войну или в казаки-разбойники. Мне нравились девчачьи игры – не участвовать, а наблюдать со стороны. Жили мы в Питере, в таком довольно обычном доме, поделенном на две части – «белую» и «черную». В «белой» жили господа – так себе, не особенно богатые, вроде нас. В «черной» – всякий простой люд, обслуживающий «чистую публику».

– Знакомая анатомия, – кивнула Мирра. – Мы одно время тоже в таком доме жили. Только на «черной» половине. В подвале.

– Тем лучше... То есть я не в том смысле, – смешался Клобуков. – Не потому лучше, что вы жили в подвале, а потому что сможете объяснить загадку...

– Да я поняла. Вы продолжайте.

– Двор тоже делился напополам. С нашей стороны клумба, скамеечки, чахлый газон. А там, за решеткой, конюшня, каретный и дровяной сарай, всякие подсобки. И голый, потрескавшийся асфальт. Решетка, правда, никогда не запиралась, но дети с нашей стороны не заходили на ту сторону, а те дети не бывали у нас. Играли тоже по отдельности. Мне очень нравилось подглядывать, как на бревнах играют тамошние девочки: дочка дворника, дочка истопника, дочка соседской кухарки. Как-то очень увлекательно, вкусно у них это получалось. При этом никаких игрушек

у них не было. Вместо куклы они заворачивали в тряпки полешко. Нянчили его, кормили грудью, целовали. Я был мальчик сентиментальный, жалостливый. Любил читать всякие трогательные книжки. И однажды мне пришла в голову совершенно ослепительная идея. У меня как раз подходил день рождения. И я попросил маму купить мне не железный паровоз, о котором я давно мечтал, а куклу. Мама удивилась, но купила – дорогую, затри рубля, с закрывающимися глазками, с золотыми кудряшками. Назавтра я вышел на «нечистую» сторону, подошел к девочкам. Вот, говорю, это вам. Играйте. Смущался, но в то же время был очень собою горд. Они смотрят, ничего не говорят. Я подумал – стесняются. Или не верят. Сунул кухаркиной дочке (она у них была заводилой) прямо в руки. Держи же, говорю... И тут вдруг она очень похабно, ужасно выругалась – притом что между собой они матерных слов никогда не употребляли. «Катись, такой-растакой барчук, туда-растуда-то». Я шарахнулся, а она в меня еще и плюнула. Потом побежала к отхожему месту – на их половине не было канализации, только дощатый нужник. Распахнула дверь и кинула мою прекрасную куклу в дыру... Я в ужасе, всхлипывая, убрался восвояси.

– Молодец девчонка, – одобрила Мирра. – Я бы сделала то же самое.

– Ага, значит, я не ошибся! Вы объясните мне, почему она так поступила? А то я себе всю голову сломал. Вы ведь пролетарского происхождения?

– Да уж не буржуйского.

Происхождение у Мирры было пролетарское в кубе: угнетенный класс, угнетенная нация, да еще незаконнорожденная. Революция все перевернула. Или, выражаясь фотографически, проявила, так что все негативы стали позитивами. И наоборот.

– Знаете, за что простой народ вас, интеллигенцию, больше, чем настоящих бар, не любил? Потому что баре не ввали, не прикидывались хорошими. А вы прикидывались. С барином было просто: он прямо говорит, чего хочет, недоволен – бьет в морду. Вам же непременно надо человеку в душу влезть, покрасоваться тем, какие вы чистые и возвышенные. А потом уйти к себе назад, на чистую половину. Кухаркина дочка вам знаете отчего вмазала? От чувства собственного достоинства, даром что и слов таких никогда не слышала. Не красуйся, не унижай меня своей жалостью. Вот что значил плевок.

– Разве я красовался? – Клобуков подумал немного. – Пожалуй, не без того, хотя мне так не казалось... Ладно, пускай. Но разве не в этом весь смысл развития человечества? Цивилизация и есть стремление

выглядеть лучше, приличнее, достойнее, чем ты есть на самом деле.

– А революция – это когда люди хотят не прикидываться лучше, а стать лучше! И всякое притворство мы воспринимаем как двурушничество и ложь! Нужно быть ближе к природе, естественней. Уметь отличать черное от белого. Верней, *красное* от белого!

Мирра сама была довольна, как здорово она это сказала.

– Какая чушь! – ответил Клобуков, очень ее удивив. Она думала, он умеет только поддакивать и не способен биться за свою точку зрения. – Быть ближе к природе не нужно! Природа груба, изменна и жестока, в ней действует закон шкурного выживания: дави слабых и виляй хвостом перед сильными. Вся эволюция человека – это удаление от природы, возвышение над ней. Не надо быть естественным, надо быть *лучше* естественности. Не надо быть простым, надо быть сложным. И ни в коем случае не красить себя, а тем более мир в один цвет, неважно, белый или красный. Кто так живет, сам себя обкрадывает. Вычеркивает из спектра все цвета кроме одного. Мы с вами и так существуем внутри какого-то фотографического фонаря, заливающего помещение исключительно красным светом. У нас всё красное! Красные знамена и транспаранты, красные дни календаря, краскомы, красноармейцы, краснофлотцы, краснокурсанты...

Вот это был настоящий спор, не интеллигентские реверансы.

– А чего ж вы тогда ушли от белого Врангеля к красному Буденному? – врезала ассистенту Мирра. – Или, того лучше, уехали бы, как другие, в многоцветную Европу. Или вы там не больно кому нужны?

Но от лобовой сшибки Клобуков уклонился. Сказал со вздохом:

– Тут вы опять правы. Не больно. В этом всё и дело. Там не больно, а здесь больно. Моя же профессия предписывает находиться там, где боль. И еще одно. Образованный человек нужнее там, где образованных людей катастрофически не хватает. «Нет и не может быть такого скучного и унылого города, в котором был бы не нужен умный, образованный человек».

– А умный человек может говорить про себя, что он умный? – язвительно осведомилась Мирра.

Но стрела просвистела мимо. Клобуков удивился.

– Это я не про себя, это же цитата из «Трех сестер»... Вы не читали Чехова?

Она небрежно дернула плечом.

– И Чарскую тоже не читала. Зачем современному человеку этот нафталин?

Аспирант уныло смотрел на нее через очки, мигал.

– Разговоры с вами мне полезны, пятикурсница Носик. Есть в вас что-то такое... даже не знаю, как сказать. Иногда вроде порете ерунду, но от этого какие-то вещи, в которые раньше свято верил, открываются с другой стороны. И оказываются самообманом... Ведь это я себе всё напридумывал – про то, что я здесь, потому что должен врачевать чужую боль. Красиво, но неправда. Я только сейчас явственно это вижу. И никакой я не умный. Был бы умный, остался бы в Цюрихе. Но вот я здесь. И по-видимому навсегда. – Он развел руками. Трубка давно уже не дымилась. – Какой у меня выбор? Можно, конечно, всю жизнь угрызаться: зачем вернулся. Но если уж так случилось, в этом нужно найти смысл. И, мне кажется, я его нашел. Я здесь действительно нужнее, чем там. А не в этом ли, собственно, и состоит ценность человеческой жизни? Быть нужным. И чем ты нужнее, тем твое существование ценнее. В Европе сейчас уже сотни профессиональных анестезистов, а у нас раз-два и обчелся. Тысячи умирают во время простейших операций от неправильного наркоза. Если уж самого наркомвоенмора Фрунзе угробили хлороформом на элементарной операции по поводу язвы диоденума, то что говорить об обычных людях? Местная анестезия практически никогда не применяется. Пациенты страдают от боли, и это считается нормальным. Я ненавижу боль!

Вот теперь он говорил по-человечески: горячо и откровенно. Бодаться с ним больше не хотелось. И Мирра вдруг поняла, что хочет рассказать малознакомому, почти случайному собеседнику про свою Главную Мечту, с которой еще ни с кем кроме Лидки не делилась. Боялась, засмеют.

– Ваш враг – боль, а мой враг – конечно, не в политическом, а в профессиональном смысле – некрасота.

Выпала – и сбилась. Главная Мечта у Мирры была такая, что могла показаться мелкой, если как следует не объяснить. А объяснять – это не ругаться или спорить. У Мирры не всегда получалось.

– Некрасота? – переспросил Клобуков, и так заинтересованно, что у Мирры прибавилось смелости. Даже странно, как она могла думать, что он над ней в прошлый раз издевался. Он этого, кажется, вообще не умеет.

– У нас победила пролетарская революция, мы строим новый мир, но... – Ей не хватало слов. – ...Но очень уж вокруг много некрасивого. С той же вашей Европой сравнить... Грязно у нас, бедно, неустроенно, всё тляп-ляп. Но это ладно, это мы вычистим, починим, новое построим. Советская власть и так старается, несмотря на свою бедность. Вы говорите: всё красное, транспаранты, флаги. Но «красный» по-русски значит

«красивый». Это цвет праздника, а не только крови... Меня другое мучает. Ужасно много некрасивых людей. Я имею в виду не одежду или там прическу, – поспешно пояснила Мирра, чтобы не уподобляться Лидке, – а лицо, телосложение. Плохая кожа, нездоровое питание, последствия детского рахита, травматизм, отсутствие медухода... Ну и национальные черты тоже не очень. У русских носы часто уточкой или картошкой, у кавказцев и евреев – клювом, тюрки сплошь и рядом плосколицые. Мужчины из-за некрасивости не очень переживают, а для многих женщин это прямо трагедия всей жизни. Я хочу посвятить свою жизнь тому, чтобы делать людей красивыми. Сколько девушек чувствуют себя глубоко несчастными из-за не такого носа или рта, из-за маленькой груди, из-за кривых ног. Вроде бы чепуха, а жизнь испорчена! Не все ведь рождаются на свет умными. Да и умным тоже хочется быть привлекательными. На то и социализм, чтобы у каждого человека был шанс на счастье...

Она сделала паузу, чтобы справиться с дыханием. Очень волновалась.

Аспирант смотрел на нее с удивлением.

– Вы что же, хотите стать пластическим хирургом? Но у нас этим, в сущности, никто не занимается. Не у кого учиться. Придется всё изобретать самой... Вот уж никогда бы не подумал, что вас волнуют подобные вещи. Интересный вы собеседник, пятикурсница Носик.

Мирра вздрогнула: она как раз тоже подумала, что ей еще никогда и ни с кем не было так интересно разговаривать.

– Слушай, – сказал она. – Что мы с тобой на «вы», будто дипломаты в Лиге Наций. Давай на «ты». Меня Миррой зовут.

– Антон.

Пожали руки. У него от ее сильных пальцев хрустнула кисть.

– Между прочим, Мирра, у меня дома есть хорошая немецкая брошюра по ринопластике. Я тут купил у вдовы одного земского врача целую медицинскую библиотеку. В книжечке есть подробное описание операции, которая тебя наверняка заинтересует. Раненому на фронте прострелили нос, и хирург сделал новый. Принести?

– Эх, я не знаю немецкого! – расстроилась она.

– Поехали ко мне. Я сегодня свободен как птица. И вообще праздную. Переведу с листа, а ты запишешь. Только я неблизко живу. На Пятницкой.

Мирра внутренне улыбнулась. Подумала: «Интеллигент-интеллигент, а насчет этого дела тоже не дурак. На брошюре по ринопластике меня еще никто не клеил. Ишь, психолог!»

– Ладно, поехали.

«Спать с ним, конечно, мы не будем, он совсем не в нашем вкусе,

но операция по ринопластике – это здорово». Честно говоря, еще и просто хотелось побыть с Антоном Клобуковым подольше, поговорить об интересном. А когда начнет приставать, как-нибудь необидно тормознуть.

Тут, конечно, была проблема. Не с «тормознуть» (это-то Мирраделаланараз), а чтоб необидно. Однако ради хорошего человека можно постараться. Дорога до Пятницкой длинная, что-нибудь придумается.

* * *

На улице было холодно, ветер рассыпал по белой мостовой белую же поземку. У остановки пятнадцатого трамвая, как всегда в это время, выстроился длинный хвост – в аудиториях закончились занятия.

– На Пятницкую отсюда это как? – стала прикидывать Мирра. – До Садового, там пересечь на «бэшку» до Добрынинской и еще раз на тридцать третий? Всюду подожди, да еще втиснись. Ты, Антон, поди, не шибко умеешь впихиваться в трамвай?

Она с сомнением осмотрела его щуплую фигуру.

– Совсем не умею. – Он засмеялся. – Так и не отучился пропускать вперед дам. Искусство езды на московском трамвае оказалось мне недоступно. Пробовал – и всякий раз оставался на остановке. К тому же у меня идиосинক্রазия на толкучку. Только что ты был человек, отдельная вселенная, и вдруг превращаешься в бочечную селедку... Я решил транспортную проблему следующим образом.

Клобуков ловко, в два движения сложил из своих дощечек-палочек самокат.

– Вот. Собственная конструкция. Тут вся хитрость в колесиках. Зимой скользко, в остальное время года проблему создает булыжная мостовая. Поэтому – видишь, они у меня стальные, с шипами? – Показал. Мирра кивнула. – Это зимние, для льда и снега. А весной сменю на каучуковые, сверхупругие. Они американские, предназначены для больничных каталок. Получил целый запас в качестве гонорара за одну операцию. В общем, докатываю из дома до университета и обратно максимум за полчаса. А для вещей профессор привез мне из Мюнхена настоящий альпийский рюкзак. Отличная штука.

Он гордо продемонстрировал свой вещмешок, действительно удобный

и красивый.

– Лихо, – одобрила Мирра. – Но вдвоем на самокате не получится. Придется все-таки штурмовать «пятнадцатый». Давай, интеллигенция. Пропускаешь даму вперед и не отстаешь.

Садиться в переполненные трамваи она умела расчудесно, толковища и ругань ее только бодрили.

Обернулась:

– Что застрял? Давай-давай. Видишь, подходит уже?

Но Антон смотрел не на трамвай.

– Гляди, вот удача!

По улице ехал новехонький автомобиль с круглой эмблемой на лаковой дверце. С прошлого года Моссовет начал закупать французские «рено» для индивидуальных поездок граждан по установленной таксе. Таксомоторов было мало, на них оглядывались. Минимальная поездка стоила три пятьдесят. Кто может себе такое позволить кроме жирных нэпманов и киноактеров?

– Ты что? Знаешь, сколько они дерут?

– Знаю.

Полоумный ассистент выскочил на проезжую часть, замахал рукой, и авто остановилось.

Вот павлин, хвост распустил. Хочет впечатление произвести. Как будто дурочку клеит.

Мирра заколебалась, садиться или нет. Буржуазные излишества, к числу которых несомненно относилась поездка на личном автотранспорте, она осуждала. Особенно противным показалось, что шофер сидел за стеклянной перегородкой. Ишь, отгородились от рабочего человека. Но было жутко любопытно. Она никогда еще не каталась на таксомоторе, а машина так соблазнительно сверкала хромом, так вкусно пахла резиной и бензином.

Сесть села, однако свое осуждение выразила:

– Был ты, Клобуков, конармеец, а стал перерожденец, про которых в газетах пишут. Любитель шикарной жизни.

– Шикарной? Нет. Удобной – да, – ответил он, блаженно потянувшись и закидывая ногу на ногу.

Мирра из принципа сидела прямо, не касаясь мягкой спинки.

– В условиях социалистического строительства мало кто может себе позволить удобства, а значит удобства – это шик.

«Рено» тронулся с места, и пришлось-таки откинуться назад.

– Погоди, разве закон социализма не гласит: от каждого

по способностям, каждому по труду? Я работаю на совесть, мои способности хорошо оплачиваются. Деньги я использую для того, для чего они и существуют: экономлю время и нервы там, где их тратить жалко. Не стою в очередях, не давлюсь в трамвае.

– Частная медицина – позорное явление! Брать деньги за операции и вообще за лечение для советского врача стыдно! Это Логинов тебя развратил. Тоже еще барин, на персональном автомобиле с шофером ездит!

Антон пожал плечами:

– Машину профессору выделил кремлевский Лечсанупр как ценному специалисту, который пользует членов правительства. Основная часть операций у Логинова бесплатные. Платные – только в сверхурочное время, в качестве так называемой допнагрузки. Причем платные обычно проще бесплатных – для обеспеченных людей, которым хочется, чтобы аппендикс или грыжу им вырезал светило хирургии. За это и раскошеляются. Ну и что? Многие медики подрабатывают – и врачи, и аспиранты, и студенты. Это нормально. Просто оплата разная, в зависимости от квалификации. Мне как анестезисту Клавдий Петрович платит от двадцати до тридцати рублей, в зависимости от сложности операции.

Возразить на это было нечего. Мирра и сама в прошлом году отлично поработала по вечерам в амбулатории завода «Электросвет», подменяла тамошнюю врачиху на время декретного отпуска. Получала по два восемьдесят за смену и считала, что это большая удача. Ни фиги себе, тридцать рублей за операцию!

Впечатленная, отвернулась и стала смотреть в окно, на стремительно проносящийся мимо город.

Ехали по Зубовскому бульвару, середина которого была засажена чахлыми московскими топольками, а по краям стояли двухэтажные дощатые дома, пытели белым дымом из труб. Проскочили Крымскую площадь, накрытую паутиной электропроводов – здесь пересекалось несколько трамвайных маршрутов. Прогрохотали по решетчатому мосту, украшенному большим портретом в траурных лентах (эх, уже два года без Ильича...).

Крымский вал на той стороне реки выглядел почти по-деревенски: дома низенькие, с глухими заборами, на дороге в основном гужевые извозчики – недалеко дровяной рынок.

А там уж был и поворот на Пятницкую, минут за десять домчали. Что сказать? Удобно, конечно. Но что будет, если все москвичи станут раскатывать на персональных авто?

Больше на таксомоторах ездить не стану, решила Мирра. Не по-

коммунистически это.

– Вон там я живу. – Захлопнув дверцу, Антон показал на кривоватый особнячок с мансардой, прятанный за сугробами в глубине обычного замоскворецкого двора. – Не Трианон, конечно, но в условиях жилищного кризиса очень даже ничего. Я прочитал в газете, что после войны население Москвы выросло вдвое. А нового жилья почти не строят.

– Ничего, построим. Дай срок.

Мирра огляделась. Штабель дров, белье на веревках, куча мусора, сбоку, в окружении желтых пятен, сортир, от него за двадцать метров несет. Дом как дом. Пол-Москвы так живет.

– До революции дом принадлежал купцу второй гильдии, из небогатых. Его степенство жил тут с семейством и прислугой. А сейчас восемь семей в полуподвале, восемь на первом этаже, четыре в мансарде, плюс я на чердаке. Душ семьдесят, я думаю.

– Водопровода нет, канализации нет, электричества нет, газа тем более, – констатировала Мирра. – Я одного не пойму. Раз ты такой любитель удобств, почему не поселишься в преподавательско-аспирантском общежитии? Вашего брата селят по двое в большой комнате, каждому положен свой стол с лампой. Неужто твой Логинов тебя не пристроил бы?

– Я не могу по двое. Я привык один... Тут я как в башне, практически неприступной. Сейчас увидишь.

На крыльцо вышли две бабы, судя по обветренным красным рожам – уличные торговки или, может, дворничихи. Уставились на Мирру.

Сейчас что-нибудь отмочат, подумала Мирра, приготовившись к отпору.

– Здравствуйте, Антон Маркович, – сказала одна и улыбнулась, что далось ее грубой физиономии нелегко.

– Доброго здоровьичка, – подхватила другая.

А Клобуков им просто кивнул.

Вошли в коридор, весь прокуренный, завешанный бельем, заставленный корытами, стиральными и гладильными досками, просто хламом. Из кухни пахло прогорклым маслом и тушеной капустой, доносились разгоряченные голоса – там кто-то яростно собачился.

На обрубке полена, понурившись, сидел не то сильно пьяный, не то жестоко похмельный дядька, мотал нечесаной башкой. Поднял мутные глаза, икнул.

– Марковичу, ик, наше...

Вяло протянул трясущуюся лапищу с корявыми ногтями.

– Уже напился? – сказал Антон, не обращая внимания на протянутую руку. – Голову тебе оторвать, Нефедов.

– Оторви, – согласился пьяный. – Тебе можно.

Стали подниматься по замусоренной лестнице в мансарду.

– Чего это они с тобой такие сахарные? – шепотом спросила Мирра. – Ты же интеллигент. Их от одного твоего вида трясти должно – вежливый, очкастый. Как это ты их выдрессировал?

Ей действительно стало любопытно.

– Очень просто. Одних лечил, по мелочи. Другие знают, что в случае чего пригожусь. Вот со мной никто и не ссорится. Нефедова этого в больницу возил. Цирроз у него, а всё квасит. Умрет скоро...

В мансарде было не лучше, чем внизу, только что кухней не смердило. Коридорчик, четыре двери.

– Ну, которая твоя?

– Угадай, – усмехнулся он.

Одна дверь была вроде почище других, Мирра ткнула в нее.

– Нет. Вон моя. – Палец показал на потолок, посередине которого темнел люк. – Я же говорил, что живу в башне. Почему ты думаешь мне, холостому-одинокому, выделили в райисполкоме персональную площадь аж в десять квадратных саженей?

– Как бывшему буденовцу? – предположила Мирра.

– Черта с два. Буденовцев пруд пруди, а Москва не резиновая. Чердак проходит как нежилое помещение. Туда, видишь, доступа нет. Но всякий недостаток превращается в преимущество, если правильно его использовать.

– А правда – как ты туда забираешься?

Она задрала голову.

– В прежней жизни я был белоручкой, руками ничего делать не умел. А в новых условиях пришлось научиться. Во-первых, прислуги теперь нет. Во-вторых, медику без ловких пальцев никак. Пришлось разработать мышцы и мелкую моторику. Есть специальные упражнения. Ты как хирург должна это знать.

Мирра кивнула. На первом курсе будущих хирургов, хочешь не хочешь, заставляли ходить в кружок вышивания. На втором, для отработки чувствительности, учили читать книги для слепых, с завязанными глазами.

– ...А тренированный мозг в сочетании с тренированными пальцами в условиях недоразвитого социализма очень облегчает жизнь. Самокат моей конструкции ты уже видела. Теперь посмотри на лестницу моей

конструкции: марка «Сезам». Сезам, откройся!

Жестом фокусника он извлек из рюкзака какую-то металлическую трубку с крючком на конце, потянул за него – и оказалось, что это телескопическая трость, довольно длинная. Взявшись за ее толстый конец, Антон взмахнул – и с впечатляющей точностью зацепил колечко на краю люка. Слегка дернул – дверца открылась, оттуда с мягким лязгом спустилась лестница.

Мирра присвистнула.

– Здорово!

– Залезаю, лестницу поднимаю, люк захлопываю – и как в крепости. Никто не сунется. Только некоторая сноровка нужна. Делай как я.

Он шустро, как обезьяна, вскарабкался по перекладинам. У Мирры, хоть она была и физкультурница, так быстро не получилось.

Попасть в клобуковское жилище было чертовски непросто. Зато оказавшись наверху, Мирра прямо ахнула.

Комната была хоть и со скошенными стенами, с невысоким потолком, но зато огромная. Даже не комната, а целая квартира, потому что к печной трубе, находившейся ровно посередине, были пристроены две перегородки с дверями. Свет проникал через окошки, прорезанные в крыше.

– Из-за трубы здесь зимой всегда тепло, – гордо стал объяснять Клобуков, довольный эффектом. – Тут у меня большая комната: кабинет, он же столовая, он же гостиная, хоть гостей никогда еще не было, ты первая...

Ага, внутренне усмехнулась Мирра, глядя на уютный кожаный диван под книжными полками. Все-таки мужики, даже самые умные, считают женщин полными идиотками. Можно подумать, есть какая-то разница, сколько баб он раньше заманивал в свою холостяцкую гарсоньерку (было до революции такое смешное слово). Интересно чем? Не операцией же по ринопластике.

– Вон там, – Антон показал на левую дверь, – я сплю. Ничего особенного: кровать и тумбочка с лампой.

– А за правой дверью что? – спросила Мирра, думая, что здесь, конечно, шикарно и красиво, но каждый раз, когда приспичит, изволь слезать по перекладинам, потом топай вниз по лестнице, потом по морозу до загаженного сортира. Нет, в общежитии все равно лучше.

– Санитарный узел. Поскольку ты медичка и ко всему естественному относишься нормально, хочу продемонстрировать тебе самое масштабное свое изобретение.

За дверцей был рукомойник, самый обычный – это-то ладно. Еще был душ с насосом: наверху резервуар, внизу цинковый поддон, из которого в стену выходила труба – ого!

Антон торжественно остановился над аккуратным коробом, стоявшим чуть в сторонке. Открыл крышку.

– Пудрклозет. Загляни, не бойся. Внутри химический растворитель, устраняющий ненужные в жилом помещении запахи.

Мирра с интересом заглянула: лиловая жижа. Пахнет лавандой.

– Здорово! Когда наполняется, выносишь?

– В том-то и дело, что нет! – просиял Клобуков. – Пудрклозет я просто купил, это не штука. Главное изобретение – вот оно. Гляди. Когда емкость наполняется, зацепляю тросиком вот за этот крюк. Кручу вот этот рычаг. Поднимаю.

Тонкий проволочный канат тянулся к окну. Антон открыл раму, показал прикрепленное к скату крыши шкивное устройство.

– Здесь траектория меняется на наклонную. Конечная станция – выгребная яма. Поворотом рычага я переворачиваю емкость и возвращаю ее на место. Такую операцию достаточно производить раз в неделю.

– Ты тут действительно как в крепости.

Мирра посмотрела на чудного ассистента, будто впервые разглядела его по-настоящему. Он только кажется нескладным и нелепым. На самом деле он – волшебник, который делает всё, к чему прикасается, разумным и удобным. Живет в этом своем толково обустроенном мире, и никто ему не нужен.

И на внешность очень даже ничего, если присмотреться. Очки, конечно, портят. Но с щетиной лицо, пожалуй, даже мужественное.

– Тебе с бородой и усами лучше, – сказала она.

– Помнишь тогда, в фотолаборатории, я сказал, что сам себе сделаю новогодний подарок? Вот и сделал. Решил, что отпущу бороду. В награду – если десять операций подряд ни разу не подойду к операционному столу. Это для анестезиста – как высший квалификационный разряд. Значит, план анестезии разработан идеально и экстренное вмешательство не потребовалось. С бородой наклоняться над открытым разрезом опасно – может незаметно выпасть волосок, поэтому, как ты знаешь, хирурги или бритые, или, как Логинов, надевают двойную марлевую повязку. Я их ненавижу – дышать трудно. Борода для нашего брата – роскошь.

– Что, за десять операций ни разу не пришлось подбавить наркоза? – поразила Мирра.

– Теперь уже за двадцать две, – скромно заметил Клобуков. – Ни разу.

Потому что у меня – Метод. Ну, то есть изобрел его не я, а швейцарский профессор Шницлер, но я много своего прибавил. Если коротко, суть в том, чтобы предварительно изучить не только физиологические, но и психологические параметры пациента. Кто-то нервный или мнительный, кто-то легко возбудимый, кто-то, наоборот, заторможенный. У всех свои индивидуальные страхи, свои сильные и слабые стороны. Да мало ли. Человеческая психика – материя сложная и комплексная. Поэтому всякий раз нужно выбирать индивидуальную анестезионную стратегию. Для этого перед операцией я много общаюсь с больным. Не все быстро раскрываются.

– А есть такие, кто вообще не раскрывается? – заинтересованно спросила Мирра. Теперь она поняла, почему хирурги рвут анестезиста Клобукова на части. Двадцать две операции у него уже, с начала года!

– Не встречал таких. Во-первых, даже самые смелые боятся. А во-вторых... Человек знает: скоро ты и так увидишь, что у него внутри. И это каким-то образом психологически стимулирует откровенность.

Особенно перед опасной операцией, которая неизвестно чем закончится... Пожалуй, самым трудным с точки зрения установления контакта был сегодняшний случай. Именно анестезически, а не хирургически. Рассказать?

– Конечно!

– В клинику поступила женщина, японка. Тяжелое огнестрельное ранение грудной клетки, область сердца, задел перикард. Стрелял муж, тоже японец. Его арестовали. Больная в сознании, но молчит. Клавдий Петрович осмотрел ее, говорит мне: «Spei nihil est^[5], коллега». Он любит латинские выражения вставлять, во времена его студенчества это было модно. «Я, говорит, это безразличное ко всему состояние отлично знаю. Не хочет жить, а значит, не очнется после наркоза. Умрет на столе. Надо бы ее на стол прямо сейчас, но *festina lente*^[6]. Отложу операцию на сутки. Она ваша. Сделайте так, чтоб захотела жить. Тут преступление страсти, а для меня это все равно что микропедиатрия – ничего в этих материях не смыслю». Я, конечно, перепугался. Как это – вернуть волю к жизни женщине, которую хотел убить собственный муж? Да еще, прости господи, японку? И главное, времени в обрез.

Антон поежился, вспоминая.

– И как же? – поторопила его Мирра. – С ней ведь, наверно, даже не поговоришь?

– Нет, проблема была не в этом. Она – Фурукава ее фамилия – хорошо

знает русский. И говорила охотно. Правда, пришлось дать легкий раствор бета-скополамина, чтоб развязать язык... Зато уж начала – не остановишь. Видимо, у нее давно, а может вообще никогда, не было возможности выговориться. Она употребила интересное выражение: «Последний разговор». И еще: «Последняя искренность». У нас, говорит, в Японии, перед смертью иногда пишут короткое стихотворение, в котором пытаются выразить суть всей своей жизни, последний взгляд на нее. Но, говорит, я не умею писать стихи. Я всегда была неуклюжей в словах. Очень мне это настроение не понравилось, особенно слово «была». По-русски Фурукава говорит чисто и свободно, почти как мы с тобой. Только «л» произносит как «р». Оказалось, что она наполовину русская, по отцу. Дочь моряка и туземной конкубины. Раньше так было заведено: иностранец, обычно моряк, вступал с японкой во временный брак. Помнишь оперу «Мадам Баттерфляй»?

– Нет. Терпеть не могу оперы, – Мирра была недовольна, что он отвлекается от интересного.

– Даже революционные? – Клобуков улыбнулся. – Наш коллега эпидемиолог Триодин сочинил оперу «Степан Разин». В Большом театре идет. В газетах пишут, музыка дрянь, зато содержание идеологически правильное. Советское.

– Ты рассказывай про пациентку, не отвлекайся.

– Своего отца не помнит. По окончании «контракта» он выплатил матери установленное вознаграждение, и всё. Мать работала и, кажется, до сих пор работает учительницей в кружке русского языка, который в Японии очень популярен, особенно среди левых. Будущий муж Фурукавы тоже учился в этом кружке. Он то ли коммунист, то ли анархист, пациентка плохо разбирается в политике. После Великого землетрясения двадцать третьего года в Японии начались беспорядки, потом репрессии, и супруги эмигрировали в СССР. Возвращаться в Японию им нельзя. Муж работает в Коммунистическом университете трудящихся Востока. Всё это она мне рассказывала подробно, с удовольствием, но я был вынужден перейти к главной теме – боялся, что действие скополамина закончится и она уснет. Спрашиваю: «Почему муж; в вас стрелял? Ревность? Очень любит?» «Нет, – отвечает, – совсем не любит. У нас муж и жена редко любят друг друга. Наш брак по сговору, как это принято в Японии. Мужу пора было жениться. Он любил Россию, с почтением относился к моей матери, вот и попросил моей руки». Я слушаю, пытаюсь понять. «Значит, вы его очень любите? Замучили ревностью?». Нет, она его тоже не любит. А проявлять ревность у них считается неприличным. Произошло же, по ее

словам, вот что. «Мой муж, – спокойно рассказывает, – полюбил другую женщину. Она лучше меня. Красивее, умнее. Поскольку он человек честный, искренний, сам мне во всем признался. В нем совсем нет лжи». (Она произнесла «ржи», я не сразу понял.) «Муж; спросил, как ему быть? Бросить меня он не может, потому что сам сюда привез. Жить со мной тоже больше не может, ему тяжело на меня смотреть. Я сказала, что у меня кроме него ничего и никого нет. Что я покончила бы с собой, но не хватает смелости. Поэтому пусть он как человек ответственный лишит меня жизни. Это будет лучше, чем выкинуть меня, как шкурку от мандарина. Он заплакал и сказал: „Ты права. Ты не можешь жить здесь одна и не можешь вернуться домой. Я выполню твое желание“. Достал пистолет и выстрелил. Но у него дрожала рука, поэтому я еще жива... Ничего, так даже лучше. Я все равно умру, но благодаря вам, сенсей, у меня состоялся Последний Разговор. Спасибо вам за это».

– Кто это – сенсей? – напряженно спросила Мирра.

– Она все время меня так называла. Это значит «доктор»... Я, конечно, был совершенно потрясен рассказом. Говорю: его же в тюрьму посадят. «Знаю. Но у вас в России, я читала, за преступления страсти дают не больше пяти лет. Это немного для сильной любви. А мой муж и эта русская женщина очень любят друг друга. У нас с ним такой любви не было, только уважение. Пусть же он заплатит за свое трудное счастье и потом насладится им». Сказала она это и замолчала. Глаза закрыла, вид довольный. Уже одной ногой на том свете. Сто процентов: умрет на столе. – Антон покачал головой. – Я тоже молчу. Думаю. Пытаюсь сообразить, как до нее достучаться. Ведь всё другое. Механизм душевных движений какой-то принципиально иной.

– И что же ты сделал?

Он усмехнулся.

– Вообразил себя японцем. Сдвинул брови, говорю сурово: «Вы поступили малодушно и некрасиво. Говорите, что желаете мужу счастья, а на самом деле вам хочется его наказать. Чтоб он сначала помучился в тюрьме, а потом остаток жизни терзался своей виной перед вами». Ага, смотрю, открыла глаза. И в них беспокойство. «Неправда! Я не хочу, чтобы он мучился! Просто я слабая!» – «А коли не хотите его мучить, то придется вам стать сильной. Вот если бы вы его отпустили и начали новую жизнь, это было бы и сильно, и благородно. Вы же просто хотите ему отомстить».

– А она что? – подалась вперед Мирра.

– Расплакалась. Раньше – ни слезинки не пролила, а тут прямо ручьем.

«Ваша правда, сенсей! Теперь я понимаю, что я хотела сделать ему так же больно, как было больно мне! Что я натворила! Ах, какой плохой Последний Разговор!» Ну, думаю, дело идет на лад. «Еще не поздно, говорю, всё исправить». «Но как? Он преступник, он арестован!». «А вот как. Во-первых, вы должны выдержать операцию. Чтобы потом вызвать следователя и сделать признание: заявить, что это вы сами в себя стреляли, мужа оговорили из ревности, а он не стал опровергать ваши слова из-за чувства вины перед вами. Психологически это вполне правдоподобно. Пусть он останется на свободе. И вы тоже от него освободитесь. А если у вас достанет сил на такой поступок, то значит, сил хватит и на то, чтобы начать новую жизнь. Ведь вы молоды». Я еще много всякого в том же роде говорил, а она много плакала, но это были слезы не слабости, а знаешь... как будто в марте пригрело солнце, и начали таять сосульки. Что-то такое. Извини за лирику. – Клобуков сконфуженно улыбнулся, но у Мирры и самой глаза были на мокром месте. – ...В общем, пациентка горячо попросила меня сделать всё, чтобы операция прошла успешно, и я смог доложить Клавдию Петровичу: пациентка готова... Сердце под наркозом работало как часы. Давление тоже держалось. Я же сказал: прелесть, а не операция. Когда Фурукава пришла в себя, она попросила меня принять в знак благодарности самое дорогое, что у нее было.

– Ты взял? – с осуждением воскликнула Мирра. И тут же с любопытством: – И что это было?

– Подарок, прямо скажем, странный, но отказаться было неловко. И потом, я подумал, что ей лучше от этого предмета избавиться. – Он полез во внутренний карман. – Фотография ее неверного мужа.

С карточки смотрел японец в кимоно. Не красавец и вообще ничего особенного.

– Вот я и думаю, – задумчиво произнес Антон, тоже глядя на снимок. – Любит она своего мужа или нет?

– Конечно, любит. Хоть он и сволочь.

– Мне тоже так кажется. Что любит. И что сволочь. – Вздохнул. – По моим наблюдениям, мужчины вообще мельче и слабее женщин в области человеческих отношений. Наука, общественная деятельность – иное дело.

– Ничего. – Мирра вернула фотографию. – Мы и в больших делах скоро вам нос утрем. Кстати о носе. Где брошюра-то?

Они сидели рядышком на диване. Короткий зимний день начинал меркнуть. Антон зажег две керосиновые лампы, прикрепленные к стене.

Из-под оранжевых картонных абажурчиков лился мягкий свет.

Запинаясь, но при этом довольно споро Клобуков переводил прямо с листа. Мирра строчила химическим карандашом в блокноте, но совершенно безмысленно.

Сердце лихорадочно качало кровь, в висках постукивало.

Только что произошло неожиданное, в высшей степени странное. Антон ничего не заметил, а Мирру аж качнуло.

Когда они усаживались, он, давая карандаш, случайно коснулся ее руки. И вдруг, от легкого этого прикосновения, Мирру шибануло знакомым током. Тем самым. Безошибочным. Да как сильно!

Эй, гражданка Носик, с ума ты что ли сошла?

Когда мужчина начинает нравиться, думаешь: если он всё сделает правильно, почему бы и нет? Только бы не сбил настрой каким-нибудь дурацким словом или движением, не заморозил бы постепенно разливающееся снизу тепло. Потом плывешь на этой волне и чувствуешь, что слов и движений, которые могут всё испортить, становится меньше. Затем приходишь до градуса, когда уже любое слово, ведущее к поцелую, будет кстати и только ждешь, когда оно прозвучит. Наконец, становится достаточно просто прикосновения, от которого тело пробивает электрическим разрядом, и уже вообще никаких слов не нужно.

Обычно с ней такое случалось, если рядом какой-нибудь ладный, веселый, уверенный парень. А этот-то очкарик с какой радости?

Ну, руки красивые. Ну, пожалуй, голос: негромкий, доверительный – будто важнее тебя никого на свете нет.

Конечно, не в голосе дело. Мирра не очень умела слушать собеседников. Обычно перебивала, начинала говорить сама. А тут – удивительно – в основном помалкивала. Хотелось слушать и слушать. Но, елки зеленые, одно дело – слушать интересного рассказчика, и совсем другое – ток.

Наверно, секрет в доме. Он объясняет про Клобукова больше, чем внешность. На черепашку, вот на кого он похож. Вынь-ка ее из панцыря – будет уродиной, а в своей маленькой крепости – красавица.

– «...Таков перечень материалов, пригодных для наращивания каркаса носа вместо утраченных вследствие травмы...» Ну, в случае косметической операции речь может идти не о травме, а просто о коррекции слишком маленького носа.

Клобуков перемежал диктовку собственными комментариями. Мирра кивала, записывала – ничего не понимая, механически.

Еще он похож; на те часы, подумала она, поглядывая на Антона искоса

и подавляя желание отшвырнуть тетрадку, обхватить его руками, прижать к спинке дивана.

Давно, в раннем детстве, была история. Мать ходила убирать квартиру к присяжному поверенному, иногда брала маленькую дочь с собой – не с кем было оставить. А там на отдельном столике стояли бронзовые часы, не сказать, чтоб особенно роскошные, но каждый час они очень красиво били – такими перламутрово-хрустальными переливами. Мирре ужасно хотелось разобраться в тайне волшебного звука. Однажды, улучив минутку, она открыла сзади на часах дверцу, заглянула внутрь, потрогала пальцем блестящие колесики – и механизм вдруг остановился.

Она, дура, боялась, что Клобуков станет клеиться и придется его деликатно отшивать. А он ни о чем таком и не думает!

Сама проявлять инициативу Мирра не решалась. Было ощущение, что может произойти, как с теми часами. Цапнешь не так – и хрустальный звон исчезнет. Или черепаха спрячется в свой панцырь, да больше не высунется.

Лицо у Мирры горело. Вообще кидало в жар.

– Уф, ну и топят. – Она расстегнула две пуговики на вороте, засучила рукава до локтя. – Как ты тут живешь, с этой печной трубой.

– Я люблю, когда тепло. Но, если, хочешь, можем пересесть к окну.

Он скользнул по ней взглядом, в котором не было никакой искры, ни малейшего мужского интереса. Даже в расстегнутую блузку не покосился.

И Мирра – кажется, впервые в жизни – вдруг засомневалась: а может быть, она ему просто не нравится? Как женщина.

Низенькая, крепкая. Ноги короткие – будто перевернутые бутылки: с толстыми лодыжками, узкими щиколотками. Посмотрела на свою руку. Пальцы тоже короткие. Лицо круглое, курносое – поросычье. Лоб широкий и выпуклый, а волосы, которые могли бы его прикрыть, для удобства убраны назад и заколоты гребнем...

– Не «эндоносальный», а «эндоназальный», – сказал Антон, заглянув ей в тетрадку. – Хотя в сущности это одно и то же... Да не здесь. Вот.

Ткнул пальцем – и опять задел ее голое запястье. Мирра вздрогнула. Второй разряд был еще чувствительней первого.

Ну всё. Баста.

– Я знаю, что такое эндоназальный. Просто в спешке не так написала... – Захлопнула тетрадку. – Мне пора, Клобуков. Дело одно есть, совсем забыла. – Скорей вскочила с дивана. – Спускай свой трап. Побегу.

В самом деле – дунула с чердака пулей. Скатила по приставной лестнице, во двор чуть не бегом вылетела.

Морозец охладил разгоряченные щеки, но не пригасил огня, поджаривавшего изнутри.

Неужели я такая непривлекательная, мрачно думала Мирра. Черт, где у них тут трамвайная остановка?

* * *

С физпривлекательностью у Мирры всё было в норме. Скоро она получила этому подтверждение, самое недвусмысленное.

«Тридцать третий» довез ее с Пятницкой на Петровку, где работал и жил Лёнчик. Работал – тренером в спортклубе «Общества пролетарского туризма»; жил – там же, в служебной комнате.

Познакомились они прошлым летом, в лагере Красного Спортинтерна. Лёнчик был мировой парень – легкоатлет, альпинист. Сложен как атлант из тех, что держат на плечах балконы. Веселый, легкий, заводной. Прямо скажем, не Лобачевский, но тренеру оно вроде и ни к чему. Зато жеребец первоклассный. Заметьте: жеребец, не кобель. Это принципиальная разница. Кобель за каждой юбкой бегаёт, пристаёт, добивается. Жеребец ждёт, когда предложат, и только после этого проявляет все свои рысистые стати.

Назвать его любовником было бы неправильно, потому что любовь тут ни при чем. Совсем. Но когда Мирра начинала замечать в себе симптомы половой депривации (тянет в низу живота, ночью эротические сновидения, проблемы с мыслительной концентрацией и т. п.), отправлялась к безотказному Лёнчику. Он был как пионер: всегда готов. И всегда на месте: либо в зале, на снарядах, либо у себя в комнате – на кровати, с журналом «Смехач» в руках.

Сегодня Мирре было очень, ну просто очень нужно, чтобы Лёнчик оказался не на тренировке.

И повезло. На вахте сказали: товарищ Галушко занятия в секции гимнастики закончил, находится у себя.

Но это было еще полдела. Пару раз Мирра являлась к нему, а дверь заперта, и из-за нее доносятся вполне недвусмысленные звуки. Ничего не попишешь – она на него прикрепительного талона не выписывала. Поворачивалась, уходила.

Однако тронула ручку – открыто. Коротко постучала, вошла.

Так и есть: лежит на кровати с журналом.

– Мирка! Здорово!

Сел, рот до ушей, полон белейших зубов. Сам по пояс голый – рельефные грудные, умопомрачительные дельтавидные, живот весь квадратиками – будто решетка, из которой того и гляди выпрыгнет зверь. Прямо картинка из атласа: «здоровый молодой мужчина атлетического телосложения».

– Встать! Сми-рна! – скомандовала Мирра.

Он ухмыльнулся еще шире. Вскочил, грудь колесом, руки по швам.

Лёнчик знал ритуал, привык.

Присела Мирра на корточки. Опускаясь, не удержалась – чмокнула в гранитное подвздошь. Спустила с советского Геракла шаровары и трусы. Внимательно осмотрела рабочий аппарат – с Ленчиком следовало соблюдать осторожность. Черт знает, какие шалавы к нему сюда таскаются.

Красавец-мужчина тянулся стрункой, похихикивал. Исследуемый предмет быстро набухал в Мирриных руках.

– Вольно, – сказала она чуть осипшим голосом, поднимаясь. Уронила бекешу, шаль. – На старт. Марш!

– Даешь на старт! Даешь марш! – радостно завопил Лёнчик.

Легко оторвал Мирру от пола, понес на койку, бережно положил.

– Дверь закрой, – велела она сквозь зубы, сдирая через голову блузку и лифчик.

Хрустнул ключ. Лёнчик в два скачка вернулся к кровати, помог избавиться от остальной одежды. Мирра потянула его на себя, обхватила крепкие бедра ногами, запрокинула голову.

Хорошо! А сейчас будет вообще отлично.

Права товарищ Коллонтай, или кто там придумал про стакан воды.

Пить, пить! Залпом, до дна.

Любовь Нового времени Литература.

В европейское Новое Время, начи-
нающуюся с вехой Просвещения,
оба пола мужской и женской,
36 лет. 17 в. и 18 в. Лидером, как и
литературой в философии 17 в. и
18 в. века он, собственно, селитур,
это женский, постепенно стано-
вится все больше и неизменно.

Философия, которая наконец
выводит теорию телесности
чувствования на качественно
высоком уровне, и рассматривает
также и литература достигает
такой степени развития, что
метафоризм любви лучше всего
излагается в прозе и поэзии, но
еще больше в литературе не только
идейной, но и в описательской
языке, и так как неслучайно
состоит из дебристических.
К тому же, тогдашние романы, как
и, безусловно, на правах и воз-
зрения людей замечает, тем по-
добно называет труд.

Наиболее в зрении литературы
в восемнадцатом столетии, как и
кажется, создан англичане — такие,
как Генри Филдинг, Лоуренс Стерн
или Оливер Голденст. В их про-
изведениях преобладают приемы
физиологического, рационально-
практического (sensible) взгляда на
любви, которая признается глав-
ным ублажительным, приятным и

(Из клетчатой тетради)

Любовь Нового времени

Литераторы

В европейское Новое время, начинающееся веком Просвещения, оба голоса, мужской и женский, звучат дуэтом. Лидирует, конечно, мужской (в философии вплоть до XX столетия он, собственно, солирует), но женский постепенно становится всё громче и независимей.

Философию, которая наконец выводит теорию человеческого существования на качественно иной по сравнению с античностью уровень, я рассмотрю отдельно, однако и литература достигает такой степени мастерства, что метаморфозы Любви лучше всего изучать по прозе и поэзии, поскольку в них есть не только идейный, но и бытоописательный аспект, почерпнутый непосредственно из действительности. К тому же модный роман, конечно же, воздействовал на нравы и воззрения людей заметней, чем любой ученый труд.

Наиболее зрелую литературу в восемнадцатом веке, как мне кажется, создали англичане – такие как Генри Филдинг, Лоуренс Стерн или Оливер Гольдсмит. В их произведениях преобладает приземленно-физиологический, рационально-практический (*sensible*) взгляд на Любовь, которая признается занятием увлекательным, приятным и – при разумном отношении – полезным, однако же не до такой степени важным, чтобы стоило сходить из-за этого с ума и губить себе жизнь. Общий тон скорее снисходителен, во всяком случае не восторжен. Возлюбленные, которых мы встречаем на страницах английских романов, сочетают сентиментальность с рассудительностью, не расшибают себе лбы о непреодолимые препятствия. Любовь делится на несерьезную и серьезную.

К первой категории относятся легкие интрижки, затеваемые с сугубо карнальными намерениями, причем авторы романов (и мемуаристы эпохи) относятся к таким связям весело, без осуждения. Целью отношений второго разряда считается создание семьи. Впрочем, значение этой новой концепции – брака по сердечной привязанности – трудно переоценить. Это был очень важный шаг в сторону симбиотического восприятия Любви.

Французские беллетристы этого периода относятся к Любви иначе. Она становится, пожалуй, главной художественной темой и трактуется

как раздор между разумом и чувством – драма, которую большинство английских авторов не считали чем-то трагическим.

Самая значительная штудия Любви предпринята Жан-Жаком Руссо в романе «Жюли, или Новая Элоиза». Я прочитал это произведение еще гимназистом и совершенно не запомнил, поскольку в моем тогдашнем возрасте оно ничем меня не заинтересовало.

Теперь я знаю, что автор намеренно воссоздает ситуацию, в которой оказались средневековые Абельяр и Элоиза. Между ученым наставником, кавалером де Сен-Прё, и его ученицей Жюли зарождается любовь, на пути которой возникает преграда – не в лице злодея-дяди, а в виде этического табу, которое лишает Любовь возможности физической реализации так же бесповоротно, как кастрация.

С одной стороны, это всё тот же идущий от античности спор между двумя видами любви, «филосом» и «эросом», и Руссо, пожалуй, мало чем обогащает древнюю коллизию. Интереснее всего, на мой взгляд, то, что автор изменяет распределение ролей в любящей паре. В романе представлена не только новая Элоиза, но и новый Абельяр. Наверное, можно рассматривать книгу как попытку реабилитировать мужскую Любовь, которая, по убеждению автора, в век Просвещения должна быть не такой, как прежде. В письме к Жюли (Руссо неслучайно выбирает форму эпистолярного романа, заставляющего вспомнить переписку любовников XII века) шевалье Сен-Прё заявляет прямым текстом: «Я всегда сочувствовал Элоизе; ее сердце было сотворено для любви; Абельяр же казался мне всего лишь несчастным, который заслужил свою судьбу, ибо он не обладал знанием ни любви, ни добродетели». То, что Абельяр в конце концов оборвал переписку с Элоизой, предпочтя Любви служение Богу, вызывает у Сен-Прё осуждение. Ничто и никто, даже Бог, не смеют встать между двумя истинно любящими. «...Соединим же две половины нашего существа; предстанем перед Небом, кое является вожатым нашей судьбы и свидетелем наших обетов; поклянемся жить и умереть друг за друга». Это весьма сильная декларация Любви симбиотического толка, безусловно отсылающая читателя к аристофанову взгляду на «эрос».

Но если изменился «Абельяр», то не осталась прежней и «Элоиза». Ее новизна состоит в том, что Жюли по силе Любви заметно проигрывает своему историческому прототипу. Для нее разум важнее чувства, что явствует из ее нескончаемых рассуждений о чести и добродетели. Возможно, конечно, что Жюли просто не любила Сен-Прё по-настоящему, душой и телом, то есть любила, но не Любила – это психологически объяснило бы ее поведение, однако Руссо, кажется, не сомневается

в искренности и интенсивности чувства своей героини. Он хочет показать, как изменился Мужчина и как изменилась Женщина: первый стал чувствительней, вторая – разумней.

Французская любовная литература эпохи, разумеется, изобилует и менее глубокими трактовками Любви, от «Манон Леско» до «Опасных связей», где авторы увлечены прежде всего разрушительной мощью страстей. Однако современникам было совершенно ясно, что это не описание модели жизненного поведения, как у Руссо, а всего лишь *литература*, средство разбередить читательскую чувствительность и увлажнить надушенный платок приятными слезами.

Вероятно, и 24-летний Гёте, работая над «Страданиями юного Вертера», рассчитывал лишь вызывать у аудитории сострадательное всхлипывание. Однако эффект, произведенный этим любовным романом, потряс тогдашнюю Европу. По германским странам, а затем и повсюду, где «Вертера» перевели, включая Россию, прокатилась волна самоубийств от неразделенной любви. Дошло до того, что в некоторых государствах книгу запретили к продаже.

Вряд ли этот феномен можно объяснить только силой писательского мастерства (хотя и ею – ведь маркиз де Вальмон из «Опасных связей» тоже пошел на смерть добровольно, однако же его пример подражателей не сыскал). Полагаю, дело здесь в национальной основательности немцев, которым мало было облачиться в вертеровские желтые кюлоты с синим камзолом (чем, вероятно, ограничились бы их французские современники); некоторые серьезные юноши прошли путь веймаровского страдальца до самого конца. И уж потом, начавшись в Германии, зловещая мода распространилась на остальную Европу.

Главная же причина заключалась в том, что культурная и идейная эволюция общества к тому времени подготовила почву для подобной эпидемии.

Сознание просвещенных сословий менялось под воздействием новых, более цивилизованных условий жизни, разрушения религиозных, социальных и поведенческих запретов. Человек начинал *иначе себя ощущать*. Грубый физиологизм и практицизм предыдущей эпохи казался молодому поколению вульгарным. Душа рвалась ввысь, к сильным, красивым чувствам. В сфере общественно-политической это привело к жажде справедливого социального устройства, а затем к революциям. В области межполовых отношений – к их идеализации, которая вошла в историю под названием Романтизма.

Хоть сам Гёте в позднейшие годы осуждал романтизм и дистанцировался от него, но романтическое отношение к Любви ведет отсчет именно от «Страданий юного Вертера».

Что такое романтизм применительно к Любви?

Это перенос центра тяжести человеческого существования из области материальной в область эмоционально-духовную. Если угодно, это *феминизация* Любви – в том смысле, что чувства становятся важнее чувственности; к XIX веку они вообще вытеснят ее за рамки цивилизованного разговора, загонят в кабак и в подпольные типографии, печатающие порнографию.

Европейскому человеку последней трети XVIII столетия захотелось импозантно выглядеть перед собой и окружающими, захотелось немелочных чувств. Ареной, на которой естественней и доступней всего осуществлялась такая потребность, стали любовные отношения.

Именно с этого времени в западной культуре утверждается настоящий культ Любви.

На первый взгляд, идеализированная, экзальтированная Любовь романтиков может показаться регрессией по сравнению с земной, *честной* шекспировской Любовью или добрым английским браком по сердечной привязанности. Не было ли это возвращением к напыщенной Любви куртуазной эпохи или, еще дальше, к платоническому «филосу»?

Возможно, но лишь до некоторой степени. Не следует обманываться кажущимся целомудрием романтизма. Он просто *не говорит* о плотской стороне Любви, но ее подразумевает. Для романтической барышни драматичное «погибнуть» или «пасть» становится эвфемизмом для вступления в табуированные обществом сексуальные отношения, и пелена недосказанности только придает этой стороне жизни остроты.

Еще существенней другое отличие романтизма как от куртуазности, так и от платоновского идеализма. В античные времена и тем более в Средневековье о любви и Любви писали и читали почти исключительно мужчины. Теперь же главным читателем стали женщины: дамы, определяющие общественную моду, и барышни, моду впитывающие. Очень скоро писатели и поэты стали ориентироваться прежде всего на эту благодарную аудиторию.

Не замедлили появиться и писательницы, влиятельностью не уступающие, а то и превосходящие мужчин: мадам де Сталь, Жорж Санд, сестры Бронте, Джейн Остин и другие.

Если куртуазная литература изменила главным образом мужчин,

то романтическая более всего подействовала на женщин. В их повседневном существовании остались и браки по расчету, и хозяйственно-семейные тяготы, и прочая бытовая проза, но с приходом романтизма огромное количество, если не большинство молодых женщин стали считать Любовь центром, смыслом и высшей ценностью своей жизни. Так остается и до сего дня, хотя на современном Западе, как я читал, всё чаще звучат голоса, утверждающие, что для женщины профессиональная самореализация важнее Любви. Возможно, так и произойдет в будущем, но пока, в середине XX века, главным интересом для женской половины человечества продолжает оставаться Любовь.

Чтение романтической литературы довольно быстро прискучивает, поскольку герои ведут себя аффективно, их позы и речи малоестественны. Понятно, что для повседневной жизни эта модель поведения пригодна не больше, чем любовное подвижничество рыцарских романов.

Самая известная из разновидностей такой Любви, байроническая, наиболее утомительна. Формула байронической личности составлена из разочарования жизнью, эпатирования общепринятой морали, поведенческой эффектности и поэтизации одиночества. В отношениях с противоположным полом байронический герой ориентирован на то, чтобы вызывать сильные чувства, но самому их не испытывать. Эта Любовь не предполагает счастливого союза, поскольку в координатах байронизма счастье предстает синонимом ординарности.

Русскому человеку такой романтизм лучше всего знаком по образу Печорина, который, вероятно в силу моей национальной принадлежности, кажется мне и глубже, и психологически прописанней, нежели Чайльд Гарольд. Лермонтов убедительно демонстрирует катастрофическую неспособность героя к Любви, используя для этого три разных коллизии и показывая трех разных женщин, каждая из которых более чем достойна быть Любимой. В ситуации с княжной Мери и с Бэлой герой, преодолевая препятствия, сначала добивается взаимности, а затем, достигнув цели, утрачивает к объекту всякий интерес, поскольку не считает этих девушек равней. Но и с Верой, отношения с которой для него не спорт и не временный каприз, Печорин проявляет себя эмоциональным инвалидом. Он и хотел бы Любить, но не может и страдает от этой беспомощности – насколько вообще способен страдать такой человек. Избалованный, жестокий, эгоцентрически углубленный только в собственные переживания, начисто лишенный эмпатии, Печорин,

в сущности, является весьма скверным субъектом, однако очарование романтического стиля столь велико, что многие поколения гимназисток, а потом советских школьниц влюблялись в этого персонажа и искали его подобий в реальной жизни.

Женский ответ байронизму, «сандизм», пожалуй, оказался явлением более значительным – если не в литературном смысле, то по своим общественным последствиям. Писательница Аврора Дюдеван, известная под псевдонимом «Жорж Санд», создала новый тип женского *modus vivendi*, продекларировав его не только через литературу, но и примером собственной жизни, для чего потребовалась феноменальная сила характера и интеллектуальное бесстрашие.

Если до сих пор в Любовных отношениях женщине отводилась роль цветка, который ждет, пока на него сядет пчела, то сандизм объявил, что отныне правила игры меняются: женщина тоже может быть инициатором Любви, сама выбирая, кого, на каких условиях и до какого момента ей Любить. На феминизацию мужской Любви, начавшуюся полувеком ранее, Жорж Санд ответила призывом к вирилизации Любви женской – причем сделала это даже с перебором, взяв мужской псевдоним и шокируя публику мужским нарядом. Эта писательница опередила время почти на целый век. Женщины, открыто живущие по правилам сандизма, стали повсеместным явлением только с двадцатых годов нынешнего столетия, когда равноправие полов в Любви уже никого не шокировало.

С позиции симбиотической Любви, которую я считаю единственно настоящей, вклад Жорж Санд огромен. «Омужествление» женской Любви ускорило встречное движение двух частей андрогина в еще большей степени, чем руссоистское ослабление мачизма – ведь до сих пор женская «половина» активности не проявляла.

Благодаря эти важным переменам в девятнадцатом веке НЛ становится явлением всё более возможным и распространенным.

Философы

Подходя к развитию представлений о Любви в Новое время, я, конечно, предполагал, что новеллисты и поэты, при всей хаотичности и неструктурированности их метода познания жизни, могут оказаться для меня полезнее философов (точно так же, как при освоении новых

областей медицины опыт медиков-практиков часто дает больше, чем гипотезы медиков-ученых) – и всё же был удивлен тем, как мало мое понимание Любви обогатилось за счет чтения философской литературы.

Хотя, пожалуй, удивляться нечему. Порыв, владеющий философом, возвышен – попытка разобраться в смысле жизни. Но парадокс заключается в том, что лучшие философские умы были слишком заняты *размышлениями* о жизни; у большинства не оставалось ни времени, ни сил для того, чтобы полноценно жить. Биография философа, как правило, бедна событиями. Я даже думаю, что тут существует некая логическая зависимость: хорошим философом может стать лишь человек, у кого разум и силы, вследствие событийно и эмоционально скудного образа жизни, освобождаются для систематической мыслительной работы. Кьеркегор сказал: «Философия совершенно права, когда утверждает, что жизнь можно понять, лишь оглядываясь назад, но при этом многие забывают, что проживать ее можно, лишь двигаясь вперед».

Поэтому не стоит слишком доверять философам, теоретизирующим на тему Любви. Подозреваю, что дар философствовать и дар Любить – величины обратно пропорциональные.

Я убеждаюсь на собственном опыте, что Любовь плохо поддается рационализации. Это как если бы кто-то вздумал во имя разгадки тайны жизни и души анатомировать живого человека: так можно лишь получить представление о физиологическом устройстве тела – и остаться с трупом.

И тем не менее философы Нового времени не могли не поставить перед собой трудноосуществимой задачи: помочь человеку *понять Любовь* и тем самым стать счастливее. Успехи на этом поприще, как мне кажется, получились скромными.

Начать, вероятно, следует с первого философа, чей интеллект освободился от последствий многовековой заморозки Средневековья. Я имею в виду Рене Декарта (1596–1650). Это первый со времен античности мыслитель, попытавшийся произвести научный анализ любви. Декарт различал шесть «первичных страстей»: удивление, любовь, ненависть, желание, радость и печаль, причем определял любовь как «волнение души, вызванное движением духов [«духами» он называл нервную деятельность], каковое побуждает душу по доброй воле связать себя с предметами, которые кажутся ей близкими...». Об одной из разновидностей этого «волнения души», Любви, Декарт писал, что она вызывается иллюзией о совершенстве некоего представителя противоположного пола, что Любящий начинает остро ощущать свою

ущербность и хочет исправить ее за счет обладания второй своей половиной. Дальше этого (вполне симбиотического по своей природе) определения Любовного порыва Декарт, к сожалению, не идет.

Ничем не помог мне и Кант, в чьем учении я столько почерпнул для разработки правил аристократии. Великий кенигсбержец много писал о любви, но занимал его почти исключительно «филос». Человек должен руководствоваться не инстинктом, влекущим нас к Удовольствию, а разумом, предписывающим вести себя нравственно, то есть исполнять свой Долг, пишет Кант, и эта этико-логическая система отлично работает, пока не сталкивается с феноменом Любви. Тут выясняется, что в основе Любви находится не Долг, а именно что Удовольствие, вещь легкомысленная и к нравственному императиву отношения не имеющая. Никакого удовлетворительного способа примирения Долга с Удовольствием философ не предлагает.

У Гегеля, как и у Декарта, Любовь определяется созвучным моему поиску образом: «Потеря своего сознания в другом, видимость бескорыстия и отсутствие эгоизма, благодаря чему субъект впервые снова находит себя и приобретает начало самостоятельности; самозабвение, когда любящий живет не для себя и заботится не о себе, находит корни своего существования в другом и все же в этом другом всецело наслаждается самим собою, – это и составляет бесконечность любви...» Однако и Гегель на этом останавливается, ограничиваясь лишь общими рассуждениями – обособляет подлинную («земную») Любовь от гедонистической (в моей терминологии «эгоцентрической») и религиозной.

С большой надеждой я погрузился в чтение «Работ о любви» Сёрена Кьеркегора, зная понаслышке, что это одно из самых авторитетных исследований занимающего меня предмета, – и был разочарован. Датский философ пишет лишь о любви божественной, а для меня, человека нерелигиозного, эта материя интереса не представляет.

Людвиг Фейербах, представитель принципиально иного направления мысли, смотрел на Любовь совершенно по-другому. Он был прав, предполагая, что в будущем на смену христианской этике придет «новая религия» любви человека к человеку. Фейербах видел в Любви стержень жизни: «Ребенок лишь тогда становится человеком, когда любит. Сущность любви обнаруживается всего яснее в одном виде любви, в любви мужчины к женщине». В другом месте он пишет еще решительней: «...Любовь к женщине есть основание всеобщей любви. Кто не любит женщины, не любит человека». Но и у Фейербаха я обнаружил только декларации, а не анализ Любви и не объяснение ее механизмов.

Всякий философ, сталкиваясь с очень трудной проблемой, оказывается перед выбором: либо честно признать свою неспособность решить ее (как это фактически делают Кант, Гегель или Фейербах), либо с апломбом предъявить миру некую логичную, отлично всё объясняющую конструкцию – и закрыть глаза на ее несовершенства.

Именно таким путем пошел Артур Шопенгауэр, теорию которого я пересказываю здесь только потому, что испытываю к этому философу личный интерес (объясню его позже).

По Шопенгауэру, ларчик открывается очень просто.

Всё движение в мире подчиняется некоей энергетической силе, которую философ назвал *Wille zum Leben* (Воля к жизни). У этой силы одна-единственная, лишённая какого бы то ни было смысла цель: бесконечное воспроизведение жизни. Механизм Любви объясняется именно этим – инстинктом, побуждающим мужчин и женщин подыскивать партнера, в союзе с которым можно произвести наиболее жизнеспособное потомство. Всё прочее – чувства, страдания, наслаждения – не более чем гарнир к основному блюду. Шопенгауэр, впрочем, отличает Любовь от обычной чувственности, утверждая, что, в отличие от разврата, который не нуждается в детях и нетребователен к выбору сексуального объекта, Любовь взыскательна и переборчива – ведь далеко не все пары, соединяясь, способны дать качественный приплод. Страстная привязанность – нечто вроде подсказки, дающей понять, что партнер для этого годится.

Принятые каноны красоты Шопенгауэр объясняет диктатом всё той же Воли. Сильный, смелый, успешный мужчина с хорошей фигурой и правильными чертами лица воспринимается будущей женой как превосходный кандидат в отцы ее будущего ребенка: биологически здоровый, способный обеспечить пропитание и защиту. Мужчинам же нравятся женщины молодые и полные, поскольку у таких больше шансов родить крепких детей.

Я не стану тратить время на комментирование этой стройной версии, поскольку даже при моем крайне ограниченном Любовном багаже понимаю, что умный человек Шопенгауэр в Любви совершенно не разбирается. Как сказал про него Владимир Соловьев: «Ни малейшего подтверждения в действительности этот опыт не находит».

Весьма уязвимые построения Шопенгауэра я привел здесь еще и для того, чтобы прямо от них перейти к соловьевской точке зрения, которая, как я уже писал в начале, ближе всего к моему собственному пониманию Любви – а Соловьев первоначально приступил к этой теме,

полемизируя с шопенгауэровской теорией.

По Соловьеву, потребность Любви объясняется вовсе не инстинктом к наиболее успешному размножению, а стремлением достичь единства с другим человеческим существом, *не поступившись при этом своей индивидуальностью*. Я выделил эту мысль, потому что она принципиально важна и поднимает симбиотическую концепцию Любви, идущую от Аристофана, на качественно новый уровень. (Как будет видно ниже, сам Соловьев в этом отношении не вполне последователен.) Русский философ писал, что истинно Любящий не тешит свое собственное «я», а отказывается от эгоизма и благодаря этому обретает «я» новое, одно на двоих с Любимым. В этом Любовь Соловьева отлична от Любви другого выдающего философа современности, Николая Бердяева, который считает это состояние прежде всего средством к самоусовершенствованию личности и ее духовному росту, то есть стоит на «эгоцентрической» позиции. Соловьев же ставит «половую любовь» (прямо так, без экивоков ее и называет) выше всякой другой, включая патриотическую и даже материнскую; называет ее «идеалом всякой любви» – потому что в притяжении, возникающим между Любящими, видит движение к созданию целостного надсущества, каким и призвана стать пара.

Соловьев скептически относится к платонической, то есть сугубо «духовной», асексуальной любви (в его времена, времена «Крейцеровой сонаты», возможность такого союза активно обсуждалась в прекраснородушной части общества), считая ее явлением бессмысленным и аномальным.

Почти все этапы соловьевского рассуждения меня устраивают, кроме одного нюанса, который при внимательном рассмотрении оказывается вовсе не пустяком. Философ пишет, что цель Любви – «сочетание двух данных ограниченных существ, которое создало бы из них одну абсолютную идеальную личность», и в этом утверждении мне видится, во-первых, некоторая умозрительная химеричность, а во-вторых, и опасное заблуждение.

Начну с первого. Всякий человек представляет собой отдельную вселенную, которая рождается, существует и уходит сама по себе, даже если кто-то появился на свет с братом-близнецом или если Любящие прожили душа в душу и умерли в один день. В один день – но все равно по отдельности. Единой личности из двух людей не получится. *И незачем к этому стремиться*. Воспевая такое единство, Соловьев отходит от заявленного им же принципа «не поступаться своей индивидуальностью».

Несколько раз в жизни мне доводилось видеть семейные пары, которые действительно превратились в некое подобие сказочного «тяни-толкая» из сказки про доброго доктора Айболита. Они одинаково мыслили, одинаково себя вели, даже мимика у таких супругов была идентичной. Безусловно они производили впечатление людей счастливых, однако всякий раз было заметно, что это единство достигнуто за счет того, что кто-то из супругов (обычно жена) полностью подчинен взглядам, вкусам и воле второго – словно растворен в его личности. Видимо, создание андрогина, состоящего из равноправных половинок, невозможно, а тогда получается, что кто-то из Любящих не выполнил своего жизненного предназначения – не раскрыл полностью всей своей уникальной, неповторимой индивидуальности.

Читая Соловьева, я пришел к заключению, что в идеале НЛ должна приводить не к слиянию двух личностей в одну, а служить катализатором для развития каждой из них, объединять действия, но не обеднять индивидуальности. Ранее я уподобил такой Любовный союз федерации двух автономий.

В нашем двадцатом столетии взгляды на Любовь кардинальным образом изменились, поскольку произошла настоящая революция в семейном укладе и в отношениях между полами. Я имею в виду не большую степень сексуальной свободы (не нужно преувеличивать целомудрие жителей девятнадцатого века), а снижение экономико-социальных требований к браку. Женщины стали намного независимее, потому что могут обеспечивать себя материально, не осуждаются обществом за одиночество и имеют возможность регулировать зачатие благодаря развитию контрацепции. Все эти факторы привели к тому результату, что все или почти все браки в западных и социалистических странах, то есть у трех четвертей человечества, совершаются по Любви. То, что семьи непрочны и легко распадаются, является обратной стороной этой безусловно отрадной метаморфозы. Мужа и жену перестала связывать необходимость, обуславливавшаяся материальными причинами, многодетностью и общественно-церковными запретами на развод. Сегодня люди расстаются, когда перестают Любить друг друга – или же сознают, что ошибались и что Любви не было.

В связи с этими переменами и общим возвышением понятия Любви, которая, подтверждая догадку Фейербаха, сделалась чем-то вроде главенствующей религии, мощное развитие должна была получить и современная Любовная философия, но в силу специфических условий

советского существования я не имею доступа к трудам так называемой «классово чуждой» науки, хотя очень желал бы ознакомиться с ее последними заключениями по занимающей меня теме. Мне удалось лишь, воспользовавшись статусом медицинского работника, прочесть в спецхране труды Зигмунда Фрейда, однако они посвящены главным образом исследованию психологического механизма сексуальности, что не может помочь в поиске ответа на поставленные в начале главы вопросы.

Очень возможно, что кто-то из мыслителей Запада уже нашел решение проблемы, над которой я так неуклюже и, наверно, комично ломаю свой схематический разум.

Не удивлюсь также, если окажется, что рецептуру совершенной Любви вывел какой-нибудь талантливый писатель, а вовсе не философ.

Не могу отделаться от ощущения, что теоретизирование большинства перечисленных мною мыслителей подобно спорам о вкусе халвы, которой они либо вовсе не пробовали, либо едва от нее отщипнули. Немногие из философов испытали на себе потрясение большой Любовью, о котором восемьсот лет назад писал Абельяр: «Я был философом, но эта тиранка подавила мой разум и возобладала над мудростью; ее стрелы оказались крепче щита моей рассудительности, и сладким своим принуждением она повлекла меня туда, куда ей было угодно».

Незаурядные умы безусловно обладают огромной мощью воображения и умеют домысливать то, чего не пережили сами, однако же, если вновь пройти по именам, которые я перечисляю в данной главке, поневоле спрашиваешь себя: да полно, нужно ли так уж доверяться этим сапожникам без сапог?

Рене Декарт и Иммануил Кант были людьми хрупкими, болезненными, семьи не имели и, кажется, Любви так и не poznали. Кант, правда, говаривал, что были времена, когда он хотел жениться, но не имел на то средств, а когда обрел средства, утратил желание. Что ж, знать невелико было желание.

Кьеркегор в молодости испытал очень сильную любовь к Регине Ольсен, которая ответила ему взаимностью. Однако философ так испугался абеляровой «тиранки», что разорвал помолвку и с тех пор старался держаться от Любви подальше.

Владимир Соловьев никогда не женился и вообще был, как говорится, «не от мира сего».

Практическим опытом Любви обладали Гегель и Фейербах (оба имели семьи и внебрачные связи), но это обстоятельство лишь сделало их, сравнительно с платоническими коллегами-теоретиками, более

осторожными в оценках. «Любовь – самое чудовищное противоречие, которого рассудок не может разрешить», – признается Гегель, и эта честность философа достойна уважения.

Некоторой загадкой для меня является эгоцентризм Николая Бердяева, про которого мне рассказывали, что он жил с женой душа в душу (в данном случае идеально уместный оборот речи) и что Лидия Юдифовна была его бесценной помощницей, подругой, соратницей, то есть жизнь сама демонстрировала философу достоинства симбиотической Любви. Предполагаю, что здесь сказалась христианская основа бердяевского мировоззрения, в принципе не признающая любви более высокой, чем та, что связывает человека с Абсолютом.

Я намеренно пропустил Артура Шопенгауэра, поскольку в силу некоторых личных причин мне хочется выделить жизнеописание этого философа в отдельный фрагмент.



(Фотоальбом)

* * *

– Смотри. Сначала очищаешь кожу лосьоном...

Лидка капнула на ватку из пузырька с яркой заграничной этикеткой, протерла сидящей перед зеркалом Мирре лицо. Оно будто залоснилось – «залосьонилось», хмыкнула Мирра. Она держалась иронически, но наблюдала цепко. Запоминала.

– Некоторые девушки ленятся, пренебрегают очисткой, но этого ни в коем случае делать нельзя. Медленно, тщательно, не спеша... Потом берешь грим-пудру и убираешь все шероховатости, неровности и дефекты кожи...

– Как маляр грунтует стену перед покраской?

– Не верти головой. – Лидка придержала ее за макушку. – Видишь, как ровненько? Теперь пуховочкой... Глаза закрой.

– Щекотно!

Прищуриться Мирра прищурилась, но не до конца. Следила за ловкими пальцами подруги.

Слишком яркий электрический свет клал резкие тени, и собственное лицо было странным: местами черным, а местами неестественно белым. Здесь, в рентгеновском кабинете университетской клиники, бывало либо полное затмение, либо, как сейчас, ослепительное искусственное сияние. Окна отсутствовали.

– В принципе дальше полагается оживить щеки румянами, но с твоей полнокровностью цвет и через пудру пробивается. Не нужно. Сейчас займемся глазами. Это дело очень тонкое, деликатное. Хочешь выглядеть невульгарно – смотри, не перестарайся. Тут единого правила нет, всё сугубо индивидуально. Будем пробовать, искать. С первого раза хорошо не получится.

Зеркало было повешено прямо на дубовый штатив для вертикальной съемки больных, рядом с рентгеновским аппаратом «Саксе». На табуретку, чтоб сидеть повыше, подложили «Медицинскую рентгенологию» Лазарева. Набор кремов, флакончиков, тюбиков, который Эйзен всегда таскала с собой в сумке (Мирра насмешливо называла его «походной лабораторией»), расставили на кожухе индуктора. Лидка тряслась над своими сокровищами, как царь Кощей над золотом, никогда никому не давала попользоваться. Все эти стекляшки-неваляшки от «Лориган Коти», «Микадо», «Шанель» не покупались, а доставались и стоили кучу денег. Из-за парижских парфюмов с пудрами и кольдкремов (ну и еще, конечно, из-за тряпок) дура Лидка буквально белого света не видела, «рентгенила» в трех разных местах. Роба от такой жизни у нее стала такая белая – никакой пудры не нужно. Теней тоже можно не накладывать – и так похожа на очковую змею. По этому поводу Мирра с подругой ссорилась,

потому что, во-первых, нечего себе здоровье портить, а во-вторых, красить морду для современной советской женщины унизительно и стыдно. «Если меня кто полюбит, то без обмана с моей стороны – такую, какая я есть, с поросычьими ресницами и носом картошкой», – говорила она.

Хорошо быть гордой и независимой, когда живешь сама по себе и никто тебе, в общем, не нужен. Но с Миррой творилось что-то непривычное, исключительно неприятное. Раньше кто-нибудь сказал бы, что она ночью не сможет нормально спать из-за глупых бабьих терзаний, – засмеялась бы, не поверила.

Правда, погода была странная. Прошлой ночью с зимой что-то приключилось. Вдруг будто зазвенело где-то, сделалось трудно дышать, сгустился воздух, и забарабанила о подоконник капель. Нагрязнула оттепель.

Природа за окном, стало быть, разводила слякоть, и комсомолка Носик тоже шмыгала носом, сердито терла мокрые глаза, злилась на себя. Надо же, разнюнилась, как последняя мещанка, как курица: ах-ах, дролочка не любит.

После спортивно-оздоровительного визита к Лёнчику, еще вся разгоряченная, какое-то время храбрилась. Да как он смеет, Клобуков этот занюханый, не испытывать ко мне интереса! Да пошел он, коли так, на все четыре стороны и на три буквы! Знать его не желаю, близко к нему не подойду. Очень надо!

Поостыв, сказала себе: нет, зачем же лишать себя такого интересного собеседника. И в профессиональном смысле это контакт тоже полезный. Только безмозглые самки сводят все человеческие отношения к постели. Можно ведь общаться по-товарищески. Ну, не нравлюсь я ему в женском плане, что тут поделаешь.

Решение было правильное и взрослое, однако совершенно неосуществимое. Надо было настраивать себя до того, как шибануло током. Теперь поздно. Уже не получится.

Изворочавшись в койке, уже глубокой ночью, сказала себе: кончай сама себя дурить, идиотка. Медицинский факт заключается в том, что ты втрескалась. Самым злокачественным образом – в человека, которому ты на фиг не нужна. Это тебе наказание за самовлюбленность. И за то, что издевалась над Эйзен с ее безответными Любовями.

Вопрос: что же теперь делать?

Она еще долго сопела, смахивала слезы и переворачивала со стороны на сторону мятую подушку. А уже перед рассветом вдруг сказала себе: подкараулю его завтра, и посмотрим, что будет. Тут вдруг Мирре стало

хорошо и спокойно. Она потянулась, улеглась на правый бок и сразу уснула.

* * *

Назавтра, то есть, собственно, сегодня утром, подкараулила Клобукова возле факультета и – невеликий женский маневр – подстроила так, что тот окликнул ее первым.

– Мирра!

Голос был радостный, от чего глупое сердце затрепыхалось – то есть, оперируя точной терминологией, резко увеличился ритм кардиосокращений.

Антон пожал ей руку (электрический удар), хороню так улыбнулся и говорит:

– Представляешь, я сегодня ночью практически не спал. Голова как чугунная, а мне на операцию.

Она, дура, прямо обмерла вся. Как, он тоже не спал?!

Но тут же и скисла. Оказывается, у него на Пятницкой, в этом его муравейнике, чуть не до рассвета скандалили соседи. Рассказывал об этом Клобуков весело, разными голосами – то густым басом, то визгливым бабьим, то старушечьим писком.

– Началось подо мной, в коридоре второго этажа. Если я правильно восстанавливаю анамнез, знакомый тебе циррозник Нефедов без спросу взял у инвалида империалистической войны Клопова иглу от примуса. Оба минуту-другую поматерились, припоминая друг дружке прежние обиды. Потом из-за стены фальцетом гражданка Сац, зубной техник: «Перестаньте орать! Люди спят!» Клопов ей: «Ты вчера со своим брюханом собачилась, вам можно? А русским людям и поговорить не смей?» Подключился гражданин Сац: «Кто брюхан? Я брюхан? Как галоши одалживать, „Матвей Абрамыч, родненький“! А за антисемитский намек я в жилищечку пожалуюсь!» Клопов ему: «Подавись своими галошами, паскуда!» – и хрясь, хрясь об стену. А по ту сторону обитает гражданин Красаво, бывший дьякон. У него исключительной мощи бас. «С ума вы там походили, умалипоооты?!» Стекла завибрировали. Здесь уж пробудилась и подключилась вся популяция.

Мирра слушала, хмурилась. Во-первых, ей показалось, что он рассказывает всё это, будто орнитолог, наблюдающий за птичьим базаром.

Или энтомолог, описывающий жизнь насекомых. Этак свысока, поинтеллигентски. А во-вторых, сердце, поняв ошибку, замедлило ритм сокращений и, как пишут в старорежимных романах, «упало». Вроде бы идиотское выражение, потому что сердцу из сердечной сумки падать некуда, а какое верное.

Когда Клобуков, наконец заметив ее сдвинутые брови, удивленно умолк, Мирра стала говорить про наболевшее, горькое, чем никогда ни с кем не делилась, хотя думала об этом часто. Главное, нашла с кем откровенничать! Добро бы со своим, а то с человеком аполитичным, может быть, даже и враждебным социализму. Не в себе она была, это ясно.

– Что меня поражает, это как измельчали и изгадились люди, – несчастным голосом сказала она. – В Гражданскую войну и во время военного коммунизма так не было. Был размах, был героизм. А теперь что? Ведь победители, освобожденный пролетариат, а как некрасиво, недостойно живут... Что ты на меня вылупился? Думаешь, если у меня комсомольский билет, я слепая? Не вижу, что до революции жизнь была другая? Грязи было меньше, грубости, хамства. Ведь простой народ завоевал свободу, скинул угнетателей, никто больше тебя не давит, не мордует. Расправь крылья, летай! Будь достоин высокого звания «советский человек»! Какие горизонты впереди! А всем наплевать. Живут, как свиньи в свинарнике, и сами этого не понимают. Что с этим делать, непонятно. Обидно – мочи нет. Все болтают про моральный кодекс строителя социализма, про рождение нового человека, а вокруг одно совмещанство. Из-за иголки примусной, из-за каких-нибудь галош поганых, да просто из-за ничего, каждый готов обматерить, дать, в морду в горло вцепиться...

Процитировала из Маяковского:

«Утихомирились бури
революционных
лон.
Подернулась тиной
советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина».

И сбилась. Стыдно стало за пессимизм и пораженчество. А тут еще и Антон, вместо того чтоб закивать и обрадоваться ее идеологической слабости, вдруг заспорил, начал возражать. И горячо так:

– Я тоже все время про это думаю. Ты произнесла ключевые слова: «недостойно» и «достойно». Мне кажется, в них главная суть. Ведь в чем было главное зло царского режима? В том, что у крошечного меньшинства жизнь была чистая и красивая, позволявшая человеку блюсти свое достоинство. Но обеспечивалась эта привилегия за счет унижения девяноста процентов населения, которому государство отказывало в праве на какое бы то ни было достоинство. Потому-то людям вроде моих родителей эти красоты были не в радость, а в тягость. Человек, наделенный настоящим чувством достоинства, не может жить в мире с самим собой, если видит вокруг обездоленных и униженных. И вот униженные взбунтовались. Разрушили старый мир, начали строить новый. На первый взгляд, жизнь стала не лучше, а многократно хуже. Беднее, грязнее, внешне непривлекательней. Людей, держащихся с достоинством, красиво, почти не видно. А раньше они прогуливались по центральным улицам толпами. Вежливые, нарядно одетые, улыбающиеся. Но мне думается, что мы плохо смотрим. Не на то обращаем внимание. В результате революции уровень красоты и достоинства резко понизился у так называемой «чистой публики». Скажем, в сто раз. Но зато он повысился на одну десятую или пускай одну сотую у всей основной массы народа. И грубость, хамство, на которые мы справедливо сетуем, это первый шаг освобождения от рабства. Когда неразвитый, необразованный, с детства привыкший к тумакам человек перестает бояться и вжимать голову в плечи, он не становится образцом политеса. Он просто начинает дышать полной грудью. И его выдох не благоухает парфюмерией. Ничего, всему свое время. Наши коммуналки, конечно, ужасны. Но они много лучше гнилых подвалов и вшивых бараков, в которых пролетарии жили при старом режиме...

Мирра слушала – ушам своим не верила. Вот уж от кого не ждешь услышать гимн завоеваниям революции!

– ...И по размаху тосковать нечего. Об этом я тоже много думал. Человек переживает всю гамму сильных негативных чувств – гнев, страх, ненависть – вне зависимости от масштаба потрясений. Так уж устроена наша психика. Но здоровье или нездоровье страны определяется масштабом причин, по которым ее жители негодуют, боятся или ненавидят. Чем ерундовее поводы для переживаний, тем нормальнее положение дел. Я очень хорошо помню эти перепады по Гражданской. В восемнадцатом

году в Петрограде, находясь то перед лицом голодной смерти, то под угрозой расстрела, я поражался, как можно было раньше трястись из-за гимназического экзамена или страстно ненавидеть придиравшегося ко мне учителя латыни. А год спустя, в тихой Швейцарии, вдруг однажды поймал себя на том, что трясусь от ярости на консьержку – вздорная баба отказалась принять от почтальона письмо, которого я очень ждал. Прямо разорвать ее был готов. И тут вспомнил Питер – хлопнул себя по лбу: Господи, какая чепуха! И вот что я тебе, Мирра, скажу: пусть лучше люди скандалят из-за галosh, чем героически палят друг в друга из пулеметов. Это огромный прогресс.

Слушать Антона было интересно. Так же интересно, как вчера. Но теперь этого было мало. Когда он показал, как в Швейцарии размахисто хлопнул себя по лбу, задел рукой Миррино плечо. И опять ее шарахнуло током. А Клобуков – видно было – ничего такого не почувствовал.

Потом он заторопился на свою операцию, но перед тем как убежать, сказал: «Слушай, в Музее Революции выставка к столетию восстания декабристов. Давай сходим. У меня дед был декабрист. Может, имя где-нибудь мелькнет».

– Дед декабрист? Ничего себе, – изобразила удивление Мирра, а сама думала совсем о другом. – Нет, Клобуков, некогда мне сейчас. Общественной нагрузки много.

В ней в это время происходила важная внутренняя работа. Созревала решимость. Два электрических удара прочистили мозг.

Хватит киснуть, хватит ребячиться.

Почему-то (черт знает почему, да и неважно) ей нужен именно этот мужчина. Она в него втрескалась намертво, факт. И то, что ему Мирра Носик с ее любовью на хрен не сдалась, всего лишь усложняет задачу, однако не делает ее неосуществимой. Этого спящего красавца требуется разбудить, расшевелить в его хрустальном гробу.

Разозлилась на себя за это девичье сравнение. Ну-ка, без романтики! Без эйзеновщины! «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их – наша задача». «Большевизм – не догма, а руководство к действию».

Конечно, Антон Клобуков – крепкий орешек. Занял круговую оборону, окопался против окружающего мира, и никто ему не нужен. Человек-крепость, человек-остров. Но это ничего. Большевики взяли белый Крым, а тот тоже был крепость и фактически остров.

На выставку Мирра отказалась идти, потому что тут требовалось временно отступить для перегруппировки сил и подготовки решительного штурма.

Стоп. К лешему военные метафоры. Речь ведь не о смертоубийстве, а о спасении любви. По-медицински нужно действовать. Как перед всякой хирургической операцией, необходимо составить план. А то разрезать разрежешь, да не будешь знать, что делать дальше. И пациент по имени Любовь, Люба-Любочка, бедная дурочка, не приходя в сознание, помрет на операционном столе.

Что у нас в позитиве, продолжала рассуждать новая, взрослая Мирра, сидя на лекции.

По-человечески я ему нравлюсь. Как собеседница. Уже неплохо.

В негативе: он равнодушен ко мне как к женщине.

Стало быть, план операции будет такой. Дружить, общаться, разговаривать обо всем на свете, но ни в коем случае не напирать. Мужчина есть мужчина, молодой организм есть молодой организм. Половые железы работают, гормоны производятся. Конкретная цель ближайшего периода – пробудить в гражданине А. Клобукове мужской интерес к гражданке М. Носик.

Надо стать привлекательнее. И мягче. А то она с ним держится, как Буденный с Ворошиловым. И выглядит, если честно, как конармейская кобыла в боевом походе. Черт-те во что одета, дефекты физиономии не закамуфлированы, стрижка фасона «батька Махно».

Никогда раньше Мирра не задумывалась, как стать привлекательнее. Не вообще, а для одного конкретного мужчины. Понятия не имела, как это делается.

Но у нас, врачей, как? Не знаешь чего-то – привлеки профильного специалиста.

А профильный специалист, слава богу, имелся.

* * *

Лидка в последнее время почти не показывалась в общаге, да и на занятиях практически не появлялась. Она собирала деньги на широкомасштабное обновление гардероба. Рентгеновских кабинетов в Москве пока было мало, они функционировали в круглосуточном режиме. Специалистов-рентгенологов тем более не хватало, и аккуратная, добросовестная пятикурсница шла нарасхват. Эйзен умудрялась отпахивать по две смены, скакала из клиники в клинику, а спала прямо на работе, урывками. Но Мирра ее график знала. Знала и то, что по техправилам

после сорока минут работы аппаратура должна двадцать минут остывать. В такой вот перерыв и вклинилась.

Поставила перед подругой задачу. Лидка отнеслась со всей серьезностью. Одобрила. Наконец-то, сказала. Я давно до тебя добираюсь.

Первую двадцатиминутку отработала деловито, сосредоточенно, попутно объясняя что и как, на посторонние разговоры не отвлекалась. Но потом, пока делала и обрабатывала рентгеновские снимки, должно быть, задумалась, с чего это вдруг Мирра решила заняться своей внешностью (Эйзен на сообразильку была небыстрая). И во время следующего перерыва, прежде чем заняться веками, уставилась своими ввалившимися от недосыпания глазищами и говорит:

– Неужели ты влюбилась? Нет, не может быть...

И столько в ее голосе было изумления, что Мирра почувствовала себя уязвленной.

– А что я, по-твоему, деревянная? Да, влюбилась, представь себе. Может, я тебе позавидовала?

Ей ужасно хотелось поговорить про Антона. Кроме Лидки рассказать об этом было некому. И всё выложила бы, всю правду. Если кто и понял бы, так Эйзен. К тому же она никому не натреплет. Но слово «позавидовала» подействовало на Лидку, как луковица: черные глаза моментально наполнились влагой.

– Позавидовала? Мне? – Подбородок задрожал, потекли слезы – тоже черные. – Издеваешься? Знаешь, есть женщины, созданные для счастья. Как ты... А есть такие, как я. Кто родился под несчастной звездой и всегда будет несчастной...

И Лидку понесло – не остановишь. Видно, ей тоже очень надо было выговориться.

– Я сегодня утром видела его. И ее. Они сели в авто. Он сказал шоферу: «На Белорусско-Балтийский вокзал», и они уехали. Меня не заметили, я спряталась... Как он на нее смотрел! А она на него! Нет никакой надежды. Совсем никакой! Когда я их видела в театре, они просто сидели, и всё. Потому что вокруг люди. А тут они думали, что они вдвоем и никто не видит. Опять же перед разлукой. Она уезжала в Берлин, он ее провожал на поезд... Я теперь много про Теодора знаю. И про нее. Они ужасно любят друг друга, это видно! У них невозможно красивый брак. Как у Ларисы Рейснер и Федора Раскольников. Раскольников едет воевать на море – и Лариса с ним. Он на фронт, и она тоже, комиссаром. Его отправляют послом в далекий Афганистан, и Рейснер туда же. И всюду она едет не как жена, а с собственным

назначением! Вот и у Теодора такая жена!

Мирра присвистнула. Лариса Рейснер для Лидки была прямо богиней. Недостижимым идеалом, выше всякой Мэри Пикфорд.

– Прямо-таки как Рейснер?

– Конечно, они с Теодором не знаменитые революционеры, а рядовые работники Наркоминдела. Но оба на какой-то важной, секретной работе, притом у нее своя, у него своя.

– Откуда ты всё это знаешь?

– Познакомилась с их консьержкой. Пила с ней чай.

– Что такое «консьержка»?

Мирра слышала сегодня это слово во второй раз. У Клобукова не спросила, чтобы не выставиться невеждой. У Лидки – можно.

– Это как вахтерша. Но вахтерши в общежитии, а в приличном доме – консьержки.

У Лидки был особый дар – ее обожали билетерши, гардеробщицы, вахтерши.

– Там такой дом, для ответ работников Наркоминдела. Совсем как в старые времена, – мечтательно сказала Лидка. – Чистая парадная, цветы в горшках, стекла все целы, лифт работает. Все квартиры отдельные, представляешь?

– Фига себе, – поразилась Мирра.

– Жена служит в постпредстве, в Германии. Сюда приезжает по делам – ненадолго, но часто. Теодор живет в Москве с маленькой дочкой, все время ездит в короткие заграничные командировки. С ребенком остается няня, интеллигентная такая дама. Ты бы видела, как он одевается, как выглядит! Настоящий европеец. Не красавец, но такой представительный, культурный!

– Погоди, – перебила Мирра. – Значит, жена у него почти все время отсутствует? И опять уехала? Что ж ты жалуешься на невезучесть? Эйзен, это же фарт! Шашку наголо и вперед. Тем более вахтершу ты уже завербовала. В следующий раз не прячься от него. Пусть посмотрит, какая ты интересная. Для первого раза просто улыбнетесь друг дружке. Во второй раз кивнете. С третьего заговорите, познакомитесь. Вот ты говоришь: Лариса Рейснер, Лариса Рейснер. А твоя Лариса, между прочим, от Раскольникова ушла, когда полюбила другого. Потому что она женщина сильная и свободная. Любовь – не собачья цепь, насильно к будке не прикуешь.

– Разрушить такую семью? – испуганно взмахнула щеточкой Лидка. – Ни за что на свете! И потом, ты бы ее видела! – Посмотрела на себя

в зеркало, пригорюнилась. – Она такая красивая! Так одета! Не в случайное, с бору по сосенке, как я, а во всё парижское, настоящее. Сколько я на дежурствах ни заработай, мне за нею не угнаться. Ну и вообще, – она совсем погрузнела, – разве я пара ответственному соработнику? Он на секретной службе, а у меня сама знаешь какое соцпроисхождение...

– Слушай, я не пойму, ты его любишь или нет?

– Больше жизни! – горячо воскликнула Эйзен. – Но разве любят для себя?

– А для кого же?

– Для того, кого любишь. Чтобы ему было хорошо. А я поломаю ему всю жизнь... Я из дворян, генеральская дочь, половина родни в эмиграции... Нет, мне ничего от него не нужно. Только видеть его. Хотя бы изредка, издалека. Пусть он не догадывается о моем существовании. Я не представляю, что со мной будет, если он вдруг посмотрит мне в глаза или заговорит...

Схватила рукой за грудь, длиннющими ресницами хлоп, хлоп.

Вот кому Лёнчика бы одолжить на часок-другой, подумала Мирра. Выкачал бы девичью чепуху, как насосом.

Подумала – и поморщилась. Почему-то вспоминать про это было неприятно, хотя вроде бы прошло всё ударно. Как обычно.

А Эйзен скорее всего была девица. Мирра несколько раз допытывалась, были ли у нее когда-нибудь настоящие, не дистанционные любовники. Двадцать четыре года все-таки. Но Лидка пунцовела, разговаривать о «скотстве» отказывалась. Сто процентов девица, железобетонно. И при таком векторе движения останется ею навсегда.

Подруга тем временем от всхлипывания перешла к реву, затряслась вся, худенькие плечи запрыгали, началась икота. А потом – здрасьте – дуру вырвало. Хорошо, в кабинете свой санузел.

Вытирая плаксе мокрым полотенцем не белую, а прямо-таки зеленую физиономию, Мирра строго выговаривала:

– Это ты себя рентгеном своим иссушила. Все время в темноте, в духоте. Не ешь, не спишь. Гляди, Эйзен, в гроб себя вгонишь.

Лидка, согнувшись, полоскала рот, постанывала, а Мирра разглядывала себя в зеркале.

Даже с недокрашенными глазами, на одной только грунтовке, она сильно похорошела, самой понравилось. Вроде она, а вроде и нет. А если еще стрижку сделать, понаряднее одеться?

Главное – вроде бы нет соперницы. Никто не будет мешать, путаться

под ногами.

Вот взять ее и Эйзен. Вроде обе в одинаковом положении: безответно влюблены. А какая разница! И дело даже не в том, что Теодор женат, а Клобуков свободен. Это всего лишь дополнительное препятствие, не более.

Лидка просто ноет, не борется, а Мирра сформулировала проблему и будет ее решать. Это дух времени. Нельзя киснуть, надо верить в себя. И вперед с шашкой наголо, даешь! Нам ли растекаться слезной лужею.

Проторчала в рентгенкабинете до ночи. Интенсивный курс повышения женквалификации растянулся на несколько сеансов: сначала красоту навела Лидка, потом Мирра всё смыла и попробовала сама – с первого раза получилось не очень, со второго средненько, с третьего уже вполне прилично. Между занятиями приходилось делать сорокаминутные перерывы, когда Эйзен работала. Лидка еще и потом осталась, до самого утра, полоумная. Из-за тряпок этих, из-за духов-кремиков надорвется, в больницу ляжет.

По ночной слякотной улице Мирра топала от Садовой через темную Плющиху домой в общагу. Смотрела на кривые дома, на разбитые фонари, на бугристую, будто покрытую паршой булыжную мостовую, всю в выщербинах. Навстречу, покачиваясь, ковыляло четвероногое – парочка в обнимку, сильно пьяненькая. Мужчина громко рыгнул, женщина сипло расхохоталась. Тоже ведь и у этих любовь, размягченно подумала Мирра. Любят как умеют. Со стороны поглядеть – некрасиво, но им оно изнутри, может, совсем иначе видится.

Прыгая на выбоинах, мимо грохотал грузовик. Попал колесом в яму, окатил парочку грязной водой. Те на два голоса – хриплый и визгливый – матерно заорали вслед машине.

Да, наша жизнь ужасно некрасива, подумала Мирра, вспоминая утренний разговор. Но Клобуков совершенно прав. После долгой и студеной зимы всегда некрасиво. Весна вначале грязная. Из-под тающего снега вылезает всякая гадость, ноги чавкают в мутной жиже. Но это если смотреть вниз. А если вверх – там синее небо, пушистые ветки вербы, свежий воздух, и скоро полетят веселые птицы. А какой воздух! Голова кружится! Всё дело в том, куда смотришь – под ноги или ввысь.

Главное, о чем жалеть-то? О зиме, то есть о царе-батюшке? Про него и вспоминать скучно. Тоска и нафталин.

Господи, ведь никогда, ни-ко-гда в истории такого не было, чтобы народ сам стал властью. Чтоб наверху, в министерских дворцах

с колоннами сидели не чужие, враждебные, а свои. Такие же, из простого народа, но лучшие из лучших, прошедшие через огонь и воду, испытанные подпольем и каторгой, революцией и гражданской войной. Умеющие побеждать и знающие, как правильно устроить жизнь.

Со стороны Новодевичьего монастыря навстречу несло черное легковое авто. Не сбрасывая скорости, повернуло, обдав ветром и ледяными брызгами. Мирра вытерла мокрое лицо, рассмеялась.

Пускай, не жалко. Ведь ночь-полночь, а какой-то ответственный работник, свой товарищ, не спит, торопится по важному делу. И сделает дело как надо, будьте уверены.

Как у Николая Тихонова:

И Кремль еще спит, как старший брат,
Но люди в Кремле никогда не спят.

И всё у нас будет хорошо.

* * *

Гостевали за городом, в Кунцеве, на даче у товарища Мягкова. Не чай с вареньем гоняли – большущие дела затевали. Можно сказать, колоссальные дела.

Поэтому, исполненный значительности момента, Филипп поглядывал на редких ночных прохожих будто с высоченной горы. Иной раз нарочно через лужу, у самой бровки гнал – брысь, таракашки, Бляхин едет. Рассказать бы вам, где был, кого видел, что слышал – то-то рты бы раззявили.

Товарищ Мягков – это огого какая величина. Он, правда, не из тех, чьи портреты на стену вешают, а из тех, кто у портретных за спиной стоит, в затылок дышит. Однако поважнее многих всенародно известных вождей будет. Да и не ради товарища Мягкова они с Панкрат Евтихьичем ездили, киселя хлебали. Подымай выше.

Было секретное совещание для своих. У Самого.

Там, в Кунцеве, у всех главных людей дачи, только у товарища Рогачова нет, потому что отказался, когда в кремлевском хозупре предлагали (такой уж человек, что с ним поделаешь). Поэтому он вроде

как гостевал у товарища Мягкова, старого боевого друга еще по подпольной работе. После обеда пошли они вдвоем как бы погулять, ну и завернули на дачу к Самому, по-соседски, чайку попить. А там другие такие же собрались. Соседи. Не абы кто – только те, кому особое доверие. Другие же, тоже соседи, но кому знать незачем, так и остались в неведении. Как вдумаешься, кто среди них, в ближний круг не позванных, сердце замирает. Ни товарища Каменева там не было, ни товарища Зиновьева, ни товарищей Рыкова с Шляпниковым, ни даже – страшно сказать – архитектора исторических побед товарища Троцкого. Никто из этих великанов про чаепитие ведать не ведает, а Филя Бляхин, маленький человек, в курсе. Потому что он при товарище Рогачове, а товарищу Рогачову от Самого больше доверие.

Правда, все оппозиционные, против кого собирались чай пить, уже не такие великие, как раньше. Троцкий больше не председатель Реввоенсовета, Зиновьев не председатель Коминтерна и Ленсовета, Каменев не руководитель пролетарской столицы, не начальник в Совете Труда и Оборона. Они по-прежнему вожди и титаны, чьими именами названы улицы и даже города, но улицы с городами и переименовать можно. Потому что нечего против *настоящей* власти переть. Для того и было секретное дачное совещание, чтобы объединенную оппозицию уже вконец сковырнуть, под плитус загнать.

Пока Панкрат Евтихьевич с товарищем Мягковым у Самого решали тайные государственные вопросы, Филипп тоже сидел, чай пил – с ближними товарища Мягкова сотрудниками. Ни о чем лишнем не говорили – только о международном положении и новостях пролетарской культуры: о победе Чжан Цзолина над Го-Сунлином, о новом кинофильме «Броненосец Потемкин» и прочем подобном. О партийных делах или, упаси Христос, о своих начальниках – ни полслова. Филипп-то вообще больше слушал, головой кивал. Солидно себя держал.

По нынешнему положению дел товарищ Мягков к *настоящей* власти был ближе, чем товарищ Рогачов, потому что работал в самом ключевом отделе ЦК, организационном, а Панкрат Евтихьевич всего лишь поднимал социндустирию. Но это могло и перемениться, потому что Рогачов – фигура покрупнее Мягкова. Филипп давно уже потихоньку гнул свою линию: рано-де вам, Панкрат Евтихьич, себя строительством заводов и электростанций баловать. Фундамент рабоче-крестьянского государства толком еще не достроен. Товарищ Рогачов отмахивался, иногда и посылал к такой-сякой матери, но вода камень точит. А стаж партийный у нас побольше,

чем у Мягкова, и заслуги перед партией поувесистей. Ничего, дайте срок. Будет и у нас кабинет в Кремле, не считая прочей чепухи вроде дачи с гаражом и личной охраны.

Когда товарищи Рогачов и Мягков вернулись, в одиннадцатом часу вечера, наглядно обозначилось, у кого из персонала какое положение. Начальник охраны и секретарша молча встали и вышли, остался только порученец Унтеров – пересел к стеночке, достал блокнот. И то сначала глазами спросил у хозяина, можно ли. А Филипп и усом не повел. Знал, что он Панкрат Евтихьевичу ни в каком разговоре не помеха. Остался где был, за столом. Тем более что большие люди сели поодаль, у натопленного камина, в креслах.

Тут-то самое главное и началось. Продолжился разговор, который шел у Самого. Очень скоро Бляхин ухватил смысл, разобрался – тем более, про это с товарищем Рогачовым было говорено не раз и не два.

Совещание, оказывается, было про то, как выбить из-под троцкистско-зиновьевско-каменевской оппозиции почву на местах. В центре-то, на недавнем партийном съезде им вломили по первое число, но во многих ячейках, особенно в армии, в профсоюзах, на производстве раскольники свои позиции сохранили. Рогачов с Мягковым перебирали разные города-губернии, поочередно. Несколько раз за время разговора посылали Унтерова то телеграмму отбить, то радиogramму послать (на даче был и телеграф свой, и даже радиостанция). Филипп же просто сидел, являл своим скромным присутствием, что он при товарищ Рогачове нужный человек, от которого секретов нет. И ждал, не подвернется ли случай пригодиться.

В конце концов дождался.

Товарищ Мягков говорит:

– Знаешь, Панкрат, что я тебе скажу. Оппозицию мы могли бы и проще придавить, безо всех этих дискуссий на местах, потому что от них разброд один и ругань. Но Он дальше глядит.

Филипп сразу наострил уши – понял, о ком это, потому что коротенькое слово «Он» было произнесено особенным образом, а товарищ Мягков еще и пальцем на потолок показал. Сказано было про генерального секретаря Всесоюзной коммунистической партии большевиков товарища Иосифа Виссарионовича Сталина, которого *свои* в последнее время стали называть «Сам». Этот титул стоил подороже, чем в старорежимные времена «императорское величество». А и человек, про которого так говорили, тоже был покапитальной царя Николашки. Тот что? Получил свое царство от папаши, на золотом блюдечке, безо всякой заслуги. Так вместе

с блюдцем потом и обронил, расколошматил, дурак несчастный. Иное дело товарищ Иосиф Виссарионович Сталин. Был никем, хуже Фильки Бляхина, потому что еще и нерусский, а стал всем. Своей головой, стальной волей, острым умом пробился. И, уж будьте уверены, ничего не уронит, не расколошматит и не отдаст. Один раз его увидишь – сразу это поймешь.

– У Самого голова– арифмометр, – продолжил про самое важное товарищ Мягков. В углу мясистого рта у него была незажженная трубка, он ее гонял справа налево и обратно. Недавно бросил курить, врачи запретили из-за грудной жабы, а привычка осталась. – Я думаю, Он хочет выявить на будущее, кому из товарищей можно доверять на все сто, кому на пятьдесят, а кому ни на сколько. Вот в чем главный смысл всей нынешней бучи.

Панкрат Евтихьевич ему, поморщившись:

– Коли так, Котофеич, противно. На провокаторство похоже.

Это у товарища Мягкова такая партийная кличка, с подпольных времен: Котофеич. Только старые соратники его теперь так называют, кто ему ровня. И правда, был он похож на кота, если б коты бывали не пушистые, а наголо бритые. Движения под стать фамилии – мягкие, улыбка ласковая, голос приятно негромкий, мурлычистый. Однако чувствуется, что в бесшумных лапах спрятаны острые когти. Цапнут – легко не будет. Бляхин опасных людей с кошачьей повадкой хорошо чувствовал. Встречались такие на его жизненном пути, не к ночи будь помянуты. Рогачов рассказывал, что в подпольные времена Котофеич за внутреннюю безопасность отвечал: конспирация, защита от шпиков и предателей. В Гражданскую он, как одно время Панкрат Евтихьевич, был членом коллегии ВЧК. Сейчас тоже оказался в ключевом месте – на партийно-организационной работе.

– Ты, Панкрат, губу не криви. В Охранке, сам знаешь, не дураки работали. Не грех у них кое-чему и поучиться. Они важность профилактики очень хорошо понимали. Умели ненадежный, проблемный элемент на корню выявлять, пресекать, изолировать. А у нас кроме того еще есть закон большевистской диалектики, который гласит: усложнение политического процесса требует усложнения методов. Пока мы воевали, все просто было: кто не против нас, тот с нами. Ломать – не строить. Навались дружно, пока не треснуло. Бей, круши, победа всё спишет. Но вот сокрушили старое, победили. Пора новое строить. И тут выясняется, что строить – не ломать. Сначала надо решить: что строим, да как, да в какие сроки. А еще прежде того – кто архитектор, кто начальник

строительства, а кто прорабы.

– Что ты мне, Котофеич, как юному пионеру, азбуку втолковываешь, – осерчал товарищ Рогачов. – У меня насчет архитектора и начальника строительства сомнений нет. Но тяжело. Сердце ноет. Ведь свои товарищи, мы вместе с ними через такое прошли!

– Конечно, тяжело. Кто говорит, что легко? Но если б мы с тобой, Панкратушка, в жизни легкость искали, ты бы не в революцию пошел, а управлял бы папашиним пароходством. И я, грешный, в девятьсот пятом году не в боевую дружину записался бы, а поступил бы в коммерческое училище и сейчас служил бы при твоём степенстве каким-нибудь счетоводом или приказчиком. – Товарищ Мягков посмеялся недолгое время, потом посерьезнел. – Но училища-университеты у нас с тобой были другие. Научили нас там только одной науке – как бороться, кряхтеть, потом-кровью обливаться, как гнуться да не ломаться и побеждать любой ценой. Любой ценой. В этом и есть самая главная ленинская диалектика.

– Любой ценой? – медленно повторил Рогачов. – Про нее-то я и думаю. Про цену.

Он был мрачней тучи.

– Знаю я, про что ты думаешь, отчего желваками ходишь, – совсем тихо сказал Мягков. И махнул рукой своему порученцу: – Ну-ка, Унтеров.

Тот молча встал, вышел. Товарищ Мягков и на Бляхина так же глянул, но Филипп не шелохнулся – смотрел только на своего начальника. Товарищ Рогачов сделал рукой движение: сиди. Тогда товарищ Мягков прищурился на Филю, будто лишь теперь счел его достойным внимания. И улыбнулся ему. Хорошо улыбнулся.

Филипп расправил плечи, сразу будто выше ростом стал. И то, что на него после этого обращать внимание перестали, счел за высшую себе награду.

– За свою Бармину ты переживаешь, вот что. Она в оппозиции по уши, одна из самых ярых.

Плечи у Бляхина сами собою обратно съежились, и перехватило дыхание. Ох, не надо бы такое Панкрату Евтихьевичу говорить. У того голос сделался опасно тихим, глаза грозно блеснули.

– Пальцем в небо попал, Котофеич. Порвал я с ней, еще во время съезда.

Сказал – будто дальний гром за тучами пророкотал. Предупреждая, что ударит молния.

А товарищ Мягков угрозы не расслышал. Или расслышал, но не испугался. Кивнул, спокойно так:

– Знаем. Оценили.

Тут грянула и молния.

– Я не для того, чтоб вы оценили! – рявкнул товарищ Рогачов, и кулаком по подлокотнику, до треска. – А потому что я большевик! У меня не бывает, чтобы любовь – отдельно, а идея – отдельно!

– И это про тебя тоже известно, – всё так же спокойно молвил товарищ Мягков. – Ты кресло-то не ломай, оно казенное. Кто надо, знает, что ты надвое не делишься. Панкрат за спиной гадить не будет – вот что про тебя Сам сказал. Только зря ты насчет своей бывшей переживаешь. Ничего с ней жуткого-ужасного не будет. И с остальными тоже. Прав ты. Все они – свои же товарищи. Просто надо нам по номерам рассчитаться: кто первый, кто второй, а кто пятьсот тридцать пятый. И тогда двинется наша колонна вперед, стройным маршем.

– А кто из них не захочет быть пятьсот тридцать пятым? С теми как? – мрачно спросил Панкрат Евтихьевич.

Филипп прямо застонал – внутри себя, конечно. Хватит уже, хватит! Ведь каждое слово кому надо пересказано будет! Не пустой это разговор, а по поручению, неужто не понятно? Твердо надо рубить, безо всякого колебания! Он и бровями знак сделал, да товарищ Рогачов на него не смотрел.

А хозяин, вместо того чтоб суровое ответить, вдруг мягко так, печально улыбнулся и тоже спросил, проникновенно, тихо – непонятное:

– Лютика часто вспоминаешь?

Панкрат Евтихьевич скривился, будто от боли.

– Стараюсь пореже. Снится иногда...

– А мне никогда не снится. Потому что я про него часто наяву думаю. Вот здесь он у меня. И здесь, – показал товарищ Мягков сначала на грудь, где у него жаба, потом на лоб.

И вдруг повернулся к Бляхину – помнил про тихого человека, оказывается.

– Тебе Панкрат не рассказывал, как мы в ноябре шестнадцатого из ссылки бежали? Про Лютика не рассказывал?

– Нет, – ответил Филипп, польщенный вниманием, но и немножко встревоженный.

– Трое нас было. Мы двое и Лютик, душа парень. Все наши его любили. Бежали мы не просто так, по собственному хотению, а с циркуляром от подпольного поселенческого комитета. Должны были в Центр доставить. Не повезло нам. Попали прямо на конный разъезд. Еле-еле оторвались. Лютика волоком тащим, у него пуля в лопатке. Река,

лед еще не встал, но уже перья белые плывут. Мы под мостками затаились, в воде по шею. Студено! Берег там голый, спрятаться негде. Думали, проедут казаки – вылезем. А они прямо над нами, на мостках этих чертовых, остановились. Курят, спорят, в какой стороне нас искать. Лютик сознание потерял. Мы его держим, чтобы не захлебнулся. А он стонет. Я ему рот зажал – все равно мычит, всё громче. Над рекой ветер, волны шелестят, казакам пока не слышно. Но у Лютика судороги, начал в беспомощности руками по воде шлепать. Вот-вот конец нам. Обнаружат – убьют на месте. Злые они на нас, что мы отстреливались, одного ихнего зацепили... Помереть не страшно. Страшно, что циркуляр до товарищей не дойдет. В общем, переглянулись мы с Панкратом, взяли Лютика покрепче – и с головой под воду. Так и держали, пока не перестал дергаться. У обоих слезы по мордам текут, а держим... Так-то вот. Но циркуляр куда надо доставили.

– Мать твою, Мягков, зачем ты про это? – взорвался товарищ Рогачов. – Самый поганый момент во всей моей жизни!

– А затем, – повернул к нему круглую голову хозяин, – что времена теперь другие. И мы другие. Не под мостками сидим, трясемся, а наша сила. И своих товарищей, кто сознание потерял и брыкается, нам нынче топить незачем.

Помолчали оба. Товарищ Мягков наклонился, хлопнул товарища Рогачова по колену.

– Хватит лирики, Панкрат. Скажи лучше, ты отчет, о котором говорено, приготовил?

– Готовим. Филипп дорабатывает.

– Хорошо бы его завтра Самому представить. Ты думаешь, он нас завтракать зачем позвал? Сырники со сметаной кушать? Обязательно про заводы разговор пойдет.

Панкрат Евтихьевич озабоченно сдвинул брови.

– Ты же говорил, к первому числу?

– Говорил. Но хорошо бы завтра.

Тут-то Филипп и пригодился. Кашлянул, чтоб на него посмотрели, и скромно так:

– Панкрат Евтихьевич, готово у меня всё. Посидел давеча ночь и закончил. Думал, как в Москву вернемся, вам показать.

Отчет был по директорам и партийным секретарям всех заводов: кто чем дышит, крепко ли генеральной линии держится.

– Готов? – просветлел лицом товарищ Рогачов. – Тогда давай, вези: одна нога здесь, другая там.

И пришла тут Филиппу в голову мысль, от которой потеплело на сердце.

– Я слетаю, привезу, какой вопрос. Час туда, час обратно. А только поспали бы вы лучше, Панкрат Евтихьевич. Я вам папочку тихо под дверь просуну. Утром проснетесь – прочитаете. Две ночи ведь не спамши.

– Ты няньку из себя не корчи! Много воли взял! – окрысился начальник.

Но товарищ Мягков бляхинское предложение поддержал:

– Парень у тебя – золото. Дело говорит. Ложись, Панкрат, выспись перед завтрашним разговором. Утром встанем пораньше, посмотрим отчет вместе. Завтрак-то только в десять. Успеем.

И Филиппу, отечески подмигнув:

– Езжай без спешки, не гони. Можешь и сам часок-другой соснуть. Не проспи только, к рассвету доставь.

В общем, сложилось всё в самом наилучшем виде: и себя перед руководством как надо показал, и сердце потешил.

Но гнал, вопреки товарища Мягкова указанию, на максимальной скорости. По шоссе дал все восемьдесят, и в городе почти не сбавил. Водил машину он ловко, не хуже любого шофера. Специально обучился. Потому что у такого человека, как Рогачов, который на месте долго не сидит, все самые важные мысли в пути рождаются, и он их вслух проговаривает. Привычка такая. Чужому человеку слушать это незачем, а у Филиппа память, как клей канцелярский: ни одно словечко не пропадет. Потом всё, что надо, будет записано и Панкрату Евтихьевичу представлено, чтоб не забыл.

На большой скорости Бляхин мчался не из-за папки с отчетом. Куда она денется?

Драгоценный, неожиданный подарок он себе сделал. Нечастый. Ночь, сколько ее осталось, дома провести. С Софочкой.

Ах, Софа, Софочка...

Прошептал родное имя, и в груди сделалось тепло.

Как раньше без нее жил? Не жизнь была, а одно существование. Без радости, без света, без тепла.

Это Бог наградил Филиппа отрадой за все труды и страдания.

Если смотреть по-государственному, по-партийному, никакого Бога не существует, потому что идея эта для большевиков вредная, попами для своей корысти придуманная. Исповеди, проповеди, посты, десять заповедей и прочее – конечно, чепуха собачья, хомут для дураков.

Но в сугубо личном смысле, про который посторонним знать незачем, Бляхин с Богом окончательно контактов не обрывал. Просто перевел их, так сказать, на нелегальное положение. Потому что если совсем с Богом расплеваться, как бы беду не накликать. А коли у Бога лишний раз попросить о чем-то, от души, с верой, хуже не будет. Вдруг он, то есть Он, все-таки есть и услышит?

Чудеса-то божьи точно случаются. Ничем другим кроме чуда не объяснить, как это Филипп при его жизни и положении мог с Софочкой сойтись. Им, в разных мирах проживающим, и встретиться было негде.

Получилось же оно вот как.

Перед всяким важным событием, которое могло произойти, а могло и не произойти, Бляхин ездил поставить свечку перед иконой своего небесного покровителя святителя Филиппа в Мещанах. Машину оставлял далеко от церкви, картуз надвигал на глаза, воротник поднимал повыше. В сам храм не заходил, ни-ни, а поставит с собою принесенную свечу перед висящим снаружи образом, молитовку пробормочет – и назад. Если бы ему Софа около церкви попала, он ее и не увидел бы, потому что по сторонам не глядел, опасался.

Но встретил он ее поодаль, когда выбирал местечко, где бы авто поставить.

Смотрит – идет какая-то гражданка со стороны храма. (Это – после узналось – она от папаши своего шла.) И как раз фонарь сверху, так что видно было отчетливо, как бы с волшебным сиянием.

Сначала он на осанку и походку внимание обратил. Как утица по воде! Или, лучше сказать, как птица-лебедь. Потом глянул на лицо – обмер. Личность у Софочки удивительная: кожа белая, чистая, глаза матовые, но ясные, и кружевные завитки из-под платка.

Филипп и про икону, и про свечку позабыл.

Дело было перед октябрьскими праздниками, когда раздают награждения. И хотел Филипп у Господа попросить, чтобы ему почетный знак «Отличник социндустррии» дали, на груди носить. (Не дали, потому что товарищ Рогачов скуп на поощрения и потому что свечка осталась непоставленной, однако Бляхин даже не расстроился – к 7 ноября у него голова уже была занята совсем другим: любовью. По небу, можно сказать, летал.)

А надо сказать, что об эту пору Филипп крепко задумывался о женитьбе. Хватит уже бобыльствовать, тридцатый год человеку. Но жениться он собирался не для семейных утех, а для создания новой

ячейки общества. Если правильно подобрать супругу, оно для служебного продвижения и пользы дела очень может пригодиться. Думал он взять в подруги жизни какого-нибудь ответственного товарища, партийку, с головой на плечах, с положением. И, главное, были такие на примете, целых две.

Одна – товарищ Баренбойм, член партии с четырнадцатого года, политкаторжанка, личный секретарь товарища Мехлиса, который был личным секретарем у Самого. Блестящая партия, как сказали бы в прежние времена. Правда, товарищ Баренбойм была собою не так чтобы и возрастом сильно постарше.

Другая – товарищ Волосенко из Партконтроля, тоже на перспективной должности, хоть, конечно, и менее видной. Зато молодая и на внешность ничего, только зубы гниловатые. Но по зубам лошадей выбирают, а тут – супруга, надежный спутник, соратник по жизни и борьбе.

Обе возможные невесты благоволили Бляхину, который на своей при товарище Рогачове службе, слава богу, тоже не на помойке валялся. Обе подавали знаки, что шлагбаум открыт – подъезжай. Филипп колебался, сравнивал.

И тут встречается ему на темной, мокрой от дождя улице, под единственным фонарем, сказочная особа. Как сполох в ночи. Или, лучше сказать, как многоцветная радуга.

Тогда же, прямо от фонаря, бросив авто, он проследил, куда пава идет, где проживает. После, само собой, и личность установил, справки навел. Очень расстроился, потому что девушка оказалась совсем неподходящая, дочка служителя культа – попа той самой Филипповской церкви, где Бляхин тайком свечки ставил. С другой стороны, можно было в этом факте и некий от Бога знак усмотреть: гляди, Филя, покровитель твой небесный дар тебе шлет. Поэтому шарахаться от соблазнительной, но опасной Софьи Серафимовны Гиацинтовой (какая фамилия-то, а?) сразу не стал, а копнул глубже, у старого знакомого, служившего в Мосгубупре ГПУ. Якобы для работы понадобилось. Известно, что на каждую духовную особу в компетентных органах непременно свое досье имеется. Заглянул в папку священнослужителя С. И. Гиацинтова, почитал. Немного полегче стало.

До революции Софочкин родитель жил на своем приходе богато, ныне же еле перебивался с хлеба на квас. У смежников, то есть чекистов, проходил по категории «обработанных», на подписке о сотрудничестве. Это значило: дает сведения о подозрительных прихожанах либо если на исповеди услышит что контрреволюционное. Иначе не позволили бы

ему в столице на приходе состоять. В беседах с куратором из органов гражданин Гиацинтов неоднократно заявлял, что рад бы вовсе расстричься, но боится остаться без пропитания. Не на завод же ему рабочим на старости лет идти.

То есть ничего очень уж ужасного про попа этого Филипп не выяснил – не враг, а скорее попутчик. И все равно долго сомневался, связываться с чудесной девицей или нет.

Когда она была далеко, ум говорил: ну ее к черту, не рискуй. Но стоило Бляхину на Софочку взглянуть (он теперь часто на Мещанах ошивался – выдастся свободный часок, и сразу туда), как ум затыкался и начинало говорить горячее сердце. Потому что оно – не камень. А если и камень – то пылающий уголь.

Уж больно хороша была поповна. По виду – цыганочка: волос чернявый, косы пушистые, на лбу кренделечки. А по нраву – голубица. Или, вернее сказать, кошечка. Однажды выдался не по-осеннему теплый, солнечный денек, и Филипп подсмотрел, как Софочка у окошка сидит, книжку читает, из синей с золотом кружки чай пьет, и кошку серую поглаживает, а у кошки на шее малиновый бант, а перед кошкой блюдечко с молоком... И так от этой прекрасной картины сладостно сделалось, так захотелось, чтобы и для него, одинокого, неприкаянного, в уютном Софином мире место нашлось, что дрогнул Бляхин, сказал себе: хрен с тобой, товарищ Баренбойм, и ты, дорогой товарищ Волосенко, тоже извиняй. Кроме пользы дела на свете есть еще и счастье, которое, может быть, самая главная человеческая польза и есть.

Не устоял, в общем. Решился.

В тот же вечер подкатился как следовало, по всей форме. На товарищрогачовском «паккарде», в новом френче под хромовой кожей, расстегнутой, чтоб поблескивали эмалью грудные знаки. Софа всегда об это время ходила к папаше в церковь, сбереженные просвиры забирать.

Загляделась, конечно, на Филиппа, когда он явился пред ней из своей кареты сказочным принцем – собою нарядный и торжественный. Распахнул перед своей избранницей дверцу, сказал строго: «Садитесь, Софья Серафимовна. За вами я».

Села, не запротивилась. Женщина она была, если судить по виду или разговору, не шибко умная. Может, даже и вовсе глупая. Но это как посмотреть. Про политическое или международное положение, про науки разные – ее не спрашивай, не ответит, однако главное женское знание было у Софы в крови: чтоб прильнуть к солидному человеку

и крепко его держаться. Филю она полюбила сразу и беззаветно, потому что в своей поповнинской жизни солиднее мужчин не встречала.

Бывать у папаши с мамашей он ей, ясно, воспретил, и она перечить не стала. Только сходила попрощаться, вернулась на извозчике с сундуком, в котором приданое (чепуха всякая – подушки, скатерки и разное женское), а также привезла кошку Муню, такую же ласковую, деликатную, как она сама. Филипп к Муне быстро привык, ее тоже полюбил.

Бывало, выдастся редкий домашний вечер, сядут втроем, всяк при своем занятии – Бляхин газету читает или пуговицы с пряжкой до золотого блеска надраивает (хорошее дело, приятное); Софочка вышивает; кошка знай себе дрыхнет – ничего лучше таких минут на свете нету и быть не может. Это вот и есть счастье.

Сердце у Фили теперь всегда домой рвалось. Хотя понимал: польза дела и счастье вместе уживаются плохо, одно другому мешает.

Вот сегодня, например. Для пользы дела было бы правильнее слетать за отчетом, поскорей вернуться и посидеть с Унтеровым, наладить рабочий контакт на будущее. Нужный человек, пригодится.

Однако нельзя, как Рогачов, только работой жить. Что за радость от такой жизни? Будешь, как Панкрат Евтихьевич, словно репей в кобыльем хвосте. Зачем тогда оно всё?

Рай не на небе. Рай – дома. Это великое открытие Филипп сделал, когда его квартирка в Безбожном, бывшем Протопоповском переулке (маленькая, но отдельная, пробитая по наркоматовскому лимиту) после Софочкиного вселения преобразилась. Под потолком воссиял шелковый оранжевый абажур, на окнах объявились цветастые занавески при тюлевой паутинке. Завелся и резной буфет, и новая кровать, услада любви, и царь дома – обеденный стол, на котором Соня раскидывала свои скатерти-самобранки. Ох, как она готовила! Всякий день разное, одно вкусней другого, и бывало, что на выбор, как в ресторане. За два с половиной месяца такой жизни Филипп размордел, порозовел – приятно на себя в зеркало посмотреть.

Не женщина – ангел.

Вот и сейчас – говорил, чтоб ночевать не ждала, и нагрязнул без предупреждения, в первом часу, а на столе закуска стоит, салфеточки, графинчик. И Софочка уже тащит обмотанный чугунок, и пахнет из него чем-то волшебным. Села, щеку румяную подперла. Смотрит, как любимый человек наворачивает, и напевает: «К вам одному неслись мечты мои». Сама – как царевна, в дареном Филей платье, поверху цветной заграничный платок, тоже от него.

И всегда так, когда ни приди: ждет.

Он дотянулся, погладил по гладкой ручке. Подошла Муня, потерлась о сапог – тоже поприветствовала кормильца. Филя и ее погладил.

Иногда мечталось: как хорошо бы жилось, если б не при товарище Рогачове служить, а в каком-нибудь тихом, размеренном месте, чтобы оттрубил – и каждый вечер дома. Но кто бы был Филипп Бляхин без товарища Рогачова и без новой социалистической жизни? Нипочем бы ему такую кралю не заполучить. Досталась бы какому-нибудь купцу-толстосуму или поднимай выше.

На столе, сбоку, лежала книжка – та самая, с которой Филипп некогда Софу у окна наблюдал. Других книг у нее не было, одной этой хватало. Называется: «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве». По ней, согласно кулинарной науке, все яства и готовились.

Покушав щей, а потом биточков с масленой гречей, Филипп спросил со значением, косясь на постель:

– Дитё-то сегодня ничего? Не потравливает?

Поняла. Потупилась, зарделась. Погладила живот, пока не видный.

– Тихое... Ничего...

Она такая. Даже если бы и поташнивало – нипочем не признается. Не захочет отказать в удовольствии. Так и должно быть между любящими: он проявил деликатность – спросил, она ответила как надо.

В постели Софочка была послушная, приятно-податливая. Сама ничего не требовала, но и ни в чем не отказывала.

Второе он доел быстро, от чая с вареньем отказался. Невтерпеж: было обнять ее, помять, прильнуть.

– Я часа на три, на четыре. Потом взад ехать, пока Рогачов не проснулся. Он, черт беспокойный, позднее шести не встает.

– Ох, бедный ты мой, – пожалела его Софа. – Ездют на тебе, как на лошади ломовой. Тебе бы в санаторию, отдохнуть.

А сама уже поднялась, платок на стул повесила и пуговики на платье расстегивает.

– Ага, дождешься у него санатория, – сказал Бляхин, но без горечи.

Мало спать, затемно вставать – это ничего, мы привычные. Помилуешься с царевной сказочной, подремлешь у ней на плечике – потом весь день тепло и радостно.

Хорошая штука жизнь.

События Шопенгауэра

Лет пятьдесят назад, когда я еще не начал интересоваться философией, мне в руки попал диоптрафия Шопенгауэра. Это было время, очень трудное для многих, в том числе и для меня. Книга произвела сильное впечатление. Читая ее, я испытывал ощущение, что я думаю: вот как хотел бы я жить, если бы это только было возможно. Быть свободным от материальных забот от обязанности. Существовать вне жизни со своими мыслями. Не беспокоиться о том, как меня воспринимают окружающие. Главнее же — не иметь привязанностей, которые делают человека таким слабым и таким беззащитным. Плечом селам Волж к жизни заставляя других шарить руками во тьме, угадывая друг о друга, набивая штыки на дне обрета временное счастье. Я же в том заблуждении не утробовал бы. Никто и никто не могло бы испугать, потому что на свете не существовало бы ничего ужаснее смерти, а если живешь в одиночестве, то смерть не есть бунт и страдания. Я занимаюсь бы, любил бы делом с той же самоотдачей, с тем же бесстрашием, как и Шопенгауэр карабкался на вершины философии: "Философия подобна гору, на которую трудно взбираться по крутой каменной тропе, а не упрямому трутовому. Чем выше

(Из клетчатой тетради)

Соблазн Шопенгауэра

Лет пятнадцать назад, когда я еще не начал интересоваться философией, мне в руки попала биография Артура Шопенгауэра. Это было время, очень трудное для многих, в том числе и для меня. Книга произвела сильное впечатление. Читая ее, я испытывал острую зависть. Я думал: вот как хотел бы я жить, если б это только было возможно. Быть свободным от материальных забот, от обязательств. Существовать наедине со своими мыслями. Не беспокоиться о том, как меня воспринимают окружающие. Главное же – не иметь привязанностей, которые делают человека таким слабым и таким боязливым. Пускай слепая Воля к Жизни заставляет других шарить руками во тьме, ударяться друг о друга, набивая шишки или даже обретая временное счастье. Я в этом заговоре Природы не участвовал бы. Никто и ничто не могло бы меня испугать, потому что на свете не существовало бы ничего ужаснее смерти, а если живешь в одиночестве, то смерть не столь уж и страшна. Я занимался бы любимым делом с той же самоотдачей и тем же бесстрашием, с какими Шопенгауэр карабкался на вершины философии: «Философия подобна горе, на которую нужно взбираться по крутой каменистой тропе, через царапающий терновник. Чем выше поднимаешься, тем суровой и бесприютней делается пейзаж. Но идущий по тропе не ведает страха; он должен был отказаться от всего остального; он знает, что на самом вершине ему придется прорубаться через сплошной лед. Путь то и дело выводит тебя к самой кромке пропасти, и ты смотришь сверху на зеленую долину. Кружится голова, тянет сорваться с обрыва, но нужно преодолеть себя и удержаться на краю – и тогда мир останется далеко-далеко внизу; его пустыни и болота скроются из вида; его несуразности станут неразличимы; его раздоры уже не будут достигать твоей высоты. Зато станет видно, что Земля круглая. Стоишь, вдыхаешь свежий, чистый воздух и смотришь на солнце, а внизу всё окутано черной мглой».

Мне в моем тогдашнем состоянии эти строки звучали волшебной музыкой. Вот она – настоящая, полноценная жизнь, думал я, и теория об иллюзорности человеческой любви представлялась мне откровением. Ах, как заблуждаются люди, говорящие, что Любовь – великое благо, ибо она согревает холод мира, что семья обеспечивает надежный тыл, а душевная близость спасает от одиночества, говорил себя я. От одиночества не надо спасаться. Лишь оно дает настоящую защиту,

а человека умного делает практически неуязвимым.

«Подобно тому, как счастливейшей является страна, вовсе не нуждающаяся во ввозе товаров либо могущая довольствоваться минимальным импортом, счастлив человек, которому хватает его внутренних богатств и кто способен сам находить себе развлечения, ни у кого не одалживаясь. Импорт дорого обходится, разрушает независимость, чреват опасностями и разочарованиями, а главное – всегда будет скверной заменой отечественному производству. Не надо ничего ждать от внешнего мира и от людей. Один человек очень мало в чем может пригодиться другому; в конечном итоге все равно остаешься в одиночестве. Так что всё зависит от твоего собственного качества».

Помню, что эта идея показалась мне вершиной человеческой мысли.

Нельзя сказать, чтобы Артур Шопенгауэр был вовсе не знаком с искушениями Любви. В молодости ему доводилось заглядывать в эту зеленую долину, испытывать головокружение и искушение сорваться. В тридцатилетнем возрасте он стал отцом незаконнорожденного ребенка, но девочка вскоре умерла. В тридцать три года он всерьез влюбился в оперную певицу Каролину Рихтер. Подумывал о браке – и навсегда отказался от этой затеи. «Жениться – все равно что засовывать руку в мешок с рептилиями и надеяться, что вытянешь не змею, а угря», – напишет он впоследствии, присовокупив, что в браке человек обретает вдвое больше обязанностей и лишается половины прав.

В последующей жизни философ обходился без Любви. Со временем он стал относиться к женщинам со всё более возрастающей неприязнью. Очевидно, они продолжали тревожить его покой и мешать восхождению к горным высям. Один раз Шопенгауэр дал волю своему раздражению и дорого за это заплатил.

К этому времени он уже совершенно не мог выносить женского общества. Особенно его бесило, когда он видел, как дамы увлеченно болтают о каких-нибудь пустяках – хотя, на мой взгляд, это одна из самых приятных картин, какие есть на свете. Однажды квартирная хозяйка устроила кофепитие с подругами в комнате по соседству с кабинетом философа. Женское щебетание, доносившееся из-за двери, привело Шопенгауэра в бешенство. Он ворвался в гостиную, устроил скандал, а одну из нарушительниц покоя так сильно толкнул, что она упала и повредила себе руку. Произошло судебное разбирательство, и затем, в течение двадцати лет, Шопенгауэр должен был выплачивать жертве своего женоненавистничества ежемесячную компенсацию. (По-моему,

поделом.)

Не в оправдание, а в объяснение этого дикого поступка следует сказать, что Артур Шопенгауэр по характеру вообще был невротиком. Наделенный живым воображением, он всю жизнь сражался с самыми разнообразными страхами, подчас эксцентричным образом. Вне всякого сомнения, именно в этой гипертрофированной впечатлительности причина принципиального отказа от «импорта» любых внешних влияний. Апофеозом вредоносного воздействия окружающей среды является зараза, поэтому Шопенгауэр был очень озабочен проблемой инфекции. Он всегда имел при себе собственный кожаный стаканчик, никогда не брился у цирюльников, запирали на ключ курительные трубки, чтобы прислуга тайком ими не воспользовалась. Несколько раз, при одном только слухе об эпидемии, он срывался с места и уезжал в другие края.

Особую чувствительность он проявлял к звукам, приходя от малейшего шума в нервическое возбуждение. В пожилом возрасте, правда, сделался тугоух, и это сильно облегчило ему существование.

Не доверяя внешнему миру и постоянно ожидая от него агрессии, Шопенгауэр клал на ночной столик заряженные пистолеты. Ценные вещи прятал в тайники. Все денежные записи делал на греческом или латыни, в крайнем случае на английском, но никогда на немецком.

Одним словом, это был изрядный чудака, как многие абсолютно одинокие люди, к тому же всецело сосредоточенные на умственной деятельности. Но это вовсе не означает, что он был несчастлив – совсем напротив.

Жизнь, которую тщательно и вдумчиво создал себе Шопенгауэр после того, как сорокапятилетним поселился во Франкфурте, представляла собой земное воплощение рая – выкроенного точно по мерке этого нервного, погруженного в себя человека.

Философу досталось небольшое, но достаточное для удобного существования наследство, так что можно было не заботиться о хлебе насущном. Шопенгауэр очень осмотрительно распорядился деньгами, так что в конце концов удвоил свой капитал. При этом он не был скрягой, а просто умел правильно рассчитывать свои потребности.

Превосходное здоровье, редкий спутник философа, позволяло ему не тратиться на врачей и лекарства. Одевался он аккуратно и даже не без щегольства, но не обращал внимания на моду и год за годом заказывал платье одного и того же привычного покроя.

Жилище было простым, без каких бы то ни было излишеств, поскольку к роскоши и красоте интерьера Шопенгауэр был равнодушен.

При этом повсюду были расставлены и развешаны изображения тех, кого он считал своими учителями или ориентирами. На письменном столе – позолоченный Будда и бюст Канта; на стенах – портреты Гёте, Шекспира, Декарта и почему-то Клавдия (кажется, из-за того, что этот император первым ввел в письменном тексте пробелы между словами). И еще гравюры собак, которых Шопенгауэр обожал – не подозревал в намерении посягнуть на его любовь и свободу. Философ предпочитал пуделей.

Так этот человек и жил: гулял с псами, играл сам себе на флейте и писал трактаты о смысле бытия. Поначалу над ним потешались, называли «франкфуртским шутом» или «франкфуртским мизантропом», но слава Шопенгауэра росла, чудачество обрело статус оригинальности, и отношение изменилось. Мыслителя произвели в Мудрецы, горожане стали умиляться на его подпрыгивающую походку. Когда владельца отеля «Англетерр» спросили, случалось ли ему накрывать стол для августейших особ, тот ответил: «Да. Для доктора Шопенгауэра».

Мне почему-то хочется описать обычный день франкфуртской жизни Артура Шопенгауэра, хотя этому совсем не место в трактате. А впрочем, может быть, и место. Назначение философии в том, чтобы научить человека быть счастливым, а для этого неплохо бы иметь точное представление о том, что такое счастье.

Жизнь Шопенгауэра долго представлялась мне недостижимым раем, а сегодня кажется раем утраченным. Еще недавно мое существование, хоть и не достигшее таких высот безмятежности, всё же, ценой долголетних усилий, было устроено на шопенгауэровский манер – насколько это вообще возможно в условиях современного отечества. Но вот всё переменялось, и я, прервав изучение теории и практики аристонического Пути, вынужден писать незапланированную вводную главу о Другом Пути, на котором чувствую себя бездарным и беззащитным...

Философ любил поспать, отводил на сон девять часов, чтобы мозг хорошенько отдохнул, и вставал не с первыми лучами солнца, как предписывает немецкое Fleiß^[7], а часов в восемь. Принимал холодную ванну и обтирался губкой, что в те негигиенические времена тоже казалось чудачеством. Сам себе варил кофе.

Весь этот ритуал, видимо, был родом медитации, приготовлением к священнодействию умственной работы. Прислуге запрещалось нарушать утреннее уединение хозяина.

Три часа Шопенгауэр писал. Утомившись, принимал гостей, с которыми любил поболтать обо всем на свете – но недолго. Ровно

в полдень экономка была обязана войти и показать на часы – иначе доктор мог увлечься беседой и нарушить режим. Гости немедленно прощались и уходили.

Полчаса после этого Шопенгауэр играл на флейте. Потом тщательно одевался: фрак, белый галстук. Отправлялся в «Англетерр» к табльдоту, обедать. Аппетит у философа был отменный. Во время трапезы он любил разговаривать со случайными соседями, причем в основном вещал сам – считал, что эксплуатация диафрагмы способствует хорошему пищеварению. Впрочем, другие обедающие – коммерсанты или военные – вряд ли могли сообщить мыслителю что-нибудь достойное внимания. Перед началом трапезы он клал на скатерть золотую монету, объявляя, что пожертвует ее бедным, если кто-то из столующихся офицеров сможет завести беседу о чем-нибудь кроме женщин, лошадей или собак. Покушав, прятал золотой обратно в кармашек. С годами табльдотные разглагольствования доктора Шопенгауэра стали чем-то вроде местной достопримечательности, люди специально приходили поглазеть и послушать.

Вернувшись домой, философ пил кофе и ложился часок соснуть. Мозг «второй свежести» уже не годился для того, чтоб писать, – разве что для чтения. Им-то Шопенгауэр и развлекал себя после сиесты, не пренебрегая и беллетристикой.

Ближе к вечеру шел гулять – по полям, где нет людей. Шаггал быстро, не глядя по сторонам, бормоча под нос и колотя по земле тростью. Рядом семенил пудель, а то и не один. Знакомых Шопенгауэр не узнавал. Все уступали доктору дорогу, и он раздражался, если встречный подавался влево, а не вправо. Это каким-то образом нарушало гармонию. Моцион длился не меньше двух часов, в любую погоду.

Затем – опять домой, почитать газеты на трех языках. Вечером – на концерт или в оперу. Ужинал на обратном пути, тоже в отеле, и опять с удовольствием болтал со случайными собеседниками. Любил вино, потому что оно убыстряет мысль, и ненавидел пиво, потому что оно отупляет.

На ночь выкуривал любимую трубку длиной в полтора метра, укладывался в постель и немедленно засыпал сладким детским сном. На полу сопели пудели. Шопенгауэр предпочитал иметь двух, чтобы псы были поглощены собственными взаимоотношениями и не требовали от хозяина много внимания. Имена собакам доктор давал всегда одни и те же: Бутц (Карапуз) и Атман (в индуизме и буддизме так называется Душа). В старости завел еще и кошку.

Франкфуртский период шопенгауэровского блаженства вместил двадцать семь лет и двадцать четыре пуделя.

В самый последний день жизни, 21 сентября 1860 года, Шопенгауэр, как обычно, принял ванну, позавтракал. Сел на диван, поглаживая кошку. Откинулся на спинку, умер – легко, быстро и, если так можно выразиться, как-то очень ловко. Он однажды сказал про свою будущую смерть: «У человека, который всю жизнь был один, это одинокое дело должно получаться лучше, чем у других».

А вот теперь я внезапно понял, зачем мне понадобилось смаковать эту безмятежную, стерильно одинокую – без Любви и Веры – жизнь во всех ее малозначительных подробностях.

Это никакое не счастье. Это жизнь труса, который решил, что не станет жить вовсе, а ограничится тем, что будет о жизни размышлять. О каком бесстрашии на крутой горной тропе говорил Шопенгауэр? Дорого ли стоит мужество человека, который ничего ценного не имеет, а стало быть, ничем не рискует? Что вообще может знать о жизни и как смеет учительствовать о Любви тот, кто двадцать семь лет гулял с пуделями и играл сам себе на флейте в пустом доме?

Мне непонятно, как я мог всерьез завидовать Артуру Шопенгауэру. Как я мог забыть о том, что однажды уже пережил настоящее счастье, которого не принесут человеку никакие озарения ума?



(Фотоальбом)

* * *

Иногда бывает, что наяву мучаешься, не можешь решить какую-то заваыку, все мозги себе иссушишь, а наутро проснешься – и вот он, ответ. Простой и очевидный.

Сегодня так и вышло. Мирра открыла глаза, посмотрела на потолок, и там черным по белому, большими буквами, будто проявился негатив, проступили два безжалостных слова ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА.

Ну конечно! Как можно быть такой душой? Чтоб молодой мужик сидел на диване с девушкой, чувствовал (не мог не почувствовать), что он ей нравится, и даже не попытался? Тут только одно объяснение: любит другую. Конечно, на свете полно кобелей, кто при удобном случае все равно попользовался бы, но Антон не из кобелей, а из настоящих мужчин, это ясно.

У него кто-то есть. Железно! В квартире никаких признаков женского присутствия – Мирра бы заметила. Значит, они в разлуке. Или же Антон сохнет по кому-то безответно.

Обтираясь холодной водой, яростно расчесывая короткие волосы, надраивая порошком зубы, Мирра пообещала себе: выясним, установим. Он в университете давно, уже аспирантуру заканчивает, а у людей есть глаза и уши. Кто-нибудь наверняка что-то видел или слышал.

Надо применить тактику Лидки Эйзен, которая умеет приручать полезных старух.

С мырмой из секретариата надо задружиться. Эта наверняка всё знает.

Решено – сделано.

В месткоме Мирра выяснила, что секретаршу звать Алиной Аполлоновной, возраст пятьдесят лет, незамужняя, детей нет. Оно, впрочем, и без анкеты, по поджато-му, как куриная гузка, ротику было видно, что одинокая.

Теперь нужно было прикинуть, как прикармливают зверя биологического вида *virgo anus aser* («дева старая, злобная»).

Никогда, ни к какому экзамену, Мирра так вдумчиво не готовилась.

Очевидно, следует учесть два фактора: психологический и физиологический.

Во-первых, они не выносят молодых, привлекательных женщин. У старых мыр должно быть ощущение, что юные красотки выпихивают их из жизни своими твердыми бюстами и крутыми бедрами. Одеться похуже, утянуть сиськи Лидкиным лифчиком, нарисовать тенями круги в подглазьях.

Второй фактор и вовсе извинительный: климакс, период по эмоциональным и физическим ощущениям мучительный. Алину эту, поди, то в жар, то в озноб бросает, и всё вокруг раздражает. Это тоже надо учесть.

Что еще можно вычислить про старуху?

Она из бывших. По анкете не очень понятно, написано «из семьи служащих», но имя-отчество барские, кружевной воротничок-стоечка,

пенсне. Такие Мирру обычно не привечали, чуяли черную косточку. Прикинуться своей не получится. У интеллигенции, как и у пролетариата, нюх на чужаков. Мирра безошибочно определяла бывших, как бы они ни изображали из себя в доску свойских, как бы ни сыпали матюками и ревфразами. Точно так же и мымра вмиг срисует по тысяче признаков, что вузовка Носик пролетарского происхождения, из рабфаковок, хоть вставляй через каждое слово цитаты из Блока и Бальмонта.

Ладно, учли.

И еще одно обстоятельство – интересное. В прошлый раз Алина Аполлоновна вдруг загадочным образом сменила гнев на милость, когда Мирра при ней обругала профессора Логинова.

Располагая этими оперативными данными, Мирра предприняла рейд.

Выбрала момент, когда в канцелярии никого лишнего не было, села на стул перед секретаршей. Подождала, пока та кончит изображать чрезмерную занятость и оторвется от «ундервуда», уставится колючими выцветшими глазками из-под стеклышек: чего, мол, надо?

Тогда сказала, озабоченно:

– У вас приливы, тяжелая форма. Я в прошлый раз заметила. Лекарства принимать не пробовали? Вот, я принесла.

И пузырек на стол.

Та, как следовало ожидать, окрысилась. Интеллигенция не любит, когда чужие без спроса лезут в личную жизнь.

– С чего вдруг такая заботливость? Я, кажется, не просила! – Прямо обожгла взглядом.

– Я выбрала себе специальность – возрастная эволюция женского организма, – не так уж сильно соврала Мирра. И быстро, пока не выгнали: – Согласно новейшим исследованиям, негативные явления климактерического периода смягчаются при помощи медикаментозной компенсации. Это моя тема. Есть отличное экспериментальное средство, *Cimicifuga racemosa*, экстракт змеиного корня. А попробовать мне не на ком, все подруги и знакомые моего возраста. Вот я про вас и вспомнила. Подумала, что вы, наверное, вроде сапожника, который без сапог. Работаете среди медиков, но все они мужчины, вам с ними говорить о таких вещах неудобно. Поприимайте. Потом расскажете, помогает или нет.

В пузырьке была подкрашенная водичка, но ни малейших угрызений по поводу вранья Мирра не испытывала. В войне и в любви все средства хороши.

Мымра глядела на нее без выражения, молчала. Кажется, не клюнула.

Сейчас выпрет за дверь, тоскливо сказала себе Мирра.

Алина Аполлоновна усмехнулась.

– Что, в Клобукова втрескалась? То-то ты про его график выспрашивала. А теперь решила ко мне подкатиться?

Одно из самых важных качеств хорошего хирурга – быстрота реакции. Во время операции может приключиться любая неожиданность: катастрофически упало давление, остановилось сердце, да мало ли. Если ты растерялся, не скорректировал операцию – беда.

У Мирры реакция была прекрасная, план операции она поменяла моментально, кардинальным образом.

– Да. Я люблю Антона. И очень за него тревожусь. Из-за Логинова этого. Может, он и великий оператор, но человек – дрянь. Он оказывает на Антона плохое влияние.

Тусклые глазки секретарши сверкнули. Ура! Давление восстановилось, сердце заработало, операция удалась!

– Именно что дрянь! – горячо воскликнула Алина. – Циник и несусветный выжига! Невероятно жаден до денег. За хороший гонорар хоть ерундовый аппендицит прооперирует. Его у нас никто не любит. Даже декан, академик Зайончковский, на службу ездит на трамвае, а у этого, видите ли, личный автомобиль с шофером!

Мирре даже говорить ничего не пришлось – качай головой, закатывай глаза и поддакивай.

– Он тысячи заколачивает. Тысячи! Прямо в карман, безо всяких ведомостей. И никакой фининспектор к нему не привяжется. Потому что Логинов – консультант кремлевского Лечсанупра, пользуется больших начальников! Если какая неприятность, звонит прямо наверх и ябедничает! А какой грубый! Холодный человеконенавистник! Ты, детка, правильно за Антона Марковича переживаешь. Я вижу, как он под влиянием Логинова прямо на глазах превращается в такую же деревяшку.

– Помогите мне, – попросила Мирра. – Расскажите про Антона всё, что знаете. Боюсь, он многое от меня скрывает... Только не говорите ему ничего. Пожалуйста.

Мирра улыбнулась ей совершенно по-матерински, и рецепт приручения старых дев стал окончательно понятен. Попроси у них покровительства, дай им поучить тебя жизни, не возражай, не спорь – и получишь всё, что тебе надо. Мирра сама на себя удивлялась, откуда в ней взялось столько гибкости и хитрости. Кто это из писателей сказал: «Любовь делает мужчину глупым, а женщину мудрой»?

Дальше нужно было просто слушать.

Алина рассказала, что Антон Клобуков, поступив в университет, почти сразу же перевелся с первого курса на третий, а с третьего на пятый. И с самого начала ассистировал на операциях – он анестезист от бога, к тому же с настоящей швейцарской выучкой. На главный, роковой вопрос – про другую женщину – секретарша уверенно ответила:

– Никогда никого не было. Антон Маркович живет только медициной. Это, конечно, хорошо, но всё должно быть в меру. А под влиянием Логинова молодой человек твердо решил не заводить семью. Я сама слышала, как он говорил про это профессору. И тот одобрительно кивал, мизогинист проклятый.

– Кто? – напряженно переспросила Мирра, еще до конца не поверив, что соперницы нет.

– Мизогинист, женоненавистник. Логинову женщины физически отвратительны. Как безобразно он разговаривает с сотрудницами и студентками! И Антона Марковича тому же учит, но Антон, слава богу, человек интеллигентный.

Вдруг у Мирры возникло страшное подозрение, от которого внутри всё так и съежилось.

– Значит, женщинами он не интересуется? А... мужчинами?

Но Алина Аполлоновна, чистая душа, вопроса не поняла.

– Вы про Логинова? Он вообще людей не любит. Никаких. Патологический мизантроп!

И отлегло от сердца.

* * *

После этого разговора стало поспокойней. Соперницы, стало быть, нет. Есть соперник, но уж с сухарем-профессором, козлиной бородой, мы как-нибудь справимся.

Нужно действовать по двум линиям.

Во-первых, держать курс на товарищеское сближение с Антоном – упаси боже, безо всякого кокетства. Быть привлекательной, но при этом не завлекать. Они друзья, коллеги. У них общий интерес, медицина. И человеческая симпатия. Точка.

Второе: недооценивать Логинова нельзя. Для Антона профессор – учитель жизни, маяк. Чтоб Антон с этого маяка повернул к другому, нужно сначала приглядеться, что он за штука такая, этот Клавдий Петрович.

Чем приманивает, чем опасен.

Думала, думала и придумала, как уложить одним выстрелом двух зайцев. С помощью мымры Алины, бесценной союзницы, попала в список стажеров, кому разрешалось присутствовать на операциях великого профессора Логинова. Всякий хирург был обязан пускать в университетскую операционную как минимум шесть аспирантов и пятикурсников. Многие разрешали приходить всем желающим и охотно объясняли каждое свое действие по ходу операции. Логинов не обращал на стажеров никакого внимания и требовал только одного: чтоб были тише воды, ниже травы. Сволочь он и есть сволочь.

Вообще-то Мирре по ее будущему профилю полагалось стажироваться в челюстно-лицевом, но в новой системе жизненных координат теперь были иные приоритеты.

Поэтому она безропотно стояла у стеночки, вместе с остальными пятью избранниками, рта не раскрывала и наматывала на ус – глядела в оба, держала ушки на макушке. Следила не за руками оператора, а за его повадками. И, конечно, с удвоенным вниманием, как Логинов общается со своим неперенным наркотизатором (то есть с анестезистом – на «наркотизатора» Антона обижался).

Порядок всё время был один и тот же.

Сначала профессор садился, выкладывал на стол завернутые в салфеточку бутерброды (всегда с ростбифом), термос с чаем и неторопливо закусывал, наблюдая за приготовлениями к операции. Никогда никого не угощал, всё сжирал сам. При этом болтал с хирургом-ассистентом и анестезистом, с медсестрами, игнорируя стажеров. Он и во время самой операции почти не затыкался – трепался обо всем на свете, но только не о происходящем. Помощникам никаких указаний не давал. Мирра сначала решила, что это такое особое пижонство: мол, всё идет по плану, всё предусмотрено, каждый занимается своим делом, никем руководить не нужно. А Клобуков потом объяснил: это у Логинова таким необычным манером проявляются тотальная концентрация и нервное возбуждение. В обычных обстоятельствах он скуп на слова, пустой болтовни не выносит, но чем сложнее операция, тем он делается разговорчивее и тем легкомысленнее предмет беседы. Антон считал, что Клавдий Петрович втайне суеверен, как многие великие хирурги, что у него такой ритуал – *забалтывать* опасность.

В самый первый раз, пользуясь тем, что марлевая повязка натянута до самых глаз, Мирра пристроилась прямо за спиной у Антона, который и знать не знал, что она тут. Решила, что не упустит ни слова.

Ну и наслушалась.

Предстояла трепанация. Ассистент сосредоточенно мылил и брил уже усыпленному больному голову – заново, потому что Логинов остался недоволен тем, как это сделали в палате. Сам хирург тем временем жевал свои бутерброды и слушал анестезиста.

Антон скороговоркой, сверяясь с записями, рассказывал про пациента:

– Как вы знаете, Клавдий Петрович, случай особенный, с осложнением. Операция делается на фоне рака легких четвертой стадии, с поражением подключичных лимфатических узлов и множественными метастазами. Сердце слабое, легочная ткань ни к черту, сплошные ателактазы... А травма и сама по себе серьезная: открытая черепно-мозговая в результате удара кастетом.

– Надо же, как интересно, – хладнокровно заметил Логинов.

– Да, тут необычная история. В начале января врачи честно сказали больному: вам осталось жить три месяца. Жена говорит, он измучил ее разговорами о том, что покончит с собой, что не будет как баран ждать неминуемой смерти. А вчера ночью в квартиру ворвались налетчики – семья живет в Марьиной Роще, нехорошее место... Жену стукнули кулаком, его – кастетом. Тут что поразительно? То человек покончить с собой хотел, а сегодня утром схватил меня за рукав и шипит: «Вы обязаны меня спасти! У меня остается еще целый месяц жизни! Мне врачи обещали!» Удивительно, да?

– Хочет жить – это хорошо. – Логинов вытер губы салфеточкой. – Значит, операция пройдет успешно, а если он через месяц умрет от онкологии – это уж не наша ответственность. Однако, Антон Маркович, хочу сделать вам замечание. Зачем вы мне рассказали столько лишних подробностей? Всё это accidens^[8], к делу отношения не имеет.

– Вы же сами сказали: как интересно.

– Я имел в виду, что интересно делать трепанацию на фоне рака четвертой степени. А прочая беллетристика мне зачем?

Клобуков смутился, начал оправдываться – Мирре стало за него обидно.

– Да, я знаю, но очень уж необычная история. Понимаете, с женой тоже интересно. Пока он просто умирал, в ней вроде как все перегорело, хотя раньше, кажется, была сильная любовь. Она очень устала возиться с больным. Мысленно все уже прикинула, рассчитала: как проводит в последний путь, что будет делать, оставшись вдовой, и прочее. И вдруг – как у нищего отобрали последнее рублище. Трясется вся, рыдает, кричит: «Не дайте ему умереть, спасите, ему рано умирать!» Какая-то

поразительная регенерация любви перед самой могилой.

У Мирры от слез всё перед глазами поплыло, а Логинов, кусок льда, прервал Антона:

– Ну-с, регенерацию любви оставим *ad disputandum*^[9] на потом. Во время операции об этом поболтаем. Как он по вашей части, готов?

– Да. Осталось дать этилен, и Андрей Кондратьевич Желтов будет в полном вашем распоряжении, – буркнул Антон.

– Что с вами сегодня? – вздохнул Логинов. – Нарочно что ли меня дразните? Вам ведь отлично известно, что я не желаю знать никаких имен. Я оперирую не Андрея Кондратьевича, а некий материальный объект. Всё, что мне потребно от пациента, чтобы он лежал смирно и не выкинул фортель вроде остановки сердца, – и это ваша зона компетенции. Ладно, давайте работать. И поговорим о любви, тема любопытная... Голову – на ватную подкову, – приказал он ассистенту. – Плечи – захватами, поплотнее. Антон Маркович, давайте свой этилен, и приступим.

Он с невероятной быстротой и ловкостью проделал электросверлом отверстия вокруг пролома, моментально перепилил промежутки цилиндрической фрезой, остановил кровотечение восковой пастой, промыл операционное поле соленой водой. Остальные стажеры заворуженно следили за проворными пальцами виртуоза, а Мирра с ненавистью глядела в его седой затылок и слушала, как человеконенавистник разглагольствует о любви.

– ...Всю жизнь слышу это слово, коллега, а смысла не понимаю – что за любовь такая? Вот я люблю холодные солнечные осенние дни, потому что такая погода стимулирует кровоснабжение мозга. Люблю делать сложные операции, вроде нынешней. Если выходит удачно, это очень приятно. Некоторых людей я тоже люблю – когда они надежны и хорошо исполняют свое дело. Вас, например, очень люблю... – (В этом месте Мирра свирепо сдвинула брови.) – ...потому что вы лучший из известных мне анестезистов.

– И вы никогда никого не любили по-другому? – спросил Антон, не сводя глаз с датчиков.

– Женщину что ли? – фыркнул Логинов. – Никогда. Студентом как-то раз наведалься в бордель. Все пошли, и я с ними. В качестве эксперимента. Глупо, неинтересно. *Desideria carnis*^[10] в молодом возрасте проще и эффективнее – не говоря уж о дешевизне – удовлетворяются с помощью собственных пяти пальцев.

Он ляпнул это, нисколько не смущаясь медсестер и стажеров, среди

которых, кроме Мирры, была еще одна девушка. Те тихонько прыснули, а сестры, ко всему привычные, и ухом не повели.

– Но родителей-то вы, я полагаю, любили? – задал Антон уроду совершенно правильный вопрос.

Хирург недовольно мотнул головой замешкавшемуся ассистенту – тот кивнул, заработал иглой. Операция близилась к концу.

– Родителей? Ну, матери я не видал, она скончалась родами. Отец за это был на меня в претензии, желал побыстрее отделаться и в результате дал отличное образование: девяти лет сдал в пансион, и с этого момента я учился без перерыва целых полтора десятилетия, ни на что не отвлекаясь. Повезло. Мне кажется, что родительская любовь только вредит становлению характера. Вам она какую-то пользу принесла?

– Да, конечно, – ответил Антон, но как-то неуверенно. – Однако был и ущерб. Причем значительный...

Мирра покачала головой. Дело плохо. Клобуков инфицирован логиновским вирусом, и болезнь сильно запущена. Требуется срочное вмешательство, а то станет таким же, как эта нелюдь.

У Логинова потом была назначена еще одна операция, и Мирра подошла к Антону в перерыве.

Он удивился, обрадовался.

– Заинтересовалась твоим профессором. Ты так уважительно про него рассказывал. Решила посмотреть, как он работает. Ну что сказать – мастер, – сказала она, восхищаясь своими актерскими способностями – откуда они только взялись?

Было ясно, что наскакивать на Логинова нельзя, Антон сразу кинется защищать своего кумира и в дальнейшем будет относиться к ее отзывам о ползучем гаде настороженно.

– Занятный у вас с ним был разговор, про любовь, – таким же безмятежным тоном продолжила она. – Клавдий Петрович рассуждает оригинально.

– Да, у него целая гипотеза касательно того, что настоящий ученый, всецело преданный своему делу, не может тратить себя на сердечные привязанности. Логически он это обосновывает очень убедительно. Самый весомый аргумент – он сам. Совершенно одинок, полностью самодостаточен, ничего не боится. И мне все время говорит: «Хотите быть не просто отменным специалистом, а личностью свободной и даже неуязвимой – забудьте про amor libidinosus^[11]». Живет он один, по хозяйству ему помогает глухонемая домработница, его служанка еще

с дореволюционной поры. И всё у него прекрасно.

– Да он же псих! – не сдержалась Мирра. – Эмоциональный инвалид.

– Самые лучшие хирурги – все немного маньяки, – пожал плечами Антон. – Ни на что кроме своего дела не отвлекаются. А насчет эмоционального инвалидства... Знаешь, мне иногда кажется... – Он задумчиво прищурился через очки. – Может быть, это Логинов нормальный, а инвалиды – обычные люди, которым обязательно нужно с кем-то соединять свою жизнь. Это ведь значит, что им чего-то не хватает, что они сами по себе неполноценные, правда? Вот в литературе пишут: способность к любви – великий дар. А что если любить способны только те, кому *мало самого себя*? Разве это не дефективность, когда человеку самого себя недостаточно? Может, правильнее искать недостающее внутри себя, а не в каком-то другом человеке?

Прежняя Мирра нашла бы что на это возразить, за словом в карман не полезла бы. Однако новая, по-змеиному мудрая, горячиться не стала.

– Наверное, ты прав... Хотя тут, может, басня про зеленый виноград. Я не в состоянии вообразить женщину, которая захотела бы обнять твоего Клавдия Петровича и покрыть поцелуями его похожую на сухофрукт физиономию.

Она сложила сердечком аккуратно, чуть-чуть на помаженные губы и придала взору (ресницы слегка подкрашены, брови выровнены) преувеличенную затуманенность.

Клобуков хихикнул.

– Хорошо выглядишь сегодня. Выспалась, наверно?

– Подруга научила: нужно спать голышом, без ночной рубашки, без всего. Утром встаешь – прямо летаешь, – сказала Мирра, глядя на него с предельной бесхитростью.

Он моргнул, опустил глаза.

Экспромт, а получилось неплохо.

Потом попридусствовала еще на трех операциях: в тот же день на одной, и на двух в среду.

Опять следила не за хирургическими действиями, а собирала информацию о враге. Прикидывала, как будет его обезвреживать.

Про любовь Логинов больше не теоретизировал.

Во вторник после обеда (вылушивание кисты яичника) говорил про политику. Учил молодых помощников ни в коем случае не вступать в партию, даже если это поможет получить хорошее место. Общественной деятельностью тоже призывал не заниматься – пустая трата времени. Врача

по-настоящему ценят только за мастерство и результативность лечения, поэтому вилять хвостом перед советской властью (именно так беззаботно и выразился) отличному медику незачем. Когда какого-нибудь важного большевика прижучит, он обратится не к партийцу, а к лучшему профессионалу. И в обиду его потом никому не даст.

В среду утром Логинов помалкивал. Он оперировал карциному желудка, но работа не пошла. Опухоль оказалась запущенной, с обширной инфильтрацией, поэтому профессор швырнул инструменты в таз и вышел вон, ужасно недовольный, а зашивать полость пришлось ассистенту.

Зато на послеобеденной операции (экстирпация маточной фибромиомы) хирург молотил языком не переставая – почему-то о современном искусстве. Оно-де никакое не искусство, а профанация, потому что слово «искусство» происходит от «искусности», а какая к чертовой бабушке искусность в том, чтобы намалевать на холсте черный квадрат или взять и накалякать треугольники с кругами?

Бесило Мирру то, что Антон и насчет аполитичности, и насчет революционного искусства со старым контриком во всем соглашался, поддакивал. Совсем заколдовал его поганый Черномор.

А в четверг стажировка – бац, и скоропостижно закончилась.

Еще до начала операции, жуя свой бутерброд, Логинов вдруг сощурился на Мирру, тихонько стоявшую с остальными стажерами, и вдруг ткнул в нее длинным сухим пальцем.

– Вот вы, приземистая барышня, подите-ка.

Она подошла.

– Сдайте халат, повязку, бахилы. И чтобы я вас больше в операционной не видел. Не занимайте чужого места. Из вас никогда не получится хирурга. Вы совершенно не следили за моими пальцами.

Терять в такой ситуации Мирре было уже нечего, а ярости на старого злыдня накопилось много. Поэтому, сдернув с лица повязку, она громко сказала:

– Боялась на ваши пальцы смотреть. Вдруг вы ими начнете удовлетворять плотские желания?

Старшая операционная сестра ахнула, как бабка в церкви, если бы кто-то взял и плюнул в икону. У Логинова выпучились бесцветные глаза – не привык получать по носу.

А Мирра подмигнула остолбеневшему Антону, вышла, еще и дверью хлопнула.

Пусть только сволочь старорежимная попробует пожаловаться. Тогда

она прямо на собрании расскажет, какие гнилые разговорчики он ведет. Свидетели имеются.

Не очень-то Мирра и расстроилась, что затея со стажировкой провалилась. Потому что насмотрелась на Логинова предостаточно, а к Антону уже нашелся ход получше.

* * *

Произошло это еще вчера, когда они вдвоем ходили обедать в перерыве между операциями.

Мирра спросила, безо всякой агрессивности, а как бы задумчиво, согласен ли он с профессором, что пациент – не человек, а «материальный объект». Вроде бы Антон говорил что, по швейцарскому методу, к больным надо относиться иначе?

Ход опять был удачный. Антон оживился, оседлав любимого конька, стал объяснять, что хирурги все предпочитают смотреть на оперируемого как на кусок мяса, им так проще, а анестезист работает совсем иначе, потому что имеет дело не столько с физиологией, сколько с психикой, сознанием – то есть с человеческой индивидуальностью.

Сосредоточенный на одной цели мозг моментально подсказал Мирре, как повернуть разговор.

– А я хочу быть другим хирургом, – сказала она. – Меня интересует личность пациента. И твой метод мне очень пригодится. Понимаешь, я же хочу делать людей красивыми, а для этого нужно научиться их понимать. Потому что у каждого свое собственное представление о красоте.

– Это очень правильно! – горячо поддержал ее Клобуков. А она знала, что ему это понравится. И сразу подкатилась с идеей, которая только что пришла в голову. Идея была совершенно блестящая.

Попросила взять ее с собой на беседу с больным, которого Антон будет готовить к следующей операции. Чтоб посмотреть, как это делается. Поучиться.

Клобуков сначала заколебался: дело интимное, с глазу на глаз и то не всегда получается. Но Мирра пообещала сидеть тихой мышкой, рта не раскрывать, и Антон нерешительно согласился.

– Ладно, – сказал. – Попробуем. Сегодня же. Случай легкий, поэтому ты не помешаешь. И молчать необязательно. Можешь говорить, что хочешь. А я заодно проверю, хорошо ли на пациента-мужчину

действует женское присутствие. Это даже любопытно.

* * *

Пациент лежал в онкологическом. Завтра утром Логинов должен был вырезать ему опухоль, пока непонятно, частично изъязвленную или инфильтративную. Если первое – прогноз неважный, один шанс из трех; если второе – шансов вообще ноль.

Антон по дороге рассказал:

– Некто Полуектов, очень интересный человек. Ясно понимает свои перспективы, но абсолютно не боится смерти и даже сохраняет веселость. Я в своей жизни только однажды встречал такого, но тот был ученый, этакий мудрец философского склада, а Полуектов – человек совсем простой, маляр.

Мирре еще предстояло узнать, что у Антона все пациенты «очень интересные», других не бывает. Но тот, самый первый, действительно показался ей необычным.

Еще в коридоре они услышали доносящийся из палаты взрыв веселого смеха.

Там на кровати, опершись на подушки, сидел худой, желтый человек лет, наверное, шестидесяти, а может, помоложе, потому что при запущенном раке желудка люди выглядят старше своего возраста.

При виде Антона и Мирры (они оба были в белых халатах) две сестры и санитар вышли. Больше в помещении никого не было.

Поздоровались. Полуектов пожал Антону руку, Мирре подмигнул. Глаза у него были яркие, смешливые.

– Это я им рассказывал, как меня в пятнадцатом году взрывной волной на дерево закинуло и я потом две недели на непонятном языке разговаривал, а по-русски ни бельмеса не понимал. Так всё чудно было! А потом приехал доктор из Москвы, всадил мне в задницу какой-то укол хитрый, и мозги у меня на место встали. Не рассказывал я вам эту свою приключению, Антон Маркыч?

Сам при этом с любопытством разглядывал Мирру.

– А ты, барышня, кто будешь?

– Мирра учится на хирурга, – ответил за нее Антон. – Хочу показать ей человека, который не боится операции.

Полуектов одобрительно заметил:

– Красивая. Румяная, как яблоко-боровинка. Я их раньше исключительно обожал, за раз штук по десять съедал. Пока брюхо мне не устроило революцию. Хватит, грит, Полуектов, мне эксплуатацию устраивать. Весь, грит, мир насилия я разрушу. Кто был всем, тот станет ничем.

И весело засмеялся.

– Ну валяй, боровинка. Задавай вопросы. Доктору я уже всю свою жизнь обсказал.

– Вы маляр? – нерешительно спросила Мирра, не зная, с чего начать.

– Самое лучшее ремесло на свете, – охотно ответил больной. – Я люблю колеры. Как покрасишь дом или комнату, такая там и жизнь будет. Вот если вылечусь, всё к черту у себя перекрашу. Придумал уже. Потолок сделаю лазоревый, с солнечным сиянием. В коридоре, там все одно темно, пушу темно-синий кобальт с золотыми искорками из фольги. Будто ночное небо со звездами.

Мирра посмотрела на Антона. Тот ободряюще кивнул: спрашивай, что хочешь.

«Знаете ли вы, что операция очень опасная, что вы можете не подняться со стола?» – хотелось спросить ей. Не решилась.

– Чего робеешь? Я же вижу, ты не из робких. Поди, хочешь поинтересоваться, неужто мне совсем не боязно? – Полуектов засмеялся. – Которые не такие деликатные, все время спрашивают, потому что удивляются на мой треп. А я на них удивляюсь, что они удивляются. Ты погляди на меня. – Он нарочно втянул свои и так впалые щеки. – Череп на скелете, смотреть жутко. А как начнет меня рак изнутри крутить – от боли на стенку лезу. На кой она мне, такая жизнь, нужна? Вы, граждане врачи, или давайте меня вылечивайте, или я лучше в земельку-матушку лягу, отдохну.

– И не страшно? В земельку-матушку? – спросила Мирра.

– Наоборот, очень интересно. Там как может быть, после смерти-то? Либо товарищи Маркс с Лениным правы, и нет ничего. – Полуектов загнул корявый палец. – Ну, на нет и суда нет. Либо правы попы, и Суд есть. – Загнул другой. – Тогда что же пугаться? Господа Бога увижу, ангелов, а хоть бы и чертей. Чертями меня не напугаешь, я их на войне много поглядел, зато на ангелов я бы полюбовался. И с Богом найдется о чем поговорить. Теперь гляди дальше. – Завернул третий палец. – Я читал в книжке, что индусы предполагают перерождение души в новом организме. Я бы не прочь. Нынешний организм мне не жалко, а если снова на свет народиться, я много чего в моей жизни поправил бы... Еще есть

четвертое вероятно, из всех самое интересное. Что люди себе про загробное бытование напридумывали чепухи, и будет там нечто вовсе другое, чего мы, дураки, и вообразить не можем. Неужто не интересно посмотреть?

Мирра против воли заулыбалась:

– Вас слушаешь, завидки берут. Хоть местами с вами меняйся.

– Зачем тебе со мной местами меняться? Никуда оно от тебя не убежит. Если у тебя не болит нигде, если силы есть, есть любопытство к жизни – живи себе, пока живется. И я с удовольствием еще поживу, если меня завтра хорошо нарежут и обратно зашьют.

Когда вышли из палаты, Антон сказал:

– С анестезионной стороны проблем не предвижу. Я вообще убеждал Клавдия Петровича провести операцию на местной анестезии, как рекомендуют американцы. Если пациент спокоен, зачем лишняя нагрузка на сердце? Но профессор не согласился. У нас с ним давний спор по этому поводу.

Мирра остановилась, посмотрела Антону в глаза, еще и руки сложила, как на картинах рисуют, когда кто-то о чем-нибудь молит. Дурацкий жест, но сейчас пригодился.

– Слушай, а бери меня с собой на такие беседы всегда. Пожалуйста! Мне это очень, очень пригодится!

Он глядел на нее поверх очков с сомнением.

– Не знаю... Случаи бывают разной сложности. А ты не подготовлена.

– Так подготовь меня! Проведи инструктаж.

– ...Пожалуй. Где бы нам уединиться, чтобы никто не мешал?

От слова «уединиться» под ложечкой у Мирры ёкнуло.

– Можно ко мне в общагу, – пожалала она плечами. – Лидки (это моя соседка по комнате) всё равно нет. Никто не помешает.

Пришли. Мирра прямо не верила своей удаче. Они будут рядом, вдвоем! И смотрит он на нее в последнее время не так, как раньше. Мелькает что-то во взгляде. Работает Лидкина наука!

Неужели сегодня, прямо сейчас? Неужели?

– Ух, натопили-то, – сказала она, сняв бекешу и шарф. – Сниму-ка и фуфайку. Отвернись на минутку, а то, боюсь, майка задерется.

Сняла не только фуфайку, но быстро стянула лифчик, швырнула за кровать. Физкультурка на узких бретельках обнажала плечи. Груды под тонкой байкой покачивались на свободе. Мужчины от такого зрелища цепенеют.

– И ты галстук сними. Жарко же, – просто так, по-свойски

предложила она. – Снимай, снимай. Вопреешь.

Чуть не насилу, но безо всяких нежностей, а по-товарищески, стащила с Антона пиджак, ослабила галстук, расстегнула воротничок.

Приказала себе: «Не торопи события, Носик. Не спугни». В глаза Антону с близкого расстояния не смотрела. Лоб собрала морщинами, по-деловому.

Когда вешала пиджак в шкаф, вдруг нащупала во внутреннем кармане прямоугольник. Фотокарточка?

Неужели все-таки у него есть женщина?!

Прикрывшись дверью, осторожно достала.

Нет, это был портрет профессора Логинова. На обороте написано: «Антону Клобукову, анестезисту от Бога, в память о блестяще проведенной холецистэктомии». И дата.

Не совладав с раздражением, сунула карточку в карман юбки. Выкинуть к черту. А Клобуков пускай думает, что выронил где-нибудь. Ишь, таскает с собой, будто чудотворный образок...

Клобуков сидел на Лидкиной кровати строгий и торжественный. Мирра заняла позицию рядом, но не вплитык. Взяла тетрадку, карандаш. Подумала: какие у него маленькие мочки. Куснуть бы слегка. И жилка на шее бьется...

– Я готова.

– Проанализируем твоё сегодняшнее поведение во время интервью с больным. Как я уже сказал, случай нетипичный. Что бы ты ни сказала, демотивации не произошло бы. Но с другими так вести себя нельзя. Во-первых, никакой иронии в голосе. Ты спросила его: «Не страшно в земельку-матушку?» Грубейшая ошибка. У врача не должно быть отстраненности от той страшной ситуации, в которой ощущает себя человек перед операцией. Ты – с ним, ты словно бы держишь его за руку и всем своим видом даешь понять: я тебя вытащу, я пальцев не разожму. Это требует серьезного внутреннего настроя. Первое правило интервьюера: ты ждешь от собеседника полной откровенности – значит, будь готова открыться перед ним и сама. Иногда нарочно приходится начинать с себя. Подавать пример открытости. Обнажаться. Это особенно важно, если имеешь дело с противоположным полом. Пациент не должен чувствовать себя голым перед тобой – одетым. Вы на равных, вы оба – голые. Как в бане, когда стесняться наготы незачем.

Мирра представила себя и Антона – как они оба не стесняются наготы. Сглотнула.

– Ничего, если я чулки тоже сниму? Они у меня шерстяные,

запарилась. У нас тут истопник полоумный, совсем угля не жалеет...

Он деликатно отвернулся. Она села на кровать с ногами, прикрыв их юбкой. Поближе, чем раньше.

– Продолжай. Про баню я записала.

– ...Второе правило, не менее важное. Будь откровенна и открыта, но с разбором. Худшее, что в тебе есть, не выпячивай. Демонстрируй лучшие качества души. Но только подлинные, а не выдуманные. Это, кстати говоря, распространяется на любые человеческие отношения. Если человек имеет для тебя значение, общаясь с ним, подавляй в себе худшее и форсируй лучшее. Только ни в коем случае не ври, не изображай то, чего в тебе нет...

Он был такой невыносимо милый, когда это сказал, что терпеть больше не было никаких сил.

Мирра подняла руку, провела пальцем по его губам. Ей давно хотелось это сделать.

Антон сбился, захлопал глазами, и не поцеловать их тоже было невозможно, поэтому Мирра сдернула с его носа очки, поцеловала сначала один глаз, потом – не закрывшийся, а испуганно на нее смотревший второй. Поцеловала угол рта, губы, но они были мягкие, растерянные, и задерживаться на них она не стала. Переместилась ниже, на шею, поцеловала кадык, расстегнула две пуговицы на рубашке, добралась до теплой ложбинки внизу шеи.

И тут он ее остановил. Движением ласковым, но решительным. Взял за виски, поднял лицо.

– Этого не нужно. Совсем. Не обижайся. Дело не в тебе. Ты мне очень нравишься. Просто я решил, что у меня этого никогда больше не будет.

– Чего этого? – пролепетала Мирра, плохо соображая. У нее горели щеки, сердце чуть не выпрыгивало.

– Физической любви. – Антон отодвинулся, чтобы лучше ее видеть. – Распрямись. Сядь рядом. Давай я тебе объясню, раз уж так вышло... Мне очень важно, чтобы ты меня поняла и не обиделась. Ты мне правда сильно нравишься. Не хочу, чтобы мы отделились. Но и превращать наши отношения в... это тоже не хочу.

Она на миг зажмурилась, внутренне кляня себя самыми последними словами.

Сорвалась! Всё испортила!

– Смотри на меня. Пожалуйста, – попросил он.

Она послушно открыла глаза. Только бы он сейчас не встал и не ушел. Тогда всё точно будет кончено.

– У меня сохранились о... половой любви, – не без усилия выговорил Антон, – унижительные воспоминания. Это животное начало. Недостойный мыслящей личности инстинкт, который нужно в себе преодолевать. В природе, у млекопитающих далеко не все самцы занимаются этим. Большинство всю жизнь обходятся без спаривания, и ничего. Нельзя существовать без воздуха, еды и воды. А без половых сношений можно и – для человека, который решил посвятить себя большому делу, – даже необходимо. Это дает настоящую свободу, Клавдий Петрович совершенно прав. То есть это даже не его идея, а Шопенгауэра.

– Который философ? – спросила обреченно слушавшая Мирра.

Ах, Логинов, Логинов. Чтоб тебе, старому негодяю, повылазило...

Антон же говорил все более возбужденно:

– Шопенгауэр видит корень всех зол в половом инстинкте, который заложен в нас тупой и бессмысленной «Волей к Жизни» – Wille zum Leben. Конечно, он слишком категоричен, однако половой инстинкт действительно отвлекает человека от служения делу. Отлично понимаю католиков и наших православных монахов с их целибатом. Сколько времени тратится на ненужные эмоции, на постыдные переживания, да и просто на физическую грязь! Я не хочу быть рабом своей предстательной железы! Не хочу, чтобы тело диктовало моему сознанию, как жить! Иметь детей в нашем грубом, жестоком, кровожадном мире я тем более не хочу! Помню, как во времена моего детства взрослые спорили о «Крейцеровой сонате», а я подслушивал и мало что понимал. Толстому идея половой любви казалась омерзительной, и поэтому в зрелом возрасте он отвергал брак как таковой. Но в современной Европе самые тонкие и развитые люди додумались до идеи брака без постели. До совершенно чистых отношений, достойных двух индивидов, находящихся на высокой степени духовного и интеллектуального развития. Имя Бернарда Шоу тебе что-нибудь говорит?

Мирра помотала головой. «Крейцерову сонату» она тоже не читала. Судя по тому, что говорил Антон, – какая-то мура.

– Это английский драматург, очень хороший. Живет с женой без физиологических отношений. И у них в Европе немало последователей. Ты можешь себе представить такой брак?

– Если любишь человека, очень-очень любишь, и иначе никак нельзя, то лучше уж так, чем никак, – честно сказала Мирра и мысленно прибавила: «для начала, а там видно будет».

– Ты правда так думаешь? – обрадовался Клобуков. Снова нацепил очки, поморгал. – ...Слушай, Мирра, я часто о тебе думаю. В последнее

время почти постоянно – когда не работаю, конечно. Мы с тобой очень мало похожи. Совсем непохожи. В принципе, нам не должно быть друг с другом интересно. Но мне почему-то хорошо с тобой. Только одно меня пугает – вот это самое, что сейчас произошло... Ну, чуть не произошло. Мне было бы проще, легче, лучше, если бы на нас не давил давно сложившийся шаблон: когда молодая женщина и молодой мужчина нравятся друг другу и находятся наедине, они обязательно должны слиться в объятиях, иначе будет противоестественно и странно. Давай разорвем это клише. Пусть никакая тень не омрачает наших отношений. Для кого-то это «стакан воды», а для нас будет союз двух индивидуальностей, которые не хотят быть животными.

Он мигал через стекла, и видно было, что волнуется.

– Скажи, ты согласна на такие отношения... или нам лучше не встречаться?

– Конечно, согласна, – улыбнулась Мирра. Он ей ужасно, просто ужасно нравился. Даже тем, что такой дурак. – Хватит про ерунду болтать, Клобуков. Давай работать. Кто у тебя следующий пациент? То есть у нас. Ты ведь возьмешь меня с собой?

– Конечно. – Он тоже заулыбался, облегченно. – Я сейчас тебя поцеловал бы, но это, наверное, будет неправильно.

– Да, пожалуй, не стоит, – церемонно ответила Мирра. Товарищеские поцелуи ее не интересовали. – Без шаблонов так без шаблонов. Давай пять и валяй, рассказывай про следующего.

Пожали друг другу руки. Опять пробило разрядом тока, но Мирра не подала виду.

– Случай очень интересный. И, в отличие от Полуектова, трудный. – Клобуков вздохнул. – Не знаешь, как подступиться... Помнишь, я тебе про японку рассказывал? Что-то в этом роде. Только теперь мужчина, попытка самоубийства. Огнестрельное сквозное с повреждением легкого и сердечной сумки. Совершенно не хочет жить. Между прочим, наглядное подтверждение того, о чем мы говорили. Всё та же чертова «Крейцерова соната», проклятие половой любви.

– Измена? – с интересом спросила Мирра.

– И да и нет. Его бросила жена.

– Ушла к другому? Влюбилась?

– Влюбилась. Но ушла не к сопернику, потому что измены в половом смысле не произошло. Просто – ушла. Понимаешь, эта пара – не мещане, а люди нового склада. Оба партработники, вместе воевали на Гражданской. Бывшую жену я не видел, но мой пациент – человек твердый,

целеустремленный, спокойный. Очень цельный. У них отношения были построены на честности, равенстве и взаимоуважении. Из-за этого и вышла беда. Жена ему однажды заявила:

«Я полюбила другого. Не думай, ничего не было. Он про мои чувства даже не знает. Но если он меня позовет, просто свистнет, я побегу за ним, как собачонка. А коли так, разве я могу с тобой жить и оставаться твоей женой?» И ушла. А мой пациент в тот же вечер выстрелил себе в грудь. Рана тяжелая, но операбельная. Однако ты уже знаешь, что полное отсутствие воли к жизни при наркозе очень опасно. Человек просто берет и не просыпается. Умирает. А если бы они жили, как Бернард Шоу с женой, ничего бы такого не произошло. Духовное перевесило бы. Никакое плотское влечение не отменило бы любви, основанной на духовной и интеллектуальной близости.

– И ты пока не придумал, как вернуть ему Wille zum Leben? – спросила Мирра, гордая, что запомнила термин.

– Нет. Буду пробовать завтра, с утра. Полуектова оперируют только в одиннадцать, так что время будет. И ты, пожалуй, можешь мне пригодиться. Ты – женщина. Может быть, ты сумеешь найти ключик. Думай про это, целая ночь впереди. Я тоже буду думать. Встречаемся в восемь в клинике.

* * *

Ночью она действительно больше думала, чем спала. И думала совсем не о том, как разговаривать с брошенным мужем, который не захотел жить и выстрелил себе в грудь. Чего тут думать? Надо увидеть человека, посмотреть ему в глаза, почувствовать его – и слова сами найдутся, а заранее что теоретизировать?

Размышляла Мирра про двух чертовых иностранцев с шипящими фамилиями, которые пришли на помощь вражине профессору и встали на пути ее счастья. Как они выглядят, эти самые Шоу с Шопенгауэром, она понятия не имела и представляла их себе козлинобородыми близнецами Логинова.

В третьем часу, извертевшись, вскочила, зажгла лампу, поплевала на химический карандаш и пририсовала на украденной фотокарточке синие рога. Только после этого немного полегчало – будто черта изгнала.

Уснула.

Рано утром, невыспавшаяся, но счастливая оттого, что сейчас опять увидит Антона, заметила валяющийся на полу снимок и стало самой себя стыдно. Что за сад-ясли! Ведь взрослая женщина. Надо будет потихоньку сунуть карточку обратно в пиджак.

Попробовала стереть рога резинкой, но не очень-то получилось. Плевать. Пускай Клобуков думает, что у Логинова рога сами собой выросли. Признаваться она во всяком случае не собиралась.

Возле клиники происходило необычное. Издали, сквозь предрассветную мглу, Мирра увидела какой-то серый прямоугольник и копошение вокруг него. Это оказался автобус. Около него, негромко, деловито переговариваясь, курили люди. Некоторые сидели внутри, другие садились. Здесь были хирурги с разных кафедр и несколько операционных сестер из клиники. Появился и Клобуков, тащил небольшой, но тяжелый чемодан необычного вида.

– Уезжаешь? Куда? – кинулась к нему Мирра. – Мы же договорились проводить это... интервью, – не сразу вспомнила она термин. – Что вообще происходит?

– Ночью в общежитии ГПУ на Малой Лубянке был теракт, – шепотом объяснил Антон. Он был взволнован. – Бросили бомбу. Много раненых. Они в центральном военном госпитале. Всех хирургов и врачей смежных специальностей срочно собирают, рук не хватает. Клавдий Петрович уже там, телефонировал. Это у меня полевой анестезионный набор. Профессор недавно из Америки привез.

– Когда вернешься?

– Не знаю. Я буду звонить в секретариат. Заходи, спрашивай.

Полез по лестенке внутрь. Курившие побросали окурки, сели. Автобус зажег фары, дунул из зада сизым бензиновым смрадом, уехал.

Сволочи кровавые, думала Мирра. Никак не оставят нас в покое. Не дают пролетарской республике спокойно жить и строить. На политинформации рассказывали, что беляки из парижского РОВСа, Российского общевойскового союза, недавно выбрали себе нового вождя – черного барона Врангеля, кого же еще. И приняли резолюцию ужесточить террор против СССР. Раньше только за границей наших товарищей убивали – застрелили полпреда Воровского в Лозанне, а теперь решили лить кровь на советской земле. Нейметса им...

Пошла в комитет комсомола. Там уже собралась редакция стенгазеты – готовить экстренный номер. Мирра села писать красной тушью объявление про донорский пункт. Все время приходили новые ребята, сообщали

подробности.

Террористов было двое. Дозорный вовремя их заметил, во дворе. Открыл огонь. Поэтому они кинули бомбу не в спальню, а в коридор. Иначе жертв было бы много больше. Взять гадов не удалось. Сейчас их ищут. По всей Москве патрули, на выезде из города заставы.

Настроение у всех было боевое, задорное. Дураки они, белогвардейцы, если надеются своими бомбами кого-то здесь запугать. Выйдет только наоборот. Это очень хорошо, когда есть явный враг, который хочет тебя убить и погубить твою страну, думала Мирра. Когда мир четко делится на черное и белое. То есть на красное и черное, объявившее себя белым. Это гораздо лучше, чем если всё вокруг серое, как в тумане, и перестаешь видеть верную дорогу.

Потом она работала, принимала кровь. Очередица была во весь коридор. Несколько раз заглядывала в секретариат к Алине Аполлоновне – не звонил ли Антон. Была в одиннадцать – ничего; в двенадцать – ничего; в час мымра сказала, что Клобуков звонил пять минут назад (эх!). Передал, что оперируют сразу на восьми столах и что скоро, наверное, он освободится. В следующий раз свяжется через час.

Без десяти минут два Мирра в дверях канцелярии столкнулась в дверях с каким-то гражданином. Сам маленький, а локоть будто из чугуна – так двинул, что она аж вскрикнула.

Конечно, обругала:

– Куда прешься, как из пушки?

Человек молча глянул на нее. Лицо странно неподвижное, через щеку сабельный шрам, а глаза бешеные, будто сейчас покусает.

– Что вылупился? – рявкнула на него Мирра, потирая ушибленное плечо. – Извиняться надо!

Думала, он нахамит в ответ, а он процедил «пardon» и пошел себе, цокая подкованными сапогами. Черт знает кто такой. Словечко-то какое – «пardon»!

Тут же про него забыла, потому что Алина говорит: «Где ж ты была? Антон Маркович только что звонил».

Ужасно Мирра расстроилась.

– Что сказал?

– Я с ним не говорила.

– Как это?

– Был посетитель, про Клобукова спрашивал. Его фронтовой товарищ. Дело какое-то у него, срочное. Тут как раз Антон Маркович звонит. Я и передала трубку. Кажется, они условились где-то встретиться.

– А мне Антон ничего не передал?

– Нет. Этот человек, со шрамом, вежливый такой, но очень странный, разъединился.

– Да кто он такой? Назвал имя?

– Мне он представиться не успел, а в трубку Антону Марковичу сказал, отрывисто так... – Алина наморщила лоб, припоминая. – «Это Сокольников. У Петра Кирилловича, помните? Севастополь. Нужно встретиться. Срочно». Потом помолчал – слушал, что Антон Маркович отвечает. «Всё понимаю, – говорит, – но время не терпит. Дело совершенно безотлагательное. Скажите где». И дальше Антон Маркович ему, наверное, что-то про место объяснил, потому что этот Сокольников коротко сказал: «Ясно. До встречи». Разъединился, поблагодарил меня и вышел. Ты должна была его видеть.

Фронтовой друг? По Конармии? Как интересно! Это Мирра в первую минуту так подумала. А потом спохватилась: где Конармия и где Севастополь? Это же Крым! А в Крыму кто был? Врангель! И Антон там, у Врангеля, служил, пока не перешел к нашим!

О, господи...

Кинулась догонять, еще ничего не решив.

В длинном коридоре маленького человека уже не было. Она через две ступеньки слетела по лестнице, выскочила на улицу, огляделась.

Вон он! На остановке. Стоит, беспокойно оглядывается.

Мирра зевнула. Медленно двинулась по тротуару, глядя в другую сторону. Издали как раз катил «пятнадцатый». Как обычно – битком. Надо сесть через переднюю дверь. Не заметит.

Вдруг подозрительный человек сорвался с места, выбежал на мостовую. Увидел извозчика. Стал с ним договариваться. Мирра ускорила шаг.

Услышала, как кучер, отворачиваясь, бурчит:

– На Пятницкую так на Пятницкую...

Едет к Антону домой? В его крепость, куда чужим доступа нет?

В подъехавший трамвай Мирра ворвалась, как с шашкой врубилась. Поработала локтями, не обращая внимания на брань. Пробилась к правому окну.

Вагон как раз обгонял пролетку.

Сокольников сидел прямой, будто каменный. Глядел своими жуткими глазами вперед. Кто такой? Что за срочное дело у него к Антону? Что за «Петр Кириллович»?

Нехорошо было на сердце. Страшно.

На Зубовской повезло с пересадкой – как раз подошел «Б», поэтому до Добрынинской площади, где поворот на Пятницкую, Мирра доехала быстро, намного раньше извозчика. Шла по улице в сторону клобуковского дома, оглядываясь.

Едет!

Отвернулась, когда коляска грохотала мимо. Потом ускорила шаг.

Но Сокольников сошел раньше. Расплатился, нырнул в подворотню бывшего доходного дома. Значит, он не к Антону? А куда?

Боясь отстать, Мирра припустила к арке бегом.

Там после улицы было темно, ничего не видно кроме светлого проема впереди. Но до выхода Мирра не добралась.

Сзади и сбоку ее схватили: одной рукой сжали горло, ладонью другой заткнули рот.

Она лягнула напавшего каблуком по голени. Должно было выйти очень чувствительно, но тот даже не охнул, только крепче стиснул шею, так что потемнело в глазах. Стальной палец с безошибочной точностью ткнул в нижний сегмент челюсти, где находится подбородочный нервный узел. Мирра замычала от невыносимой боли.

– Еще будешь брыкаться? – спросили в ухо.

Она попробовала прокусить ладонь, прижатую к губам. Палец ткнул снова, еще сильнее. Мирра подавилась криком, которому было некуда вырваться.

– Будешь?

– Мммеее. – Она мотнула головой.

Ни сил, ни возможности сопротивляться не было. Сердце разрывалось от ужаса. Мирра вспомнила, как воображала, будто ее насилуют, а она не дается, бьется до последнего. Оказывается, всякой борьбе есть предел.

– Закричишь – воткну, – тихо сказал голос.

Мощные руки рывком развернули Мирру и прижали спиной к стене. Прямо перед глазами посверкивало хищно заостренное лезвие финского ножа. Она посмотрела на тусклый блеск стали, на желобок для стока крови – и с трудом перевела взгляд выше.

Неистовые глаза Сокольникова сверкали таким же мертвым блеском.

– За каждый вопрос, на который не ответишь, буду колоть вот сюда.

Острие коснулось щеки, где подглазничный нерв, еще более чувствительный. Черт его знает, кто он такой, этот Сокольников, но в анатомии он разбирается.

Ладонь со рта он снял, а нож, наоборот, придвинул.

– Говори: как вы меня рисовали?

Она не поняла, моргнула.

– Кто «мы»?

Глаза угрожающе сузились.

– Я видел тебя в клинике. Потом у трамвайной остановки. Потом сразу здесь, на улице. Таких совпадений не бывает. Я слышал, что в ЧК работают бабы. Но что филерами – не знал. Как вы вышли на след? Откуда узнали, что я появлюсь в клинике? Ну!

Так и есть. Офицерюга. Врангелевец. Ах, Антон, Антон...

– Я на двух трамваях приехала. На «пятнадцатом» и на «Б». Поэтому быстрее извозчика. А за вами я поехала, потому что вы искали Антона Клобукова.

– И что?

– Он мне тоже нужен.

Белогвардеец молчал, сверлил лицо своими буравчиками.

– Стоять смирно.

Нож спрятал, стал обшаривать – сноровисто, не пропуская ни сантиметра. Время от времени отдавал короткие приказы.

– Руки в стороны... Ноги широко. Шире!

Всюду залез, скотина. Даже в промежность. Всё, что находил, собирал в левую руку: расческу, платок, документы, ключ, кошелек.

Наконец отпустил. Достал фонарик, стал рассматривать изъятое.

Мирра боялась уже меньше. Во-первых, потому что Сокольников не парализовал ее своим удавчим взглядом, а во-вторых, появился план. Вмазать гаду коленом в пах, отпихнуть и с криком на улицу. Вон она, Пятницкая, в десяти шагах. Там светло, там люди ходят.

– Мирра Носик, – брезгливо сказал страшный человек, глядя в студенческий. – Жидовка. Ладно, документы ваша контора какие хочешь нашлапает. Это что?

В руке у него была фотокарточка рогатого Логинова. Однако, перевернув и прочитав надпись, Сокольников взглянул на Мирру уже по-другому, без прежней угрозы.

– Вы Антону Клобукову кто?

По тону, по обращению на «вы» Мирра поняла: убивать ее прямо сейчас он не будет. И бить беляку коленом по яйцам передумала. Черт его знает, дьявола железного. Может, у него там булыжники, только ногу отобьешь. Вон когда лягнула его каблуком по голени, он даже не охнул, а там, между прочим, надкостница – нормальный человек заорал бы благим матом.

Из всех возможных ответов она выбрала самый короткий:

– Невеста. А вы кто? Что вам от него нужно?

У Сокольниково лицо – впервые за все время – пришло в какое-то движение: он удивился. Но не так, как удивляются нормальные живые люди, а будто попытался вспомнить, каково это – удивляться, да не вспомнил. Качнул головой.

– Хм, невеста... Я и забыл... Чуть не прикончил...

Он не договорил, но Мирра догадалась, про что он забыл. Что у кого-то на свете еще бывают невесты.

– Антон вам про Севастополь рассказывал? – спросил Сокольников возвращая всё отнятое и пряча финку в рукав (там, кажется, был чехол).

– Что он был у Врангеля? Да.

– Про меня рассказывал? Я – капитан Сокольников.

– Нет.

– И правильно. – Капитан посмотрел на часы, что-то прикидывая. – Ладно, нет времени на разговоры.

– Так кто вы?

– У него потом спросите. – Сокольников еще поколебался секунду-другую. Принял какое-то решение. – Извините, сударыня, вам придется пойти со мной. Не могу рисковать.

– Куда пойти, к Антону?

До клобуковского дома отсюда было всего пара минут.

– Нет. Он велел ждать его во дворе номера 51. Я нарочно раньше слез. Чтобы вас взять. Думал, слезка... Идемте. Время дорого.

Взял ее под руку, крепко. Вывел на Пятницкую.

Пятьдесят первый был всего через два дома. Там тоже подворотня. Зашли, остановились.

– Стойте здесь. Молча, – велел контрик, осторожно выглядывая из тени на улицу.

Мирра сказала себе: «Это диверсант. Террорист. Очень возможно – из тех, кто ночью кинул бомбу в общежитие ГПУ. Надо его обезвредить. Но как?»

И тут вдруг услышала донесшуюся откуда-то команду:

– Взвод, запе-вай!

Чистый звонкий голос вывел:

Нас не сломит нужда,
Не согнет нас беда,
Рок капризный не властен над нами, –

И тут же, во много глоток, подхватили:

Никогда, никогда,
Никогда, никогда
Коммунары не будут рабами!!!

Мирра тоже выглянула.

В сторону Садового маршировали красноармейцы, человек тридцать. У каждого под мышкой деревянная шайка.

Мыться идут. Там, на Житной, бани.

Пересохло в горле, задрожали колени.

Ну, комсомолка Носик, не трусь! Красноармейцы безоружные, а у беляка наверняка не только нож. Но наших много. Не уйдет, гадина!

– Неплохо строй держат, – удивленно пробормотал Сокольников, не догадываясь о Мирриных намерениях. – И унтер-офицер бравый...

Колонна протопала мимо. Мирра осталась на месте. Не из-за того, что струсила.

Из-за Антона.

Ведь если бы взяли капитана и выяснилось, что у него встреча с аспирантом Клобуковым... Нет, хуже. Если выяснится, что Антон связан с белогвардейским подпольем...

Дальше мысль идти отказывалась, но уже этого хватило, чтобы на Мирру накатила паралич.

Антон – враг? Бред. Не может быть!

Но ведь Сокольников этот – точно враг...

– Идет, – сказал капитан. – Как обещал. Долго ждать не заставил.

По тротуару, все время оглядываясь, быстро шел Антон.

Мирра отшатнулась вглубь подворотни. Ей снова стало очень страшно. Еще страшней, чем когда перед лицом сверкал финский нож.

Что он скажет, когда увидит ее здесь? Вдруг что-нибудь... ужасное?

Она зажмурилась.

– Капитан! Тихон... Андреевич! – послышался голос Антона – с запинкой, как будто он не сразу вспомнил отчество. – Вы от Петра Кирилловича? Но я думал, он давно в Париже или еще где-то там?

– Я тут не один, – оборвал его Сокольников. – С вашей невестой. Так вышло. Долго объяснять.

Мирра обреченно открыла глаза, готовая ко всему. Например, что увидит звериный оскал на изменившемся до неузнаваемости лице.

Если Антон скажет: «Никакая это не невеста, а одна прилипчивая жидовочка из университета, прикончите ее» – она не удивится. Получается, что она совсем, совсем его не знает...

Лицо у Антона действительно было не такое, как всегда, а испуганное.

– Мирра? – пробормотал он. – Ты, наверно, бог знает что подумала... Это мой старый знакомый, еще с крымских времен. Я не знаю, как Тихон Андреевич меня отыскал. Мы с двадцатого года не виделись.

– Потом поговорите, – перебил капитан. – А нашел я вас очень просто. У меня товарищ тяжело ранен. Пулей в живот. Необходима срочная помощь. Мы здесь, как вы понимаете, нелегально. В больницу не обратишься. Стал смотреть по адресной книге хирургов. Наткнулся на знакомое имя. Хирургическая клиника какого-то «Первого МГУ», ассистент-наркотизатор А.М.Клобуков. Редкая фамилия, инициалы совпадают... У вас дома что-нибудь есть? Инструменты, лекарства?

– Есть саквояж с самым необходимым. Но только для анестезии. Я ведь не хирург...

– Анестезия – отлично. Он сильно мучается, препаратов никаких. Едемте. И придумайте, где взять хирурга. Такого, чтоб не выдал и не струсил.

– Пулей в живот? – Антон нахмурился. – Погодите... Мне рассказали, что сегодня ночью, во время перестрелки около общежития ГПУ, один из нападавших был ранен. Остались следы крови.

– Да, это были мы, – бесстрастно подтвердил Сокольников. – Не повезло. – Глянул на Мирру. – А что с вашей невестой? Ей можно доверять? Извините, мадемуазель, но я отвечаю за товарища.

– Конечно, – быстро сказал Антон. – Я ручаюсь. Мирра, ты иди. И прости меня, пожалуйста, что... так вышло.

– Да-да, мадемуазель, идите. – Капитан сразу утратил к ней всякий интерес. – Давайте, Антон Маркович, несите ваш саквояж. Я пока найду извозчика.

Стараясь не смотреть Мирре в глаза, как-то боком, Клобуков попятился из подворотни, развернулся. Часто застучали каблуки – побежал.

Сокольников, не попрощавшись, тоже вышел на улицу, прямо на середину мостовой. Посмотрел вправо, влево. Должно быть, увидел вдали извозчика.

– Эй, ванька! Сюда! Куда?!

Кажется, тот не услышал.

Мирра решительно двинулась к капитану. Тот, услышав за спиной шаги, резко развернулся, сунув руку в карман черного пальто.

– Что вам еще?

– У нас извозчиков так не подзывают. Вы себя выдадите. Надо кричать «гражданин извозчик!»... Но дело не в этом. Я хирург... Почти хирург. Учусь на пятом курсе.

– Женщина – хирург? – Страшный человек слегка качнул головой. Мирра уже знала, что так он выражает удивление. – Ладно, не до жиру. В любом случае лучше, чем липший риск... Эй, гражданин извозчик!

Заметил свободную коляску. Сели. Велел немного подождать.

Через минуту-другую показался Антон – шагал торопливой походкой с саквояжем в руке. Заметил Мирру. Остановился. Перешел на бег.

– Ты почему здесь?

И лицо опять ужасно испуганное, как в подворотне.

– Я хирург. Ты забыл?

Он молча смотрел на нее. В глазах читался вопрос: ты будешь помогать *им*?

Мирра отвернулась. Оставить его наедине с этим вурдалаком? Ни за что на свете.

Капитан сказал извозчику:

– Давай на Калужскую заставу. Там покажу.

– Расскажите про ранение, – очень тихо попросил Антон. – Как можно подробнее. Мирра, придвинься. Слушай.

Она кивнула.

– Пуля навyleт. Вошла вот сюда. Выходное – тут. – Сокольников показал на себе. – Что я мог? Ну, заткнул ватой. Кровотечение остановилось. Сознания он не терял. Стонет всё время. Грызет руку.

– Видимо, поперечная ободочная, – сказала Мирра не капитану, а Клобукову. – Возможно, нижняя часть двенадцатиперстной. Судя по тому, что боль держится, задето нервное сплетение. Главное – что почка и позвоночник? Но сквозное – это хорошо. Доставать пулю нечем. Во что он был одет? – Это уже Сокольникову.

– А? – снова удивился тот.

– Куртка, пальто из чего? Внизу что?

– Пальто. Драповое. Внизу френч.

– Драп плохо. Значит, рана грязная. Ворсинки. А у меня ни зонда, ни пинцетов... Вся надежда на анестезию.

Антон покивал, соглашаясь. Попросил:

– Расскажите про раненого. Всё, что знаете. Склад личности, характер. Я должен правильно подобрать инъекцию.

Сокольников засопел. Задача показалась ему сложной. Такой

деревянный-железный вряд ли разбирается в людях, подумала Мирра. Потому что он сам – нелюдь.

– А черт его знает... – Впервые в голосе капитана звучала неуверенность. – Я с этим Колычевым в Париже и знаком не был. Навязали против моей воли... Мальчишка совсем, лет двадцать. Из России уехал кадетом. Пороха не нюхал. Смелый. Но у нас все смелые... Что еще? Нервный, дерганный. Ночью из-за него сорвалось – слишком суетился... Больше не знаю что... Он всю дорогу говорил, рассказывал про себя, да я не слушал. Думал о задании.

– Зачем было бросать бомбу в общежитие? – спросил Антон не про медицинское. – Там же просто рядовые бойцы. Неужели Петр Кириллович считает, что таким способом можно чего-то добиться? В этом нет никакого смысла!

– Петра Кирилловича давно нет. Умер в Константинополе. Вскоре после эвакуации...

Антон жалобно охнул. Неизвестный Петр Кириллович, видимо, был для него важным человеком.

– ...В больнице для бедных. Совсем один... Я в Галлиполийском лагере торчал, в карантине. Иначе не допустил бы... – Голос Сокольников был бесстрастен. – Про смысл я не знаю. Не моего ума дело. Это пусть стратеги думают. Но я знаю одно. – Зло кашлянул. – Надо давать сдачи. Капитулировать нельзя. Общежитие для чекистской шушеры – цель правильная. Всё зло от мелких чертей, без них главные бесы ничего не могут. Это не Менжинский с Ягодой, а рядовые чекисты арестовывают, конвоируют, расстреливают. Так пусть уяснят, что мы спросим с каждой сволочи. С каждой. Служишь дьяволу – плати.

Враг, злобный, махровый белогвардеец, думала Мирра. Такие не успокоятся, оружия не сложат. Или мы их, или они нас. По-другому не будет.

Как спасти Антона? Как?

– Повернешь за угол – остановись, – громко велел вознице Сокольников. Шепотом пояснил: – Тут довольно близко. Дальше пешком пойдем. Точное место ему знать незачем. В Совдепии все извозчики стучат. А чекисты сейчас землю роют. Нас ищут...

* * *

Местность была совсем деревенская: кривые деревянные дома, серый от старого, просевшего снега овраг. На железнодорожном мосту гудел, харкал копотью маневровый паровоз.

Шли гуськом по утоптанной тропинке, меж; желтых от собачьей мочи сугробов вдоль какого-то штакетника; свернули в проход меж; дровяных сараев. За пустырем темнел длинный барак, в каких до революции жили фабричные, а теперь – кто угодно.

– Жуткая дыра, – полуобернулся Сокольников, словно извиняясь. – Зато с отдельным входом.

На низеньком крыльце приложил палец к губам:

– Стенки тонкие, чуть не картонные. Пожалуйста, тише. Черт их знает, соседей...

В убогой комнате на железной кровати лежал голый по пояс человек и издавал едва слышные, странные звуки. Его голова была накрыта подушкой, руки зажимали перевязанный бинтами живот.

– Колычев, это я! – тихо позвал капитан.

Подушка сдвинулась. Мирра увидела очень молодое, очень белое, удивительно красивое лицо: огромные черные глаза, ясно прочерченные брови, непрерывнодвигающийся сочный рот, из которого почему-то свисала тряпка.

– Что это вы? – спросил Сокольников.

Лицо дернулось в попытке улыбнуться. Тонкие пальцы вытянули изо рта кляп.

– Вот... Грызу, чтоб не заорать... Застрелился бы давно, но, боялся, эти, – кивок на стену, из-за которой доносилось прерывистое хныканье младенца, – милицию вызовут. Устроят засаду. А вы вернетесь и попадете... Потом сообразил, что можно же через подушку. – Он тронул лежащий рядом пистолет. – Лежал, с духом собирался. Еще минута-другая, и стрельнул бы. Мочи нет, как больно... Кого вы привели? Врача?

Юноша, кажется, только теперь заметил, что капитан не один. У человека с тяжелым ранением при лихорадке и сильном болевом синдроме очень сужается обзор.

– Да. Я же обещал. Глупости какие – стреляться. Это свои. Не выдадут. Волк лесной тебе «свой», подумала Мирра.

– Девушка...

Раненый смотрел на нее. Снова попытался улыбнуться.

– Вы сестра милосердия?

– Я хирург... Руки с живота уберите. На спину откиньтесь и не шевелитесь. А вы, – она коротко глянула на Сокольникова, – достаньте

где хотите кипяток. Вязальную спицу или шомпол – что-то длинное, тонкое. Надо прочистить раневой канал. Еще иглу и суровые нитки. Колычев, или как вас, грызите свою тряпку. Сейчас буду осматривать рану.

Парень послушно зажал зубами ткань и хотел откинуться назад, но Антон удержал его за плечи.

– Наоборот, наклонитесь вперед, сколько сможете. А боли не бойтесь, ее больше не будет. Всё самое страшное позади. Сейчас отпустит...

Он быстро раскладывал на табурете свое хозяйство. Заправил шприц.

– В позвоночник? – спросила Мирра.

– Да. Подействует моментально. Потом местную новокаином 0,75 вокруг входного. И еще легкую дозу эфира. Будешь работать спокойно, обещаю. Через десять минут, ладно?

– Ой как хорошо... – не проговорил, а будто пропел раненый после уколов и ингаляции. – Как хорошо... Вы не представляете, доктор, как ужасно превратиться из мыслящей личности в комок истерзанной плоти. – Он смотрел только на Мирру, очевидно, считая ее главной. А может быть (пришло ей в голову) на женщину раненому смотреть было приятней. – Я читал, что Пушкин, умирая от раны в живот, тоже ужасно мучился... И, главное, тоже нельзя было кричать, потому что в соседней комнате маялась жена...

Как он вообще из своего Парижа до Москвы добрался, думала Мирра, дожидаясь, когда вернется Сокольников. С такой манерой разговаривать, с такой внешностью должны были сто раз сдать куда следует. Тоже еще, конспираторы...

Вернулся капитан.

– Вот вязальная спица. Одолжил у соседей. Вот чайник, только с плиты. Будут другие распоряжения?

Вот и для него Мирра стала начальницей. «Возьми пистолет и застрелись, сволочь, вместо этого мальчишки» – такое она отдала бы ему распоряжение.

Антон уже прокаливал спицу на спиртовке. Мирра, продезинфицировав руки, ощупывала на спине выходное отверстие, пыталась как можно точнее рассчитать траекторию, а заодно проверяла, как работает анестезия.

– Вы из Парижа? – спросила она.

– Да. Учусь... учился в Эколь Политехник. Хочу... то есть хотел выучиться на конструктора летательных аппаратов.

Тело у него было гладкое и нежное, как у младенца.

– Значит, у вас там всё было хорошо, в Париже? – заговаривала ему

зубы Мирра, просовывая мизинец в раневой канал. – Зачем же вас сюда-то понесло?

Колычев ничего не чувствовал. Не зря профессор Логинов платит помощнику по тридцати рублей за операцию.

– Так ведь Родина же... Оттуда казалось, что она изнемогает, страдает. Своих в беде бросать нельзя... – Его лицо было совсем рядом от ее щеки, так что кожу щекотало дыханием. – А попал в Россию – всё оказалось не так. Не так, как я запомнил. Люди другие. Всё другое. Самое ужасное – не чекисты с комиссарами, их действительно уничтожить можно. Но что делать с людьми, с обычными людьми? Эти разговоры, эти лица, эта речь... Не в большевиках дело, вот в чем штука. Они, конечно, злодеи, им и положено быть злодеями. Они на стороне Зла. Но я тут общался с разными людьми, в том числе неглупыми и даже вполне хорошими. Как же легко они находят оправдание Злу! Как охотно к нему приспособливаются! Знаете, что я вам скажу, доктор... Злу со своими сторонниками повезло гораздо больше, чем Добру со своими. И перебежчиков с нашей стороны на ту больше, чем с той на эту. Впрочем, оно понятно даже и с физической точки зрения. Душе, как и физическому телу, легче дается падение, чем подъем...

– Это вас от эфира развезло, – сказала Мирра, потому что не спорить же с пациентом. – Кончаем философию. Сейчас поговорю с ассистентом и будем работать.

– Хреново, – шепнула она Антону. – Судя по траектории, позвоночник-то...

А раненый всё не умолкал:

– Господи, дорогие мои медики, смотрю я на вас двоих, и просыпается надежда. Не потому что вы меня, может быть, спасете, а потому что не все здесь, значит, оболванены. Я знаю, как вы рискуете. Свободой, жизнью – всем. Спасибо вам. И вам, Тихон Андреевич, что тащили меня на себе, что возитесь со мной...

Его голос растроганно задрожал, а Мирра спросила капитана:

– Он что, сам идти не мог?

– Сначала кое-как шел, потом я дотащил до пролетки. Она в переулке ждала. Сюда уже на руках вносил... – ответил Сокольников – громче, чем следовало. Колычев услышал.

– Это что значит? У меня поврежден спинной мозг? То-то я ничего ниже пояса не чувствовал... Оно теперь навсегда так?

– Почему я знаю? – сердито сказала Мирра. – Все, что я могу в этих условиях, продезинфицировать и зашить дырки.

– Вас нужно переправить в нормальный госпиталь, – добавил Антон. – Операция нужна.

– Нас всех нужно переправить в нормальную жизнь. – Колычев грустно улыбнулся. – Только где ее взять... Послушайте, госпожа доктор. Прежде чем вы... приступите, я хочу помолиться. Укрепить дух и волю. Оставьте меня на две минуты одного. Господа, вас тоже прошу...

Они втроем вышли на крыльцо.

– Насчет спинного мозга он прав? – встревоженно спросил Сокольников. – Не сможет двигаться?

– Может быть, не перебит, а только травмирован, – пожала плечами Мирра. – Тогда через некоторое время функции восстановятся. Но, конечно, не в таких условиях.

– Время, – напомнил Антон, не отрывавший взгляда от часов. – Я дал минимальную анестезию, она продержится недолго.

Из комнаты донесся глухой звук, будто там кто-то кашлянул или что-то выплюнул.

Капитан шипяще выругался, бросился внутрь.

– Что это было? – захлопал глазами Антон.

– Черт его знает...

Сокольников стоял, загораживая кровать. В воздухе пахло порохом.

– Всё. Теперь всё. – Капитан нагнулся. – Застрелился. Через подушку.

Мирра кинулась вперед. Увидела кровь и перья вокруг черной дырки на виске. Увидела широко открытый, смотрящий вверх глаз.

– Мальчик поступил правильно. – Капитан накрыл мертвое лицо подушкой. – Всё, уходите. Я дождусь ночи и похороню его. Мы своих не бросаем. Даже мертвых. Спасибо, Антон Маркович. Больше не увидимся. И вам, мадемуазель, спасибо. Идите, идите...

На улице уже смеркалось – и когда только успело?

– Он будет убивать еще, – сказала Мирра. – Он за этим сюда приехал. Его надо остановить.

Клобуков устало потер глаза.

– Как ты его остановишь?

– Очень просто. Надо пойти и сообщить в органы. Только надо вдвоем. Иначе ты получишься соучастник.

Он удивленно уставился на нее.

– Как это «в органы»? Донести, что ли? Предать человека, который тебе доверился? Брось!

Мирре захотелось схватить его за шиворот и как следует потрянуть,

чтобы вышибить дурь. Сдержавшись, она объяснила:

– Доносили в царскую Охранку. В ГПУ сообщают. А предают только своих. Этот же – враг, лютей. Я не буду покрывать белогвардейца, который убивал и будет убивать моих товарищей!

– Ну, тогда иди без меня. – Он остановился. – А я вернусь и предупрежу Сокольникова. Каждый из нас поступит в соответствии со своими правилами.

«И тебя, дурака, посадят, а потом шлепнут!» – чуть не крикнула Мирра. Сжала ладонями виски, закрыла глаза. Предательница, вот ты кто – подлая предательница.

– Ладно... Никуда я не пойду. Идем отсюда... Что встал? Сказала же...
Взяла его за руку, потянула за собой.

– Как же я рад, что ты поняла! Ни при каких обстоятельствах, ни по каким резонам нельзя предавать того, кто тебе доверился! И неважно, кто это!

Мирра уныло кивнула.

Понять-то она поняла, только совсем другое. Что никакой она не строитель нового мира, а баба. Жалкая, поганая баба, которой всё равно: пускай кровавый палач Сокольников убивает кого хочет, пускай сгинет молодая Советская республика, только бы с ее хахалем ничего плохого не случилось.

Всегда думала про себя, что она человек с принципами, с убеждениями. Нет. Бессовестная, примитивная самка.

Стыдно, как стыдно...

Ангелиз Любви

До сих пор я лишь переходила, явные суждения, с одной из которых (например, аргументе оспаривая, да и наоборот) на то, как мало меня интересует существующие теории и толкования любви и вот наступил момент, когда пора переходить от "двух лагерей" к сути. По моему мнению, собственное слово дух не знает до какой степени ценное. Приступая к этой работе, я могу себе позволить не без разбора.

Для того чтобы сделать работу прочнее более критичными, я решила руководствоваться хорошо знакомыми мне принципами самодисциплины Ангелиза. В сущности, ничего такого дух французского в таком порядке не. Любви вполне можно трактовать как заболевание, и существующее исключительно биологическому виду Homo Sapiens. Почему заболевание? Да потому что это заболевание сильно (и не всегда благоприятно) воздействует на психическое здоровье, а кроме того приводит к состоянию, при котором опасного поведения, то есть приводит к дисфункциям интеллекта, а следовательно, заботливого во все остальное, здоровья. (При этом)

(Из клетчатой тетради)

Анамнез Любви

До сих пор я лишь пересказывал чужие суждения, с одними из которых соглашался, а другие оспаривал, да жаловался на то, как мало меня удовлетворяют существующие теории и толкования Любви. И вот наступил момент, когда пора переходить от «обзора литературы» к сущностному разделу, в котором придется сказать собственное слово – уж не знаю, до какой степени ценное. Приступаю к этому этапу моего исследования не без робости.

Для того чтобы сделать рабочий процесс более привычным, я решил руководствоваться хорошо знакомым мне принципом составления анамнеза. В сущности, ничего такого уж странного в таком подходе нет. Любовь вполне можно трактовать как заболевание, присущее исключительно биологическому виду *Homo sapiens*. Почему заболевание? Да потому что это состояние сильно (и далеко не всегда положительно) воздействует на психическое здоровье, а кроме того, нередко становится причиной опасного поведения, то есть приводит к дисфункции инстинкта самосохранения, заложенного во все живые существа. (При этом я, конечно же, в отличие от литераторов XVIII века, вовсе не считаю Любовь болезнью, а всего лишь применяю инструментарий, которым обучен пользоваться.)

В нарушение обычной последовательности я начну с «клинической картины», поскольку она очень хорошо известна, и лишь потом перейду к «патогенезу», так как он дискуссионен, и моя версия, возможно, никого кроме меня самого не убедит.

Затем я опишу стадии, через которые проходит Любовь в своем развитии. Это должно быть не очень трудно. Помогут собственный опыт и – в существенно большей степени – прочитанная литература по данному вопросу (главным образом, художественная).

По понятным причинам не будет лишь резюмирующей части «Лечение», хотя должен оговориться, что среди разновидностей Любви есть и такие, которые следует отнести к разряду губительных для личности и даже для жизни патологий. Я намерен рассмотреть деструктивные ответвления Любви в особом разделе – правда, коротко. Ибо, повторю еще раз, главным предметом моего интереса является Любовь созидающая, а не разрушающая – та, которая выводит пару на уровень НЛ и производит ту же облагораживающую работу, что и стремление к аристократии, просто

достигает цели иными средствами.

«Клиническая картина»

Попробую выделить симптомы, по которым Любовь можно отличить от иных внешне сходных состояний, часто называемых тем же словом. Я долго работал над этим перечнем, что-то прибавляя или что-то вычеркивая, руководствовался принципом «необходимого и достаточного». В конце концов набралось тринадцать, «чертова дюжина» опознавательных признаков, каждый из которых является обязательным.

1. **Взаимность.** Любовь неразделенная, невостребованная – это печальное событие из области внутренних переживаний одного человека. Для Любви, которую имею в виду я, потребны два интенсивно мотивированных участника.

2. Сочетание духовного и телесного начал.

Совершенно ясно, что одной либидозной составляющей для Любви недостаточно, но и без нее, лишь на душевном притяжении, настоящего любовного союза не построишь. Это будет античный «филос»: близкая дружба, искренняя симпатия, совпадение взглядов и вкусов – что угодно, но не полное слияние двух «я», любящих друг друга во всей живой человеческой цельности, которая состоит из духа и неразделимой с ним плоти. Как можно Любить – и при этом не желать прикоснуться к Любимому, прижаться, слиться в одно тело? Это не Любовь, а любовь – явление другого порядка.

3. **Монополизм**, то есть однонаправленность. Нельзя Любить двоих или нескольких. В Любви бывает только кто-то один, на котором, если использовать два замечательных русских выражения, «свет сошелся клином» и без которого «свет не мил». Именно так: существование одного человека должно перевешивать существование всего остального света. Иначе это не Любовь.

4. **Незаменяемость.** Монополизма, конечно, недостаточно. Мало ли влюбчивых людей обоего пола, которые, как бабочка с цветка на цветок, перелетают от одной пылкой привязанности к другой. Нужно, чтобы никто

и никогда не смог бы заменить тебе именно этого человека, а ему – тебя. Для всякого живого создания, обретающегося в коконе своих ощущений и переживаний, естественна убежденность, что на свете есть только одно абсолютно незаменимое существо – ты сам. Но Любовь раздвигает границы этого привилегированного статуса ровно вдвое.

5. С незаменимостью тесно связан следующий признак: **Пожизненность**. Пока Любящий жив, связь с ним прерваться не может. Для Любви (в отличие от обычного брака, где всякое случается) стандартная клятва «пока смерть нас не разлучит» звучит как констатация неоспоримого факта. Я долгое время полагал, что Любить вообще можно всего один раз в жизни, и, если случилось несчастье, которое унесло твою вторую половину, повторная Любовь невозможна. Однако сейчас мне кажется, что такие случаи хоть и редко, но бывают. Впрочем, от окончательного суждения по данному поводу пока воздержусь.

6. **Готовность к изменению**. Человеческая личность не статична. На протяжении всей своей жизни мы постоянно меняемся. Поэтому совершенно очевидно, что пожизненно сохранять Любовь могут лишь партнеры, готовые (и способные) меняться в соответствии с переменами, происходящими в Любимом. Когда человек Любит, он добровольно отказывается от свободы, соглашается зависеть от Любимого, то есть приспособливаться к нему. Всякое самоограничение не воспринимается нами как несвобода – до тех пор, пока оно остается добровольным. Карл Юнг писал, что взаимодействие двух «я» подобно реакции, происходящей между двумя химическими веществами; оба компонента не остаются прежними. В Любви эта «реакция» является постоянным процессом, причем иногда движущимся в непредсказуемом направлении. Чтобы связь не ослабела и не прервалась, чтобы не иссякла добровольность, необходимо Любить партнера не просто «таким, какой он есть», но и «таким, каким он может стать». Если относиться к взаимной эволюции с доверием и сочувствием, если быть готовым соответствовать этой эволюции, Любовь никогда не кончится. Никто никого не разлюбит.

7. **Заинтересованность**. Всё, связанное с партнером, даже пустяк, волнует Любящего, кажется ему интересным и важным. Стрдание, неудача, позор Любимого воспринимаются как собственная беда; успех и любое счастливое событие вызывают радость или гордость. Состояние, противоположное сильной Любви, – не лютая ненависть и не отвращение,

а равнодушие, эмоциональный ноль. Когда человек кого-то действительно разлюбил, прежний партнер становится безразличен, неинтересен. От него хочешь только одного: чтобы он исчез из твоей жизни и больше не занимал в ней места, которому перестал соответствовать.

8. С этим признаком соединен другой: **партнерство в горе**. Имеется в виду естественная готовность делить на двоих любое несчастье, обрушивающееся на партнера, и при этом не чувствовать, что приносишь себя в жертву. Истинно Любящим можно не давать обет «быть вместе в здравии и болезни, в радости и в горе» – они по-иному и не смогут. Тем, кто Любит, легче испытывать тяготы вместе, чем существовать безбедно и бесппроблемно в отрыве друг от друга.

9. **Незащищенность**. Поллюбить – означает полностью разоружиться перед Любимым. Обычно в отношениях с другими мы насторожены, готовы дать отпор, запереться на все засовы или «отойти на заранее подготовленные позиции». Однако перед Любимым обнажаешь не только тело, но и душу, поэтому Любовь можно назвать «операцией на открытом сердце».

10. Нечего и говорить, что согласие на незащищенность предполагает немалую **Смелость**, даже бесстрашие. Потому что в Любви очень много страшного. Ведь можно обмануться и остаться с разбитым сердцем. Хуже того: мы знаем, что Любовь неизбежно закончится утратой, потому что все смертно. В жизни, в отличие от литературы, ситуации, когда двое «жили долго и счастливо и умерли в один день» случаются крайне редко. Мои родители были друг с другом счастливы и умерли в один день, но в нынешнем моем возрасте мне совсем не кажется, что они жили долго – оба были моложе меня, и воспоминание о том, как их жизнь закончилась, всегда вызывало у меня содрогание и ужас перед Любовью. Трус не способен Любить по-настоящему, а если способен, то это уже не трус. Среди мужчин больше распространена физическая храбрость, среди женщин – храбрость в Любви, и цена первой ниже, чем цена второй, потому что физически храбрый человек рискует всего лишь своим телом.

11. **Необъективность**. К Любимому можно относиться только пристрастно, и никак иначе. Это самого себя, свои сильные и слабые качества желательно оценивать, не утрачивая адекватности, а в Любви всякая объективность воспринимается как оскорбление.

Мы не хотим от партнера справедливости – ее мы добиваемся от людей посторонних; Любимый же должен Любить даже наши слабости и извинять наши вины. Как пишет Стендаль, даже рябинка от оспы на лице возлюбленной приводит в умиление. Желание быть Любимым – это желание признания твоей неповторимости. Нужно, чтобы кто-то еще (а не только ты сам) ценил тебя превыше всех сокровищ мира. И не просто «кто-то», а тот, кого и ты наделяешь такой же ценностью.

12. Неотъемлемый элемент Любви – **Иррациональность**. Люди вроде меня, имеющие привычку всё на свете объяснять, конечно же, пробуют рационализировать и причины, по которым они Полюбили. Иногда им это даже удается, и всё же всякое разумное толкование будет самообманом.

Самое первое воспоминание о Любви у меня относится к раннему детству, когда я, вероятно, еще и слова-то этого не знал. Я ощущал притяжение и сияние, исходившее от девочки, которая жила по соседству. Рационализировать я тогда еще не научился, мне просто очень хотелось всё время смотреть на нее и быть рядом.

Во взрослые годы несколько раз бывало, что я видел какую-нибудь во всех отношениях замечательную женщину и думал: вот кого следовало бы полюбить, однако в сердце при этом ничего не происходило. Любовь приходит не по желанию и не по приговору рассудка. Она приходит – и всё. Мне кажется, что если кто-то начинает уверенно объяснять, за что именно он любит своего партнера, то здесь одно из двух: или говорящий всё это придумал задним числом, либо же он не Любит по-настоящему. Я полагаю, что человека Любят не за какие-то качества или поступки, а просто за то, *что он есть*. Самая лучшая из известных мне аргументаций сердечной привязанности (хотя речь здесь идет не о Любви, а о дружбе) принадлежит Монтеню, который пишет: «Если меня спросят, почему я полюбил его, я могу ответить лишь: „Потому что это был он; потому что это был я“».

13. Я так и не смог лаконично сформулировать последний, тринадцатый признак всякой подлинной Любви, поэтому выражусь неуклюже: она всегда **сильнее смерти**. Жизнь предмета Любви дороже собственной. Поставленный перед выбором, кого спасти – себя или Любимого, человек не задумывается. Если же спасает себя, то это была не Любовь.

Составленный мной список *обязательных* признаков Любви может

показаться чересчур жестким, но попробуйте убрать из него хотя бы один компонент, и вы увидите, что вся конструкция рассыпается. В зависимости от того, какой из пунктов дефицитен, отношения либо останавливаются на уровне «недолюбви», либо оказываются недолговечными, либо не перерастают в Настоящую Любовь, не становятся Путем – и, следовательно, выпадают из сферы моего интереса.

«Патогенез»

И все же мне не дает покоя «иррациональность» Любви. Моя профессия приучила меня считать, что необъяснимых явлений не существует – существуют необъясненные. Если человек подобного склада не находит точных и несомненных обоснований, он предлагает хотя бы правдоподобную версию, способную дать толкование исследуемому феномену. Именно это я и попытаюсь сделать.

Говоря о непостижимости сердечной связи, возникающей между двумя людьми, часто употребляют выражение «любовная химия». За эту метафору я и ухватился, сказав себе, что химия – наука, и уж у нее-то точно есть свои законы. Пусть Любящим то, что с ними происходит, кажется магией. Если они не понимают механизма Любви, это вовсе не означает, что у процесса нет логики. Всё, что возникает и потом развивается по нескольким повторяющимся алгоритмам, не может не подчиняться единым правилам – это аксиома.

Как возникает Любовь? Почему мы – как правило, без малейших колебаний, без «семь раз отмерь» – совершаем выбор, часто определяющий всю нашу жизнь: выделяем из всего людского рода кого-то одного, кто с данного момента значит для нас больше, чем остальное человечество вместе взятое – если употребить еще одну замечательную русскую идиому, «застит белый свет»? Этот выбор со стороны иногда выглядит странно, нелепо, даже парадоксально, но, может быть, он не случаен?

Многие мыслители, как мы видели, задавались этим вопросом и предлагали свои решения. В отличие от «клинической картины» Любви, которая хорошо изучена, в вопросе о ее «патогенезе» приходится довольствоваться одними только предположениями, и я думаю, что моя версия имеет такое же право на существование, как другие.

Односторонний выбор, о котором я только что говорил, – собственно,

еще не Любовь, а лишь первый шаг: фиксация на объекте (напишу об этом подробнее, когда речь пойдет о стадиях Любовных отношений). В большинстве случаев дальше первого этапа дело не движется, поскольку влюбленный не получает взаимности или разочаровывается в объекте. Но, уверен, что здесь-то, на *подходе* к Любви, и следует искать ключ ко всему явлению.

Почему мужчину с такой мощной силой потянуло именно к этой женщине? Почему женщина почувствовала, что ей нужен только этот мужчина? Не в одной же чувственности дело. Она не объясняет «монополизма» Любви – ведь вокруг обычно есть и другие сексуально привлекательные представители противоположного пола.

Здесь мне придется сделать небольшое отступление, чтобы рассмотреть вопрос о Красоте, которая, согласно хрестоматийной цитате из «Братьев Карамазовых», является «страшной и ужасной вещью». Как мы помним, сократическая линия философии и самое Любовь трактует как врожденное стремление души к Красоте. Есть и другая точка зрения, которая гласит: Красота – во взоре смотрящего, то есть мы сами назначаем прекрасным то, что любим. (Полагаю, это даже точнее. Не могу без улыбки вспомнить, как во времена уже поминавшейся влюбленности в соседскую девочку я был твердо убежден, что ее носик пуговкой является эталоном красоты и все носы другой формы казались мне безобразными.)

При этом, красота *объективная*, то есть принимаемая за таковую большинством людей, – безусловно существует на самом деле. Физическая красота сама по себе волшебство, великий дар, который сродни любому другому природному таланту. Можно привыкнуть к безобразной внешности человека, если он хорош, тем более что душевно прекрасным людям возраст всегда к лицу – чем такой человек старше, тем приятней на него смотреть. Годы сурово обходятся с так называемыми «смазливими мордашками», если привлекательность не сопровождается нравственным качеством, но давно замечено, что настоящие красавцы и красавицы, даже будучи ничтожествами или злодеями, и старятся красиво.

В красивого человека очень легко влюбиться, то есть априорно, по одной только внешности, наделить его сверхдостоинствами. Персонаж Льва Толстого в «Крейцеровой сонате» с раздражением говорит: «Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая женщина говорит глупости, ты слушаешь и не видишь глупости, а видишь умное. Она говорит, делает гадости, и ты видишь что-то милое. Когда же она не говорит ни глупостей, ни гадостей, а красива, то сейчас уверяешься, что она чудо как умна и нравственна». К красивым

людям нередко относятся с двойным презрением, если их умственный и нравственный уровень уступает внешности. Чуть ниже я предложу свое объяснение этого феномена и вообще смысла красоты на стадии зарождения Любви. Пока же замечу лишь, что с точки зрения «патогенеза» разногласие между двумя этими точками зрения (Любовь – порождение Красоты либо Красота – порождение Любви) несущественно, поскольку побудительный мотив так или иначе объясняется эстетическим фактором.

Однако «гипотеза Красоты» кажется мне заблуждением. Разве мало на свете тех, кто терпеть не может «красивости» и, наоборот, любит безобразное? В наших широтах весьма распространен тип людей, которые инстинктивно не доверяют всему красивому, видя в нем фальшь и притворство. Красивые речи вызывают раздражение; красивые поступки бесят; красивые семейные отношения кажутся показухой для посторонних. И это вовсе необязательно скверные люди. Просто они привыкли, что за пышными словесами скрывается пустота, а импозантное поведение при ближайшем рассмотрении оказывается ширмой для какой-нибудь мерзости. Я знал супружескую пару, которая с видимым удовольствием «называла вещи своими именами» и хвасталась тем, что совместно посещает отхожее место. Полагаю, что в этом бравировании некрасивой физиологичностью проявлялось стремление к искренности, подлинной близости: давай любить друг друга без косметики, без прихорашивания. Лично мне подобная стилистика отношений – безо всякого люфта между двумя личностями – совсем не симпатична, но я допускаю, что в таком виде может проявляться сильная и неподдельная Любовь.

Описывая «правильную» семейную пару, тот же Лев Толстой вкладывает в уста героев разъяснение механизма Любви, которое, по-видимому, соответствует авторской позиции. Когда Левин спрашивает Кити, за что она его любит, жена отвечает, «что она любит его за то, что она понимает его всего, за то, что она знает, что он должен любить и что всё, что он любит, всё хорошо».

Мне этого ответа недостаточно. Кити понимает всего Левина сейчас – допустим. Но ведь их Любовь началась, когда они совсем друг друга не понимали. Почему? Что такое Левин угадал и почувствовал в Кити сразу, а она в нем несколько позднее?

Мы рождаемся на свет в одиночестве, живем в «одиночке» своего тела и сознания и умираем тоже каждый сам по себе. За исключением немногих, кто, подобно Шопенгауэру, воспринимает одиночество как крепость, люди томятся своей экзистенциальной изоляцией. Потребность Любить – это жажда покончить с одиночеством. Ни дружба, ни совместное дело, ни даже

привязанность, существующая между родителями и детьми, удовлетворить этой жажды обычно не могут. В первых двух случаях недостает телесной составляющей. Близость детей с родителями, как правило, ограничивается периодом взросления.

Экзистенциальную тоску, которую испытывает большинство людей, может исцелить только Любимый и Любящий – да такой, который способен утолять этот голод на протяжении всей жизни. В идеале – твой ровесник, кому суждено появиться, существовать на свете и уйти в одно с тобой время.

Вот я и подошел к ключевому понятию: Голод. В одной из прежних глав я уже писал о том, что в сократовской смысловой паре «голод» и «красота» определяющим является не второй компонент, как утверждает античный философ, а первый. По Сократу Любовь – это голод души по Красоте. Я же придерживаюсь точки зрения Аристофана, согласно которому Любовь – взаимное притяжение двух половинок метафорического андрогина, и тогда получается, что изначальным мотивом Любви является не что иное как Голод, а уж по чему именно голодает душа – по Красоте, по безобразию или еще по чему-то – это вопрос субъективный. «Теория голода», которой я склонен объяснять побуждение к Любви, таким образом, примыкает к аристофановой «теории восполнения» и является ее частью.

Что же такое этот Голод, если оставить в стороне замечательный миф об андрогине?

Всякий голод – это состояние несытости, недостаточности. Тебе жизненно необходимо получить из внешней среды питательные элементы, без которых ты захиреешь. И если голод половой, физиологический, насыщается очень легко, то с голодом глубинным, голодом души всё намного сложнее.

Думаю, что личность, живущая в ощущении самодостаточности, никакой потребности в Любви не испытывает и никого полюбить не может. Потенцией Любить обладает лишь тот, кто ощущает свою неполноту: человеку *мало самого себя*, ему не хватает чего-то очень важного, и этот дефицит способен восполнить только кто-то другой.

Влюбленность (я имею в виду не атаку гормонов, а серьезное чувство) – это такое слюновыделение души. Она вдруг обнаруживает объект, при виде которого испытывает подсознательное ощущение, что вот оно, то блюдо, способное наконец утолить ее внутренний голод.

Так же происходит и движение в обратном направлении – когда

человек чувствует, что разлюбил. Это означает, что объект не может дать требуемого насыщения, либо перестал его давать. Бывает также, что с изменением жизненных обстоятельств или просто с возрастом личность эволюционирует, в душе возник некий новый голод, и прежний партнер удовлетворить его не в состоянии.

Кажущаяся иррациональность Любовного выбора объясняется тем, что мало кто знает, чего именно ему недостает, в чем состоит его истинный Голод. Людям свойственно неправильно истолковывать свои побуждения и поступки, видеть себя не такими, каковы они есть на самом деле.

Например, вот довольно часто встречающаяся ситуация. Руководствуясь расхожими представлениями об идеальной Любви, молодая женщина мечтает о возлюбленном, который будет относиться к ней с уважением и обожанием. Она находит такого человека и оказывается с ним глубоко несчастна. Потому что на самом деле ей необходим партнер, который ее мучил бы и заставлял ходить на цыпочках, ибо она способна ощущать полноту жизни только в состоянии болезненного обострения чувств. Точно так же скучает с преданной и добродетельной женой мужчина, внутренний голод которого требует бурных страстей, ревности, обвинений и прощений, ссор и примирений. И влюбляться такой человек всегда будет в разного рода «роковых женщин», от которых исходит аппетитный запах Любовных потрясений.

Кто-то «голодает» по покою и безопасности и поэтому подсознательно ищет пару только в хорошо знакомой среде, а к любым «неопознанным объектам» относится настороженно, с предубеждением. Кто-то же, наоборот, испытывает тягу к неведомому, к душевным приключениям – и фиксируется лишь на экзотических объектах, потому что предвкушает погружение в некий иной мир, интригующий и соблазнительный.

На свете нет двух абсолютно идентичных людей, поэтому формы внутреннего Голода бесконечно многообразны, иногда причудливы. Некоторую подсказку относительно того, как функционирует Голод, можно получить у физиологии. Скажем, известно, что субтильных, низкорослых мужчин часто тянет к высоким, дородным женщинам. Психологические причины здесь на поверхности. Маленьких мужчин робкого склада в крупной женщине манит воспоминание о надежном комфорте материнских объятий; коротышек амбициозных – завоевательный рефлекс, подспудное стремление доказать, что на самом деле они *большие* и достойны партнерши соответствующего калибра. То есть первый тип голодает по защищенности, второй – по «крупности». Разумеется, это очень примитивный пример. В действительности всё не так просто. Иначе дураки

всегда влюблялись бы в умных, жестокие в добрых и так далее. Человеческая психика и подсознание устроены много сложнее. Голод чаще всего бывает неочевиден, может уходить корнями в далекое, начисто забытое детство или восходить к каким-то еще более глубинным истокам.

Возвращаясь к вопросу о привлекательности Красоты, я бы предположил, что Красивое Лицо содержит в себе универсальный код, который самыми разными людьми считывается как обещание насытить их Голод. Красавицу часто уподобляют благоуханному цветку, источающему соблазнительный аромат, или огоньку, на который слетаются мотыльки-мужчины. Мне кажется уместным менее романтическое сравнение. Красивый человек подобен выставленному в витрине аппетитному пирожному, при взгляде на которое увлажняется рот у большинства прохожих – за исключением тех, кто не любит сладкого и предпочитает «свиной хрящик» (я выше уже упоминал людей, которые терпеть не могут всяких красотостей). Вот почему так злит и отвращает внешняя красота, не сопровождаемая красотой внутренней. Сказывается разочарование, обман ожиданий. Пирожное, которое представлялось таким чудесным, на вкус оказалось картонным или горьким. Только и остается, что плевать.

Как же определить, в чем состоит твой персональный Голод, чтобы не совершать ошибок, разбивающих сердце?

Ответ легко сформулировать, но трудно осуществить: нужно постараться понять, что ты собой представляешь на самом деле. Очень мало тех, кому это удастся. Например, я сам могу что-то о себе понять, только оглядываясь на прошлое и на себя прежнего, каким уже не являюсь.

Попробую задним числом проанализировать свой небогатый Любовный опыт.

В юности я испытал влюбленность, так и не превратившуюся в Любовь из-за отсутствия взаимности, однако же имевшую все признаки серьезного чувства. Это был классический случай «удара молнии», когда от первого же взгляда на объект испытываешь ясное ощущение произошедшей с тобой кардинальной перемены, перехода в принципиально иное состояние, которое я называю «стадией опознания». Одна половинка андрогина опознает – верно или ошибочно – свою недостающую часть и приходит в эйфорию от предвкушения, что Голод будет насыщен.

В ту пору я, разумеется, не мыслил в подобных терминах, да, кажется, и вообще утратил способность мыслить, но сегодня могу попытаться определить, в чем состоял мой тогдашний Голод и почему объект (даже

сейчас, через столько лет, мне странно называть ту замечательную девушку этим мертвым словом) вызвал у меня подобную иллюзию.

Дело было в Швейцарии, куда я с огромными трудами выбрался из Петрограда, вырванный из привычной жизни, травмированный грубостью, жестокостью и *некрасивостью* гражданской войны. Цюрихская реальность с ее упорядоченностью и безопасностью была мне мила, но в ней не хватало высокой, трагической Красоты и тайны, которых требовала моя душа, напуганная, но и замороженная драматичностью революции. Обычная швейцарская барышня, славная, но приземленная, житейски рассудительная, не могла бы соответствовать всей гамме сумбурных и противоречивых томлений, которые меня одолевали. И вдруг я увидел девушку, облик и манеры которой воплощали в себе всё то, к чему я внутренне стремился. Она была не только в высшей степени цивилизована, но и одухотворена, а также окутана ореолом возвышенного страдания, которое так не похоже на страдания низменные – на них я вдоволь насмотрелся дома, в Петрограде. И, конечно, Голод затрепетал во мне, почуяв шанс на утоление.

Теперь возьму опыт не влюбленности, а своей единственной Любви. Пересказывать факты и ход событий, конечно, не стану – зачем излагать самому себе то, что мне и так памятно? Попробую лишь посмотреть на свою Любовь с точки зрения «теории Голода».

Сразу многое проясняется.

Не знаю, что получила Любимая от меня, но я нашел в ней всё, чего мне катастрофически не доставало, хоть сам я об этом и не догадывался: отвагу, жизненную силу, умение радоваться радостному и не вязнуть в грустном, а главное – простоту в том прекрасном значении этого слова, когда человек естественен, ясен и не усложняет то, что не нужно усложнять.

Но довольно об этом. Я коснулся личных воспоминаний не для того чтобы в них погружаться, а чтобы проверить «теорию Голода» на себе. Должен сказать, что результат меня удовлетворил, однако люди, имеющие другой жизненный опыт, возможно, сочтут мою гипотезу неубедительной.

Стадии Любви

Вот тема, которой литераторы посвящают свои произведения начиная со времен античности. Вроде бы всё здесь ясно и сформулировано еще

Овидием в его «Ars Amatorica»:

Первое дело твое, новобранец Венериной рати,
Встретить желанный предмет, выбрать, кого полюбить.
Дело второе – добиться любви у той, кого выбрал;
Третье – надолго сумеешь эту любовь уберечь.

И вся премудрость. Однако при внимательном взгляде обнаруживается, что эволюция Любовных отношений – материя очень непростая и допускает множество толкований, иногда противостоящих друг другу.

Я очень рассчитывал на помощь Стендаля, написавшего длинное эссе «О любви», которое я увлеченно читал в юношеские годы. У меня осталось впечатление вдумчивого и подробного исследования различных этапов, через которые проходит Любовь в своем становлении, запомнился звучный термин «кристаллизация», а главное – аллегорическое уподобление Любви путешествию из Болоньи (точка безразличия) через промежуточные станции в Рим (точка победившей Любви), ведь концепция Любви как Пути полностью совпадает с моим видением этого процесса. Известно мне было и то, что в своем трактате писатель предпринял попытку анализа собственного Любовного опыта – эта мотивация мне тоже очень близка. К тому же обнадеживало, что Стендаль совмещает в себе практика Любви (то есть литератора) и ее теоретика.

Аналогия с химическим процессом кристаллизации пришла Стендалю на ум во время экскурсии на соляные копи в Зальцбурге. Там в заброшенном месторождении оставляют на несколько месяцев голую ветку, а потом достают – и она вся сияет алмазным блеском, покрытая кристаллами соли. «То, что я называю кристаллизацией, есть особая деятельность ума, который из всего, с чем он сталкивается, извлекает открытие, что любимый предмет обладает новыми совершенствами», – пишет Стендаль, называя Любовью внутреннюю работу, направленную на то, чтобы придать объекту сверхценность.

К сожалению, перечитав эссе, я обнаружил, что автор ограничивается исследованием влюбленности (восхищение, надежда, сомнение и т. п.), то есть только чувств, но не отношений. Вероятно, это объясняется тем, что Любовь к Матильде Дембовской, побудившая его написать книгу, осталась неразделенной.

Поэтому я ограничусь тем, что позаимствую у Стендаля лишь образ

Пути из отправной точки к пункту следования, ибо пищеварительная метафора, логически вытекающая из моей «теории Голода», приведет меня совсем не туда, куда следовало бы. Только возьму я не поездку из Болоньи в Рим, где я никогда не был и вряд ли буду, а маршрут хорошо мне знакомый: путешествие из Петербурга в Москву. Я намеренно пишу «Петербург», а не «Петроград» или «Ленинград», потому что старинное название моего родного города обрело некий вневременной оттенок и превратилось в символ чего-то рационального, геометрически стройного в противоположность хаотичной и живой Москве. «Петербург» в моей схеме – состояние, в котором существует нелюбящая, рассудочная душа. «Москва» – пункт, в котором Любовь достигла полного расцвета. Распределение понятий здесь сугубо произвольное, если так можно выразиться, *автогеографическое*. В Петербурге я вырос и научился мыслить, в Москве же Любил и был Любим. Есть и еще одно личное впечатление, диссоциирующее для меня город на Неве с Любовью.

Так получилось, что, побывав в моем родном городе в самом начале ужасной осады, я затем надолго его покинул и вновь попал туда через несколько лет после войны. Конечно, пошел на Пискаревское кладбище, где похоронены полмиллиона жертв Блокады, в числе которых есть люди, которых я знал и любил. Кажется, в будущем этот некрополь собираются превратить в некий траурный, торжественный мемориал, но пока там просто бесконечные ряды братских могил. Я ожидал ощутить скорбь, но вместо этого испытал ледяной ужас. Вокруг были похоронены не только люди с их неповторимыми личностями, но еще и какое-то невообразимое количество Любви. Ведь большинство из умерших кого-то Любили и были кем-то Любимы. Масса всей этой убитой Любви согнула и раздавила меня. Я буквально бежал оттуда, чувствуя, как в груди рвется сердце. С тех пор я неохотно езжу в Ленинград. Он кажется мне каким-то кладбищем Любви. Я физически ощущаю черное облако, висящее над Невой. Когда-нибудь там зародится и созреет много новой Любви, и облако постепенно рассеется. Но пока для меня этот город – антитеза Любви. Поэтому я и хочу направить мое путешествие прочь оттуда – в Москву.

Этапы Любви я условно обозначу названием станций, где делает остановку скорый поезд на этом хорошо известном маршруте.

1. Итак, начало пути: **«Московский вокзал»**. Поезд отправляется.

Один человек («пассажир А.») увидел другого человека («пассажира В.») в некоем особом свете и ощутил острый спазм – предвестие того,

что внутренний Голод может быть утолен. С этого момента А. ни на кого другого больше не смотрит. Началась стендалевская «кристаллизация». Поезд набирает скорость.

Описательно этот период Любви можно назвать «Стадией опознания».

2. «Станция Малая Вишера».

Если Любви суждено развиваться, через некоторое время А. должен в той или иной форме передать Б. сигнал следующего содержания: «Я голодаю по тебе. А ты по мне?»

Здесь – первый рубеж, не преодолев который Любовь так и не разовьется. Если А. не вызовет у Б. такого же голодного спазма (или, возможно, Б. вообще не голоден), поезд дальше не пойдет.

Назову эту стадию «Приглашение к столу».

3. «Станция Бологое».

Голод оказался взаимным. Обоим партнерам очень хочется его утолить. Иногда это происходит быстро, иногда ожидание затягивается, но лишь обостряет силу взаимного чувства. Действие большинства литературных произведений, посвященных Любви, происходит на условной «станции Бологое» (хотя только у Толстого в «Анне Карениной» решительный момент Любви в самом деле происходит в Бологом, на перроне).

Конечно, и на этом этапе всё может легко разрушиться. Помешают внешние обстоятельства, или кто-то один обнаружит, что ошибся в партнере и тот не способен насытить Голод. В любом случае, влюбленные еще не попробовали друг друга на вкус, поэтому будет уместно назвать этот период «Приготовление к трапезе».

4. «Станция Тверь».

Но вот отношения перешли в интимную фазу. Наступила физическая близость, а вслед за нею естественным образом и духовно-эмоциональная связь перешла на иной уровень. Теперь партнеры наконец получили возможность убедиться, не ошиблись ли они в выборе, удовлетворен Голод или нет.

На этой стадии Любовь чаще всего и увядает или же сворачивает с Пути на тропинку, которая ведет не вверх, а вниз. Иллюзия не выдерживает испытания реальностью.

Может оказаться, что оба или хотя бы кто-то один получили совсем не то, чего ждали. Тогда всё заканчивается быстро. Бывает и так, что голод

утолен лишь частично. В этом случае союз может длиться долго, но будет несовершенным, и тот, кто остался полуголодным, продолжит свой поиск, «подкармливаясь» на стороне. Так происходят измены. Когда же неполностью удовлетворенному партнеру покажется, что он нашел кого-то более «вкусного», пара распадается.

Наконец, как я уже писал, бывает Голод не пожизненный, а краткосрочный. Когда он утолен, заканчивается и Любовь. Тому есть множество примеров и в литературе, и в жизни. Оба партнера – живые люди, то есть личности, находящиеся в постоянном развитии. Развитие предполагает появление новых запросов и отмирание прежних. В перечне отличительных примет Любви я упомянул такое необходимое качество, как готовность изменяться с учетом изменений, происходящих в Любимом. Если такого не происходит, Любовь окажется короче, чем жизнь.

Название этого сладостно начинающегося, но часто грустно заканчивающегося этапа – «Трапеза».

5. «Николаевский вокзал».

Лишь когда удовлетворение Голода взаимно, полноценно и не ограничено временем (в том числе порой сексуальности), можно говорить об окончательно созревшей Любви, у которой есть все шансы перерасти в НЛ.

Этот этап я бы назвал «Симпозиум», уподобив его афинским пирам, где не пренебрегали вином и яствами, но первостепенное значение отводили пище духовной – содержательному и взаиморазвивающему общению.



(Фотоальбом)

Наутро после подлого своего предательства, после преступления, которому не могло быть ни оправдания, ни прощения, после ночи, опять почти бессонной, Мирра на занятия не пошла. Боялась смотреть в глаза товарищам. Боялась, что те сразу увидят: прежней Мирры Носик больше нет.

Что она натворила! Ведь это подумать страшно!

Она могла обезвредить и не обезвредила жестокого врага, белогвардейского диверсанта, беспощадного убийцу, который уже пролил большевистскую кровь и прольет еще. Дала уйти, упустила. И теперь поздно. Ищи ветра в поле. Исчез мертвоглазый капитан. Дальше – ясно что будет. Газеты напишут про новый взрыв, про новые убийства. И тогда – только повеситься.

Гадкая сука, вот она кто. И главное, всё ведь зря. Не нужна она очкастому шопенгауэру со своей липкой бабьей любовью.

И случилось то, чего не бывало с детства. Мирра расплакалась.

День был хмурый, серый. И жизнь такая же, без света и надежды. Мирра сидела на кровати, нечесаная, полуодетая, в одном чулке, и ревела. Шмыгала носом, размазывала слезы.

Она заболела. Психически. Это ясно. Надо лечиться. Но как? Ни лечения, ни лекарств от этой болезни нет.

Но когда терапия и фармакология бессильны, приходится обращаться к хирургии.

Нужно ампутировать Клобукова, отсечь его от своей жизни. Вообще. Потому что любовь к нему – это гангрена, от которой гниет душа.

От этой новой мысли Мирра на минуту перестала плакать.

Перевестись в Ленинград, вот что нужно сделать! Чтобы не встречаться с Клобуковым, не видеть его.

И представила себе, как хорошо ей будет в Ленинграде, колыбели пролетарской революции. Там отличная хирургическая кафедра, знаменитая своим челюстно-лицевым направлением. Учиться с утра до вечера. Уйти с головой в общественную работу. *Снова стать собой.* И никогда, никогда больше не видеть Клобукова.

Тут Мирра позорно заскулила, упала лицом в подушку и залилась слезами хуже прежнего.

В таком жалком виде Лидка ее и застукала.

С Эйзен они теперь почти не виделись. Та всё вкалывала по рентгенкабинетам, а в остальное время где-то болталась. В общагу заглядывала, кажется, только чтоб переодеться или оставить покупки. На соседней кровати всё прибавлялись свертки, пакеты, обувные коробки. Один раз Мирра увидела свернутую кольцом чернобурую горжетку – наверно, стояла огромных деньжищ. Покачала головой: надорвется же, идиотка, в своем царстве невидимых лучей. Надо вправить ей мозги. Подумала – и забыла, потому что у самой мозги тоже были не на месте.

И вот лежит она, совсем свихнувшаяся, больная, ревет выпью, ничего

не видит и не слышит – и вдруг на затылок ложится легкая рука, и голос, испуганный:

– Что случилось? Господи, Миррочка, ты – плачешь?!

Эйзен. Совсем бело-лиловая, бесплотная, прямо насквозь просвечивает, как тюлевая занавеска. В глазах ужас.

– Я предательница, – гнусаво объяснила Мирра. – Я тварь последняя. Меня надо гнать из комсомола. Нет, меня расстрелять надо. Я врага, диверсанта белогвардейского упустила.

В таком она сейчас находилась распадае и раздрае, что готова была Лидке всё рассказать, во всём признаться.

Но Эйзен упущенным врагом не заинтересовалась.

– Уф, – схватилась за сердце. – Я испугалась, у тебя умер кто-нибудь. Или с любимым что. Ты, кстати, так и не рассказала, в кого влюбилась. Я тебе вот всё рассказываю...

Но ей, кажется, было не до Мирриных рассказов. Лидка вдруг села на кровать рядом, закрыла лицо руками и тоже заплакала.

Реветь на пару – это уже был перебор.

До чего я докатилась, сказала себе Мирра. Превратилась в Лидку Эйзен, которая минимум раз в месяц нюнитя из-за очередной несчастной любви.

И наконец взяла себя в руки. Да и пора было – Лидка от всхлипов уже перешла к судорогам. Сейчас начнет икать, потом ее еще и вырвать может.

– На, попей.

Сунула стакан воды.

Господи, чуть не проболталась про капитана Сокольниковца! Ей-богу – размягчение мозга какое-то.

– Валяй, рассказывай, что у тебя еще стряслось. Как там твой Теодор? – снисходительно спросила она. По сравнению с собственной бедой Лидкины терзания казались смехотворными.

– Теодор со мной заговорил! – Лидка вытерла слезы платком. Ее глаза просияли, и лицо вдруг стало таким красивым, что Мирра диву далась, как такое возможно: только что была страшной жертвы газовой атаки – и на тебе.

– Чего ж ты, коза, реवेशь? – засмеялась Мирра. – Ну, рассказывай, рассказывай.

– Сегодня рано утром, темно еще было, я с ночного дежурства завернула к его дому, я так часто делаю, стою за афишной тумбой, она у меня уже как родная, и просто смотрю на его окна, на подъезд... – Эйзен заговорила, по инерции еще всхлипывая, но живо так, бодро. –

И вдруг выходит он! Не знаю, может быть, его в неурочное время на службу вызвали. Я обмерла, не успела отшатнуться. И он меня увидел. Там еще и фонарь близко. Говорит: «Я вижу вас не первый раз. Вы наверно живете поблизости?» Я молчу, сама ни жива ни мертва. Боюсь, голос задрожит. Молча киваю. Он мне: «Вы, наверно, актриса?» Не знаю, почему он решил. Но опять киваю. Тоже не знаю почему.

– Кто еще с утра пораньше будет так выражаться кроме актрисы? – сразу разгадала ребус Мирра. – А он что?

– Говорит: «Красавица актриса, загадочна и молчалива... Эх, где мои двадцать пять». Коснулся козырька кепи, галантно так. И пошел.

– Ты ему нравишься, – с завистью сказала Мирра. Вот уж не думала, что когда-нибудь в чем-нибудь станет Лидке Эйзен завидовать. – В следующий раз столкнетесь на улице – будь готова к нормальному разговору. Может, и выйдет у тебя наконец что-нибудь. Конечно, у него жена, ребенок. Но не вы первые, не вы последние. Устроится. Даже если он останется с женой – все равно. Потом хоть будет что вспомнить. Главное – не трусь. И не реви. Вот из-за чего ты потоп устроила?

Подруга вместо того чтоб успокоиться снова залилась слезами. Не романтическими девичьими, а горькими и, кажется, испуганными.

– Я тебе еще не всё рассказала про сегодняшнее утро... – Лицо будто погасло. – Вот ты моя единственная подруга...

– У меня тоже кроме тебя других близких подруг нет, я же по этому поводу не реву.

– Я не про то... Я хотела сказать, что в Москве моя единственная подруга – ты. А в Петрограде, когда я училась в Смольном, моей единственной подругой была Лика Оболенская. Мы все время были вдвоем, Лика и Лида, Лида и Лика. Даже внешне были похожи, нас иногда за сестер принимали...

– Оболенская? Из князей что ли?

– Не просто из князей. Оболенские – исконные Рюриковичи.

– Эх тебя бросает, от Рюриковичей к Рабиновичам, – попробовала пошутить Мирра, но Эйзен не услышала.

– Я ее последний раз видела весной восемнадцатого. Они уезжали на Украину... Все эти годы я была уверена, что Лика в Берлине или в Париже. Что у нее совсем другая жизнь. Не как у меня... И вот, иду я из Брюсовского, после разговора с Теодором... Ну, то есть сама-то я рта не раскрыла, но он обратил на меня внимание, заговорил. И я как будто *стала существовать*. Такое странное чувство: вроде раньше меня не было, а теперь я *есть*. Вокруг слякоть, грязь, темно еще, хмурые люди на работу

спешат, а я будто по облакам лечу...

– Чего-то я тебя не пойму. Скачешь с одного на другое.

– Слушай, поймешь... Одни, значит, ташутся на работу, а другие, наоборот, домой после ночного веселья. Там на Дмитровке, в подвале, есть ночной ресторан, «Разгуляй», знаешь?

– Конечно, знаю. Жуткий вертеп. Когда его только закроют?

– ...Выходит оттуда компания, пьяная, шумная, отвратительная до невозможности. Знаешь, мордатые такие, вульгарные, в белых шарфах, на пальцах толстые золотые перстни.

– Знаю. Торгаши или спекулянты. Отрыжка НЭПа.

– И с ними, конечно, девицы. Сама понимаешь, какого сорта. Визгливые. Хохочут, шатаются. Одна, совсем пьяная, упала прямо в лужу. Поднялась на четвереньки, а на ноги встать – никак. И никто руки не подаст, только гогочут. Один орет: «Лика раком через реку!» Нагнулся и ухватил ее сзади, похабно так. А она, гуляющая эта, голову повернула, и мы глазами встретились, случайно... Это была она, Миррочка! Она! Лика Оболенская! – У Эйзен от ужаса расширились глаза. – Выглядит ужасно, размалевана вся – но определенно она!

– Да что ты? – поразилась Мирра. – Ни фиги себе.

– Я шарахнулась. Побежала. И знаешь, мне показалось... Нет, не показалось, а точно... Она меня тоже узнала. Глаза у нее были пустые, потухшие, но что-то там мелькнуло... Она была моя лучшая подруга. Единственная. А я ее увидела такой. И шарахнулась. И убежала...

– Не доехала, значит, до Парижа княжна. И места в новой жизни не нашла. Бывает. Что ты убежала – не переживай. Захочешь отыскать твою Лику – найдем. В том же «Разгуляе» спросить, наверняка знают. Только зачем она тебе?

– Что ты! Я не буду ее искать! – Эйзен передернулась. – Но у меня будто... будто видение. Предчувствие. Я закончу тем же самым!

– Ладно тебе! – Мирра прыснула, хотя история, конечно, была грустная. – Кем-кем, а шалавой ты точно не станешь.

– Я не про это. Всё закончится зимней слякотью и грязной лужей. Я буду в ней валяться, а вокруг похабный хохот. И это будет скоро!

– Чушь. Скоро ты получишь диплом, станешь настоящим врачом-рентгенологом. Закрутишь роман со своим Теодором, уведешь его у идиотки жены, которая сидит в своем Берлине. – Обняла подругу за костлявое плечо. Погладила по голове. – Всё у тебя будет хорошо.

Но Лидка опять не слушала.

– Ты не представляешь, какой она была, Лика Оболенская... Она была

влюблена в Олега Константиновича, лейб-гусара, поэта, великого князя.

– Ясное дело. Она – княжна, он великий князь. Славная парочка – гусь и гагарочка.

– Да нет же! Олега Константиновича убили еще в самом начале войны, Лика влюбилась в мертвого. Говорила, что всегда будет хранить себя ради его памяти. Это было так безумно красиво!

– А-а-а, ну, это девичье. – Мирра махнула свободной рукой. – Я в двенадцать лет по цирковому гимнасту сохла. Только на афише его и видела. Такой усатый, гордый, в черной маске.

– Как растоптанная фиалка в грязи... – всё всхлипывала про свое Лидка.

Придется найти эту фиалку, сказала себе Мирра. Поглядеть на нее вблизи. Наверняка алкоголичка, кокаинистка или, того хуже, морфинистка. Поди, еще и венерическая. Ничего, всё это в принципе лечится.

Вот как вылечиться от любви, которая сделала человека преступником?

* * *

Но вылечиться решила. Твердо.

Первое: поместила себя в изолятор. Изолировалась от источника инфекции – перестала видеться с Антоном.

Так прошел один день, второй, третий.

По университету ходила, как разведчик по вражеской территории. Глядела в оба, перед каждым поворотом коридора выглядывала – не идет ли Клобуков. В столовку и читалку вообще ходить перестала. Хирургическую клинику огибала стороной.

Чувствовала себя при этом, как положено больному в изоляторе: хреново. Лихорадка, навязчивые видения, нарушения сна, чередование возбуждения и подавленности.

На третий день случилось обострение. Через открытую дверь преподавательской курилки увидела его. Клобуков стоял с трубкой в зубах, читал книжку, поднеся ее поближе к льющемуся из окна тусклому свету. У Мирры – прямо сердечный спазм. И это Антон ее еще не заметил, а подошел бы, заговорил, и вся терапия полетела бы к черту.

После этого инцидента стало ясно, что без хирургического вмешательства никак. Со временем срастется, заживет. На Мирре любые

раны заживали как на собаке. Например, в самую первую московскую зиму заработала на катке двойной перелом – большая и малая берцовые. И ничего, через восемь недель уже снова делала прыжок с поворотом.

Перевестись в Ленинград. И точка.

* * *

Она, наверное, уехала бы. И рана, конечно, зажила бы, куда б она делась? Но в первый день последнего месяца зимы произошло чудо.

В детстве Мирра больше всего любила сказки про добрых волшебников и волшебниц – наверно, потому что вокруг с добротой и волшебством было паршиво. Безусловно, в смысле закалки характера очень полезно, когда в жизни ты всё время преодолеваешь препятствия, прогрызаешься зубами и продираешься, ломая ногти. Но иногда ужасно хочется, чтобы явилась какая-нибудь фея, махнула волшебной палочкой, или на Новый год заглянул дед Мороз и спросил: «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?» И оп-ля! Все преграды пали бы сами собой.

Став взрослой, Мирра сказала себе, что одно чудо, самое главное, уже произошло – в октябре семнадцатого года, без ее участия. А все последующие чудеса в лучшей на свете стране произойдут уже с Мирриной помощью.

Но так говорила себе прежняя Мирра Носик, чья личность еще не была разрушена злокачественным недугом.

И когда она расшибла себе лоб о железные ребра любви, разнюнилась, пала духом, откуда ни возьмись явился добрый волшебник и совершил чудесное чудо.

А может быть, счастливой любви без волшебного вмешательства вообще не получается.

Короче, первого февраля понесла Мирра в деканат по всей форме составленное заявление. Так, мол, и так, прошу о переводе в Первый Ленинградский медицинский институт по личным обстоятельствам в порядке учебно-академического обмена. Найти в Ленинграде пятикурсника или пятикурсницу, кто захочет попасть в Первый МГУ, будет легче легкого. Сейчас все в Москву рвутся.

Только вышла из общаги – и столкнулась с Антоном, лоб в лоб.

– А я к тебе. Здравствуй.

Она просто кивнула. Смотрела на него, улыбающегося, ни черта не понимающего, не чувствующего. Подумала: какого черта я в тебе нашла, почему на тебе, кретине очкастом, свет клином сошелся?

– Ты куда вообще пропала? Я на факультет несколько раз заходил – нет. Записку вчера оставил у вахтерши. Не передали?

– Нет, – соврала Мирра. Записку она, наверно, полчаса протеребила в руках, но проявила волю. Скомкала и не читая выкинула. – Занята была. Я и сейчас тороплюсь. Опаздываю. Потом поговорим, ладно?

И пошла, вся одеревеневшая.

– Жалко, – сказал он вслед. – Ты не представляешь, как ты мне нужна!

Тут, она, ясно, встала как вкопанная. Ноги не идут, щеки горят.

– Нужна? Зачем?

– Может, найдешь час времени? Очень тяжелый случай. Через два часа операция, а я не знаю, что делать. Бился, бился. Никакие доводы не работают. Человек твердо решил умереть под наркозом. И умрет, сто процентов умрет. Тут нужны не логические доводы, а что-то другое. Я подумал, может, у тебя получится. Попробуй, а? Такой человек!

– Опять какая-нибудь любовная драма? Опять кого-то не любят, и он или она не хочет жить? – вяло спросила Мирра, сердясь на себя. Нужна она ему, как же. Главное – как собачонка откликнулась, по первому свисту. А вникать в чужие любовные терзания ей ужасно не хотелось. От своих деваться некуда.

– Любовь тут ни при чем. Отсутствие воли к жизни. Полное.

– Кайне вилле-цум-лебен? – Мирра равнодушно дернула плечом. У нее самой в последнее время с Wille zum Leben было так себе. – Что я-то могу сделать?

– Просто сходи со мной. – Ответ прозвучал уклончиво. Какая-то задумка у Клобукова, кажется, все-таки была. – Между прочим, это не кто-нибудь, а сам Кузевич, тот самый. Академик.

– Иди ты! – поразила она.

Кузевич был известный в прошлом гигиенист, из старой профессуры, член президиума медицинской секции Академии наук. На первом курсе все учатся по его «Введению в гигиену труда».

– Клавдий Петрович должен сделать ему резекцию желудка по поводу язвы. Операция срочная – есть опасность прободения – но не особенно сложная. Я предлагал местную анестезию, ее вполне хватило бы. Максимум – можно было бы дать смешанную, с небольшой дозой морфина, хотя при таком флегматичном складе характера, как у Кузевича, это даже лишнее. Но академик потребовал общего наркоза, и шеф согласился.

Он, как все хирурги, любит, чтобы пациент лежал колодой. Говорит, ничего страшного. Сердце для 65 лет сильное, давление приличное, не вижу оснований опасаться. А Кузевичу только одно нужно: уснуть и не проснуться. Я тебе говорил: тот, кто ложится под наркоз в таком настроении, обычно из него не выходит. Я это не раз видел. Кто твердо решил умереть – умирает. Не возвращается!

Они уже шли в сторону клиники. Вроде Мирра и не дала согласия, но как-то оно само собой получилось. И быстро шли, по-деловому.

– А ты не напридумывал?

– Если бы! Он и не скрывает. От меня, во всяком случае. Посмотрим, как с тобой заговорит...

* * *

Академика, конечно, разместили в палате для особенно заслуженных, куда вел специальный коридорчик. Мирра никогда там раньше не бывала.

Но ничего особенно роскошного внутри не оказалось. Только отдельный санузел, чахлая пальма в кадке да метраж побольше. Еще на стене картина в золоченой раме – не мишки какие-нибудь в сосновом бору, а современная, с конармейской тачанкой.

На кровати полулежал-полусидел старичок в роговых очках, рассматривал какой-то листок. Увидел вошедших, отложил. Весело улыбнулся Антону – морщинистое лицо всё пошло лучиками.

– А-а, настырный анестезист снова явился. Ждал, ждал. Думал, кого он на подмогу приведет? Не иначе профессора Логинова запугает. А он с юной и прекрасной девой пожаловал. Что, не вышло с Клавдием Петровичем?

– Нет.

Академик засмеялся. Вид у него был очень довольный.

– Знаю-знаю. Он был у меня с час назад. Посмотреть, в каком я психологическом состоянии. Вы его, коллега, немножко встревожили. Пришлось сказать почтенному профессору, что вы всё нафантазировали. Что я полон планов и энергии. Что помирать совершенно не собираюсь. Он успокоился. Так что вопрос с общим наркозом решен окончательно, хе-хе.

Старик с любопытством разглядывал Мирру, она тоже на него таранилась – изумленно. Человека, который хочет уснуть и не проснуться, представляешь себе иначе. Тот веселый маляр, Полуектов, хоть

философствовал. А этот просто хихикает. И маслится, как кот на сметану.

– Кто вы, милая барышня?

– Вы правда не хотите жить? – спросила она, не ответив на пустой вопрос. Какая ему разница, кто она такая.

– Вам с вашими румяными щеками трудно в это поверить? – снова засмеялся Кузевич. – Да. Хочу умереть, уснуть. И видеть сны, быть может.

Настроение у него было преотличное.

– А, я понял, зачем он вас привел. – Больной подмигнул Антону. – *Jeune fille en fleur*^[12] – самая лучшая реклама жизни. Спасибо, коллега. Приятно полюбоваться. Но, в отличие от цветущей барышни, я стар, никчем и никаких желаний не имею. Академический паек, конечно, вещь прекрасная, равно как и госдача, но для дальнейшего путешествия сих стимулов мне недостаточно. Я дальше не поеду. Схожу на станции Бологое. Давно пора было, а тут представился отличный случай. Грех упускать.

– Вы – ученый с мировым именем! – воскликнул Антон. – У вас такая репутация в медицинских кругах! Скажите ради бога, ну что вам на свете не живется? Честное слово, я потребую, чтобы операцию отменили. Откажусь в ней участвовать, и всё! Палачом быть не желаю. А без меня Клавдий Петрович оперировать не станет!

– Предусмотрено, – хихикнул академик. – Я вашему патрону сказал: молодой человек упрямится из самолюбия. Как бы не забастовал. Для общего наркоза при такой несложной операции, говорю, вам анестезист не очень-то и нужен. Отлично медицинской сестрой обойдемся. Я, говорю, клиент золотой. Кольнет она меня в вену, подышу в масочку, и бай-бай, нету меня... А насчет имени и репутации. – Огонек в маленьких глазках погас, и Мирра увидела, что смешливый академик на самом деле человек совсем не веселый. И очень усталый. – Мое имя в прошлом. От научной работы я давно отошел, и вы, коллега, отлично это знаете. Все знают. А репутацию хорошо с собой в гроб положить... Впрочем, мы всё это уже обсуждали. Идем по десятому кругу. Пусть лучше барышня что-нибудь скажет. Хочу услышать звонкий, юный голос.

– Почему на станции Бологое? – спросила Мирра. – Ну, вы сказали: «Схожу на станции Бологое».

Утром, представляя, как поедет из Москвы в Ленинград, она решила, что до середины пути, до Бологого, позволит себе думать об Антоне и обо всем что между ними было и чего не было, но могло бы быть. А после Бологого начнет думать только о будущем. С прошлым покончит. И вдруг этот дедок тоже про Бологое.

– Ого! Барышня-то непростая. Попала своим вопросом точно

в десятку, – непонятно ответил Кузевич. Прищурившись посмотрел на Мирру, на Клобукова, снова на Мирру. – А вы, молодые люди, просто работаете вместе или нечто... большее?

– Мы с Миррой друзья, – ответил Антон. – Ну и профессионально тоже сотрудничаем.

– Я будущий хирург, – подхватила Мирра. – Хочу понимать анестезиологию. Товарищ Клобуков мне помогает. – И поскорее сменила опасную тему. – Так что про Бологое?

Хитро прищурившись, старик пожевал губами, но приставать с дальнейшими расспросами не стал.

– Бологое-то? Да вот, лежал тут, вспоминал. Сравните-ка два эти снимка.

Он взял с тумбочки листок, который рассматривал, когда они с Антоном вошли.

Плотная бумага была сложена вдвое, и когда Кузевич ее развернул, оказалось, что там приклеены две небольшие фотокарточки. Одну он прикрыл ладонью, вторую показал.

– Это, как можете видеть, моя малопривлекательная персона. Снято в прошлом месяце. Я во всем моем нынешнем великолепии: старый, облезлый башмак. Склеил карточки рядом для контраста и наглядности.

Убрал ладонь, показал второй потрет, пожелтевший от времени. Там была женщина, довольно молодая, в старорежимной шляпке с пером.

– Какое лицо, а? – тихо сказал академик.

Лицо действительно было необычное. В глазах что-то такое. Или, скорее даже, в тенях под глазами.

– Прекрасное лицо. – Антон наклонился, поправил очки. – Кто это? Ваша жена в молодости?

– Нет, не жена. – Кузевич не отрываясь смотрел на снимок. – Честно говоря, я понятия не имею, кто она. Даже имени не спросил... Вот знаете, когда оглядываешься на прожитую жизнь... Хотя откуда вам в вашем возрасте знать... В общем, несколько дней назад, мысленно приготавливая себя к операции, я, как это принято у стариков, стал вспоминать свою жизнь. Многое, что раньше представлялось значительным, показалось мне совершенной чепухой. А одно мелкое происшествие, про которое вроде бы и забыл давно, вдруг вынырнуло из прошлого и заслонило всё остальное... Я, правда, перед тем еще и сон увидел. Про Бологое. Такой, знаете, явственный... Полез в коробку со старыми фотографиями, нашел. Стал разглядывать. И вдруг почувствовал себя таким идиотом, таким никчемным... банкротом. – Он засмеялся, полез пальцем под очки. –

Ну вот, и слеза стариковская, сентиментальная...

– А можно по порядку? – отчего-то заволновалась Мирра, и вопрос прозвучал сердито. – Что произошло на станции Бологое?

– В том-то и дело, что ничего... Это было очень давно, во времена, когда прежний мир казался незыблемым, то есть еще до японской войны. Ехал я из Москвы в Петербург. Только что принял важное решение – расстаться с наукой, потому что мне предложили весьма лестную для молодого профессора учебно-административную должность. Выглядел я в ту пору не так, как сейчас. – Академик улыбнулся Мирре – не то чтобы грустно, а как-то рассеянно. – На моих лекциях преобладали особы прекрасного пола и нежного возраста – курсистки. Присылали мне надушенные записочки, иногда даже караулили у подъезда... Это я говорю не для хвастовства, а чтобы вы мысленно стерли с моей физиономии морщины и обтрепанность. Мне было едва за сорок. Гладкий такой, остроглазый господинчик... Тогда на станции Бологое давали обед для проезжающих, у первого класса очень приличный, а ля карт. Там как раз сходились два поезда, московский и питерский. Стояли целый час, а если десерт задерживался, то и дольше. Иные времена, иной темп жизни... Я что-то вилок поковырял, но не было аппетита. Вышел из ресторана пройтись. А вдоль вагонов встречного поезда прогуливалась она...

Он смотрел на снимок. Легонько коснулся пальцем – будто погладил.

– Вы, коллега, назвали ее лицо прекрасным, а я даже не могу сказать, красивое оно или нет. Но посмотрел, встретился глазами – и... как бы объяснить... Будто все другие лица, виденные мною прежде, были ненастоящие, а настоящее только это... Или как будто соединились два электрических провода. Раньше были две безжизненные проволоочки, а тут сверкнуло, обожгло, и загорелся свет, и... Ладно, я не поэт, я не умею объяснить...

– Ясно, ясно, – быстро сказала Мирра, слушавшаяся с напряженным вниманием. – А дальше что? Она что?

– Она тоже остановилась. Мы молча смотрели друг на друга. Не знаю сколько времени. Наверное, долго. Потом она говорит: «Странно. Мне кажется, я всё про вас знаю». А странно было другое. Я думал про то же самое – только противоположное. Что я ничего, совсем ничего про нее не знаю, но хочу знать всё. Я ей так и сказал. И потом мы просто говорили. Сбивчиво. Люди, которые только что встретились и даже не представились, так не разговаривают. Не беседа у нас была, а какая-то невнятица... «Почему сейчас, почему не раньше, – лепетала она. И все

повторяла: – Где вы были прежде?» С упреком так, даже с обидой. Я, как болван, ей: «У меня прекрасная жена, просто чудесная. Я столько ей обязан. У меня сын, дочь... Это совершенно, совершенно невозможно...» Она подхватывает: «Да-да, совершенно невозможно. Мой муж; достойнейший из людей, и дети, дети...» – Голос у академика задрожал. Кузевич хихикнул, откашлялся. – Такой примерно у нас был разговор. Не особенно содержательный. И тут звонок к отправлению. Она вот так – пальцы к виску. Глаза огромные. «Боже, мне ехать с вами?» Будто удивляясь. Вы понимаете? – Старик растерянно улыбнулся. – Она бы со мной уехала! Уехала! А я... Я пробормотал: «Простите меня, простите». И побежал к своему поезду, даже второго звонка не дождался. Безумие, наваждение, безответственность. Жена, сын с дочерью, жизненная миссия, да и должность в министерстве... – Кузевич засмеялся, покрутил головой. – ...Потом поезд тронулся. Поехали... Зашел проводник. Вам, говорит, с питерского «скорого» просили передать. Конверт, в нем вот эта карточка. На обороте – видите – наскоро карандашом написано: «На память о несбывшемся». Только это. Ни имени, ничего...

Мирра потянула у него из рук листок, повертела, даже подняла к свету, но через бумагу надпись не просматривалась.

– ...Я не знаю, что это было. – Кузевич смотрел в сторону, на картину с тачанкой. – Первое время вспоминал, потом забыл... Моя прекрасная жена меня потом бросила, уехала за границу с одним приватом. Записку оставила, обидную. «Я с тобой не живу, а просто старею». Сына убили под Танненбергом. Дочь вышла замуж, шлет открытки два раза в год. Моя жизненная миссия, оказывается, состояла в том, чтобы дремать на заседаниях и лелеять прежнюю репутацию... Роба стала такая, что в зеркало смотреться тошно. Я и не смотрюсь обычно. Сфотографировали вот в прошлом месяце, – он отобрал у Мирры листок, щелкнул по своему портрету, – стал себя разглядывать. Вот, приклеил рядом. Я – такой, каким стал. Она – навсегда такая же, как в тот день. В прекрасной шляпке с перьями, каких теперь не носят. Как это, в «Гамлете»? «Вот два изображенья: вот и вот...»

– Если та дама жива, она тоже постарела, – встрял Клобуков, зануда. Но лицо у него было странное. Будто напуганное.

– Может быть, – пожал плечами старик. – Но это в какой-то параллельной реальности, которой на самом деле не существует. А в моей она всё та же. Я меняюсь, она – нет, только всё ярче сияет. Я же лишь тускнею и облупляюсь...

В коридоре загрехотало, санитар затащил в дверь палаты каталку.

– Товарищ академик, пора, – сказала вошедшая следом сестра.

– Опять я вас перехитрил, наркотизатор. – Кузевич показал Антону язык. – Заболтал, время-то и ушло. Ступайте, готовьте ваши препараты. Посмотрим, кто кого обставит: вы меня или я вас. А напоследок я вот что скажу вам, молодые друзья-сотрудники. Надо тускнеть и облупляться вдвоем. Только в этом и есть смысл, а больше ни в чем. Эту простую истину мы, дураки, понимаем хуже, чем они.

Сказано было Клобукову, а «они» – это было про Мирру, на которую академик показал пальцем.

* * *

Пока шла операция, Мирра ждала в опустевшей палате. Представляла картину.

Прошло двадцать лет. Допустим, тысяча девятьсот сорок шестой год. Она едет из Ленинграда в командировку, в Москву. Выходит в Бологом на платформу, а там Антон. Тоже едет, но в Ленинград. В командировку или неважно зачем.

Они оба давно забыли друг друга. Совсем чужие. Поздоровались, говорят о том, о сем: где работаешь, есть ли дети, и всё такое. Потом прощаются, пожимают руки – и вдруг, как это академик сказал? Два электрических провода. Сверкнуло, обожгло, и слепящий свет.

Нет, невозможно. За двадцать лет всё изменится, всё уйдет. Антон станет другой, она состарится.

Ничего не будет. Ничего. Одно несбывшееся. Даже без памяти. Потому что всё забудется. Да и нечего особенно вспоминать...

Антон вернулся несчастный, нахохленный. На вопрос только махнул рукой.

– Я же предупреждал шефа... Не послушал меня...

Сел рядом на кровать.

– Эх, покурить бы. Но нельзя. Не заслужил... И бороденку сбрую. Чуть не задохнулся под марлей...

Вошли нянечка и сестра-хозяйка. Первая – снимать постельное белье, вторая – делать опись вещей.

Пришлось выйти в коридор. Стояли, молчали. У Мирры в голове всё вертелось дурацкое старорежимное слово: несбывшееся, несбывшееся...

Подошла сестра – ассистентка Логинова.

– Антон Маркович, когда я готовила академика к операции, он просил вам передать. Извините, не до того было...

Сложенный вдвое листок. Те самые две фотографии.

– Погоди, тут что-то написано. Раньше не было, – сказала Мирра.

«От старого дурака – молодому. Чтобы не был дураком».

– В каком смысле? – наморщил лоб Антон.

Посмотрел на Мирру. Она отвернулась. Он шумно сглотнул.

Так и случилось чудо.

Неправильная любовь

В предыдущей главе я определил минимум необходимых признаков Любви, то возможны почти любые ее различные квази-любобные состояния (влюбленности, страсти, неразделенная любовь и т.п.), которые не имеют прямого отношения к теме моего исследования. Однако есть случаи более сложные, когда между любью и любовью возникает идея неправильной — в том смысле, что в силу тех или иных причин, она не приводит к формированию ИЛ. Личности не развивается — или даже эволюционирует в наоборот направлении. Вот какие девиации я имел в виду.

Во-первых это так называемая слепая любовь, то есть неуверенное видение партнера таким, каким он есть на самом деле. Дружба занимает некоторый воздушный пролет, смысленное и уверенное, неуверенное завершение негативно. В какой-то момент оказывается, что любимый — вовсе не то, кем его считал любящий, и заканчивается таким образом разбитием сердца, а то и дальнейшей еще более трагической. Витоват при этом становится любящим, несколько стал первой собственной средоточие, не сумев и даже не пытаясь пойти

(Из клетчатой тетради)

«Неправильная Любовь»

В предыдущей главе я определил минимум необходимых признаков Любви, что позволило отделить от нее различные квазилюбовные состояния (влюбленность, страсть, неразделенная любовь и т. п.), которые не имеют прямого отношения к теме моего исследования. Однако есть случаи более сложные, когда между двумя людьми возникает именно Любовь, но *неправильная* – в том смысле, что в силу тех или иных причин она не приводит к формированию НЛ. Личность не развивается – или даже эволюционирует в пагубном направлении.

Вот какие девиации Любви я имею в виду.

Во-первых, это так называемая **слепая Любовь**, то есть неумение видеть партнера таким, каков он есть на самом деле. Привязанности подобного рода, сильные и искренние, нередко завершаются печально. В какой-то момент оказывается, что Любимый – вовсе не тот, кем его считал Любящий, и заканчивается такая связь разбитым сердцем, а то и чем-нибудь еще более трагическим. Виноват при этом бывает Любящий, поскольку стал жертвой собственной слепоты, не сумел или даже не пытался понять Любимого, выдумал себе некий не соответствующий действительности образ.

Классический пример слепой Любви – история Отелло и Дездемоны. Безусловно обоими владел обоюдоудовлетворяющий внутренний Голод: битый жизнью, преодолевший множество суровых испытаний мавр нуждался в сострадательной и преданной спутнице; романтической девушке был необходим тот, к кому она могла бы относиться с восхищением и эмпатией, ощущая при этом свою для него полезность. В общем, она его «за муки полюбила», а он ее – «за состраданье к ним».

При этом оба совершенно не понимают душевное устройство друг друга. Дездемона выдумывает себе некоего идеального героя: «Я отдала себя стремленьям мужа. Сквозь лик сияла мне его душа. Я подвигаю и доблести его свое все будущее посвятила». Живого человека, одолеваемого комплексами, подозрительностью, мучительной неуверенностью в себе она не видит. «Муж мой благороден и духом чист, не даст себя унижить до ревности», – заявляет она, уже находясь на краю гибели.

Точно так же не понимает Любимую и неистовый Отелло – до такой

степени, что с легкостью верит в коварство и развращенность той, в ком эти пороки начисто отсутствуют. Чем заканчивается Любовь двух слепцов, известно.

Историю с не менее трагической развязкой, притом взятую из жизни и произошедшую совсем недавно, под большим секретом рассказывал мне знакомый, врач-психотерапевт, которого глубоко впечатлило это событие. Он пользуется одну пациентку, которая почти двадцать лет состояла в браке, по внешней видимости очень счастливым. Ее муж работал в госбезопасности. Женщина очень гордилась и его службой, и им самим. Никогда не задавала вопросов, поскольку знала, что это не положено, но часто рассказывала подругам, как сильно он выматывается и как себя не щадит, защищая Родину от шпионов и врагов народа. Во время кампании по очистке органов от сотрудников, связанных с бывшим министром Абакумовым, муж пришел домой бледный и потерянный. Сказал, что его начальник арестован и что, по видимости, такая же участь ждет всех ближайших сотрудников генерала. Наверху принято решение осудить прежнюю методику ведения допросов, понадобились козлы отпущения. И оказалось, что все эти годы муж; работал костоломом, выбивая из арестованных нужные показания. Женщина пришла в ужас. Ее реакция, в свою очередь, потрясла мужа. Он был уверен, что она все знает и понимает, просто помалкивает о том, о чем нельзя говорить. В страшную минуту своей жизни он обратился за сочувствием и поддержкой к единственному близкому человеку – жене, с которой всегда был нежен и заботлив (палач часто бывает прекрасным семьянином), а она от него отшатнулась. В ту же ночь этот человек застрелился, а женщина оказалась в лечебнице с тяжелым психическим расстройством.

Однако слепота, в конце концов, – инвалидство и потому достойна сочувствия. Этого не скажешь о **Любви с закрытыми глазами**, когда люди намеренно отказываются видеть партнера, сознательно пестуя некий образ, способный утолить их Голод.

Кому-то непременно нужно, чтобы Любимый представлял собой «тайну» – иначе Голод не насытится. Понимание равноценно обладанию, а Любящим этого сорта необходимо ощущать себя нищими и тянуться к чему-то недостижимому, ускользающему. При такого рода отношениях страдает обычно «носитель тайны», которому, может быть, вовсе не хочется быть загадочным, а хочется именно понимания и близости.

Совершенно отталкивающей кажется мне Любовь, которая видит в объекте лишь воплощение своих навязчивых фантазий и упорно

отказывается разглядеть за ними живого человека. Это уж голое потребительство. Утоление собственного Голода без намерения «накормить» Любимого.

Любовь, категорически отказывающуюся видеть партнера, ярко описал Достоевский в рассказе «Кроткая», герой которой оказывается мучителем и палачом той, кого так сильно Любит. «Но главное для меня было... в том, что мне всё более и неудержимее хотелось опять лежать у ее ног, и опять целовать, целовать землю, на которой стоят ее ноги, и молиться ей и – «больше я ничего, ничего не спрошу у тебя, – повторял я поминутно, – не отвечай мне ничего, не замечай меня вовсе, и только дай из угла смотреть на тебя, обрати меня в свою вещь, в собачонку...» Она плакала». Закончилось всё, как мы помним, самоубийством измученной героини, которой не была нужна ни «вещь», ни «собачонка», а требовались просто понимание и сострадание.

Пожалуй, самый распространенный тип «неправильных» отношений – **неравноправная Любовь**. Ситуация эта настолько тривиальна, что сформировалось расхожее суждение, гласящее: в паре всегда один Любит, а другой позволяет себя Любить. В терминологии Владимира Соловьева это называется «восходящей» и «нисходящей» Любовью.

Пара, у которой взаимозависимость построена по этому принципу, никогда не выйдет на уровень НЛ. Взаимный Голод здесь, очевидно, удовлетворяется, но нового качества не возникает, каждый из партнеров «остается при своем».

Должно быть, очень удобно и приятно иметь такую жену, как Оленька из чеховского рассказа «Душечка». Чехов пишет про нее: «Какие мысли были у мужа, такие и у нее. Если он думал, что в комнате жарко или что дела теперь стали тихие, то так думала и она». Но этот тип Любви (можно его еще назвать идолизирующим) ничем не обогащает ее объект и никак не способствует его развитию. Самого же Любящего растворение в личности Любимого деперсонифицирует, превращает в тень.

Конечно, в паре всегда есть неравенство, но оно должно носить временный характер. Кто-то из партнеров сильнее, опытнее, талантливее в чем-то одном; второй – в чем-то другом. «Восходящая» и «нисходящая» роли должны меняться, только тогда симбиоз станет плодотворным.

Почти столь же часто – у прочных, давно сложившихся пар – наблюдается еще одна разновидность «неправильной» Любви, про которую говорят «стерпится – слюбится». Большинство т. н. *благополучных* семей

сформировались подобным образом: благодаря долгой привычке, взаимной способности к компромиссу, долгу перед детьми или же каким-то общественным обязательствам. По сути дела, это всё тот же филос, воспетый еще мыслителями античности. Такой союз строится на здравом смысле, терпимости, совместной жизненной истории, конвенциональности.

Сейчас многие говорят и пишут, что «в старые времена», когда браки в основном заключались по сговору между родителями, удачных союзов было больше, чем в двадцатом веке, когда люди женятся по Любви. Объяснение у этого на первый взгляд парадоксального явления очень простое. В тогдашнем обществе супруги изначально были настроены на «стерпится-слюбится» и знали, что придется худо-бедно полюбить партнера, иначе жизнь превратится в ад. С точки зрения «теории Голода», стартовой установкой такой женитьбы был принцип «ешь что дают». Приходилось привыкать, и многим это даже удавалось из-за отсутствия какой-либо альтернативы. У Пушкина сказано: «Привычка свыше нам дана, замена счастию она», – и ключевое слово здесь «замена».

Удачный брак этого типа становится результатом взаимных жертв и компромиссов. Каждый остается наедине с собственным Голодом, но приспособливается к нему. Смерть одного из партнеров, конечно, становится для второго потрясением, но не роковой трагедией. Ведь никакого симбиотического «сверх-я» не возникло, а стало быть, оно и не разрушилось. Вдова или вдовец продолжает жить, сохранив свою цельность.

Редко встречающаяся, но феноменологически интересная разновидность «неправильной» Любви – это союз двух очень плохих людей, обретших друг в друге гармонию. Назову это явление **инфернальной Любовью**, поскольку эволюция Любящих направлена не вверх, а вниз, так сказать, в сторону ада. Они словно подгоняют друг друга в этом антиразвитии и создают такое «сверх-я», от которого мир иногда приходит в содрогание.

Пары этого рода весьма немногочисленны (и слава богу), потому что плохой человек, как правило, по своему психоэмоциональному устройству неспособен Любить кого-либо кроме самого себя.

Ведь что такое «плохой человек» с объективной точки зрения? Мне представляется, что степень «плохости» или «хорошести» определяются очень простым параметром. Чем индивидуум эгоистичнее, тем он ниже качеством. И наоборот, чем он альтруистичнее, тем лучше. Совсем плохой человек все без исключения поступки совершает по одному-единственному

принципу: хорошо только то, что хорошо лично для меня. Казалось бы, подобному складу личности Любовь совершенно противопоказана, поскольку ее не бывает без хотя бы минимальной доли жертвенности. И тем не менее аномалии этого рода случаются. Находятся чрезвычайно скверные люди, которые живут душа в душу, преданы друг другу и в результате создают довольно эффективного андрогина, способного причинить немало зла окружающим. Каждый из членов этой пары по отдельности был бы гораздо менее опасен.

Помню, лет двадцать назад, будучи в заграничной командировке (тогда такие вещи еще случались), я с интересом читал новости о двух американских разбойниках, мужчине по имени Клайд Барроу и женщине, которую звали Бонни Паркер. Это была мировая сенсация. Сейчас мне забылись подробности, а освежить их негде, однако я хорошо запомнил общую канву событий.

И он и она были существами асоциальными, но до тех пор, пока не нашли друг друга, совершали лишь какие-то мелкие правонарушения, потому что Барроу был туповат, а Паркер в силу своего пола не могла прибегать к насилию. Вместе же они создали по-настоящему опасную шайку. Женщина планировала преступления, а мужчина ловко управлялся с оружием, со временем обучив этому убийственному искусству и свою подругу. Они совершили множество дерзких и кровавых злодеяний. В конце концов полиции пришлось обоих застрелить, потому что арестовать их было нельзя без риска серьезных потерь.

При том что оба были несомненными злодеями и, судя по легкости, с которой они отбирали чужие жизни, даже чудовищами, Клайд и Бонни очень Любили друг друга. Это была в буквальном смысле «Любовь до гроба». Сколько я помню, женщина даже оставила поэму об их Любви, наполненную обычной для такой среды блатной романтикой, и все же по-своему сильную и искреннюю. Дословно я процитировать не смогу, однако в последней строфе там говорилось о твердом намерении не расставаться ни в смерти, ни после смерти – а таким языком безусловно говорит Любовь. Только в этом случае она не возвысила и не спасла Любящих, а наоборот, ускорила их падение и гибель.

Эта грустная история подводит меня к еще одному виду «неправильной» Любви – столь непростому и многосоставному, что будет уместно выделить его в отдельную главу.

Любовь как болезнь

«Что касается любви, – пишет Монтень, – то она породила больше недугов, чем остальные страсти вместе взятые, и перечислить их нет возможности». И это действительно так. Мы знаем, что Любовь может приводить не только к возвышению личности, но и к ее деградации; не только оздоравливать душу, но и вызывать душевную болезнь; не только спасти, но и погубить. И речь идет не о Любви злодеев и социопатов вроде американской гангстерской парочки, а о людях психически и этически нормальных, притом еще и способных на большое чувство. Ситуации, в которых Любовь оказывается негативной или даже разрушительной силой, возникают сплошь и рядом, так что мотив *cherchez la femme* стал одной из первых версий, которые расследует полиция или милиция при убийствах.

Разумеется, криминальная драма все же случай экстраординарный, но патологические или деструктивные изменения личности под воздействием «неправильной» Любви – явление настолько тривиальное, что мы этому не удивляемся, а лишь печалимся.

Человечеству давно известно, что Любовь опасна. Поэты Древнего Рима вообще не видели в этом чувстве ничего хорошего и считали всякую сильную Любовь недугом, которого следует остерегаться. «Любовная напасть приводит к тому, что лучшие годы жизни тратятся на праздность и беспутство», – поучает Лукреций в «Природе вещей».

Почти два тысячелетия спустя Стендаль со свойственной его эпохе декоративностью уподобляет Любовь восхитительному цветку, растущему на краю страшной пропасти. Я бы скорректировал эту романтическую метафору. Чаще всего «цветок» растет на краю не пропасти, а ямы, куда очень легко скатиться, – разбиться не разобьешься, но исцарапаешься, перепачкаешься, и выбраться обратно будет непросто.

Угрозы, которые таит в себе Любовь, очевидны.

Во-первых, душа становится незащищенной и уязвимой. Ее легко можно ранить или покалечить.

Во-вторых, ради Любимого приходится идти на компромиссы, менять себя, а иногда и ломать. Эти жертвы не всегда благотворны.

В-третьих, Любящий часто путает самоотвержение во имя Любви с добровольным унижением, а любое унижение вредно для человеческого достоинства и девальвирует качество личности. (Допускаю, что у меня

на сей счет, как теперь говорят, «пунктик», и всё же буду настаивать: *Любовь, унижающая кого-то из партнеров, болезненна и разрушительна.*)

Наконец, Любовь заставляет совершать рискованные поступки, что само по себе опасно. Жизнетворящий инстинкт Эрос может оказаться сильнее инстинкта самосохранения и парадоксальным образом обратиться в Танатос. Влюбленной паре приходится преодолевать разнообразные преграды, и чем эмоциональнее или смелее натура, тем выше уровень риска, на который человек готов идти ради Любви. (Я уж не говорю о том, что неразделенная Любовь – самый распространенный мотив суицида у молодежи, в особенности женского пола.)

Вот несколько типических болезней, в которые может превратиться Любовь, когда она развивается в патологическом направлении. Некоторые из этих заболеваний чреваты летальным исходом, некоторые просто мучительны, но общей чертой является регресс личности, ее отрицательная эволюция.

Преступная Любовь. Я имею в виду преступность не только в сугубо юридическом смысле, но и шире – как всякое подлое, жестокое или вероломное поведение, приносящее зло другим людям. Большинство Любовных коллизий не обходится без драм, потому что разрываются какие-то прежние привязанности, кого-то бросают, кому-то изменяют, а в случае развода остаются брошенные супруги с разбитым сердцем и психически травмированные дети. Ничего не поделаешь, Любовь эгоистична, и твое счастье нередко оплачивается чужим несчастьем. Но здесь всё дело в мере, в этической грани, за которой предосудительный поступок перерастает в нечто, пагубное для души.

На Любви, которая влечет за собой очевидное уголовное преступление, подробно останавливаться не буду. История криминалистики и художественная литература изобилуют сюжетами об умерщвленных мужьях и женах, которым не повезло оказаться помехой на дороге страстной Любви. С этой темой всё ясно: есть преступление и есть наказание, предусмотренное законом.

Сложнее с той Любовью, которая побуждает человека совершать вещи, чудовищные с этической точки зрения – в том числе противоречащие всем его убеждениям и принципам. Отец однажды рассказал мне случай из своей студенческой молодости, пришедшейся на годы реакции после убийства народовольцами Александра II. В университете был революционный кружок, в котором отец не состоял, однако знал многих

членов этой подпольной организации. Там была пара, связанная глубокой Любовью. И вот их обоих арестовали. Молодой человек был болен чахоткой. В сыром каземате ему стало совсем худо. Тогда Охранка предложила сделку девушке: она выдаст всех членов кружка, а за это ее вместе с Любимым выпустят и даже позволят уехать за границу, где его, может быть, вылечат. Девушка колебалась недолго. Она спасла того, кого Любила, и увезла в Швейцарию, где он действительно стал поправляться. В эмигрантской среде пару подвергли бойкоту и остракизму, зная, что взамен этих двоих в каземате, а затем на сибирской каторге оказались почти два десятка их товарищей. Отец, человек мудрый и снисходительный к человеческим слабостям, рассказывал мне эту жуткую историю не с осуждением, а с печалью. Я же, помнится, клокотал от негодования, не зная, что многим из моего поколения предстоит делать ужасный нравственный выбор в еще более жестоких условиях.

Вскоре после войны я прочитал в газете отчет о судебном процессе над бывшим белорусским подпольщиком. Во время войны он совершил точно такое же предательство, только в обстановке совсем уж кошмарной: гестаповцы при нем истязали его возлюбленную, и он не выдержал. Впрочем, в данном случае преступление этическое одновременно стало и преступлением государственным – за такую Любовь подсудимому был вынесен суровый приговор.

Однако много гнуснее случай, произошедший в конце тридцатых годов в нашей клинике, хотя ни обществом, ни Фемидой он заклеимен не был. Арестовали, а затем и расстреляли главного врача, по «вредительской» статье. Жена отказалась от него еще во время процесса, что тогда было в порядке вещей и никого не удивило. Однако очень скоро эта женщина вышла замуж за молодого ординатора, и поползли слухи, к сожалению, сопровождаемые достоверными подробностями, что донос написала она – желала освободиться для новой Любви. Дело в том, что ее муж; обладал весьма тяжелым, конфликтным характером и на развод никогда бы не согласился, а женщине хотелось быстрее соединиться с Любимым. Пара молодоженов светила блаженством, а все смотрели на них и думали, что это счастье зиждется на мерзости, однако виду не подавали, и, разумеется, никто не посмел бы даже шепотом назвать этот поступок преступлением. Впоследствии супруги уехали в другой город. Я не знаю, что с ними случилось потом, однако не могу представить, чтобы на подобном фундаменте могло построиться нечто завидное.

Любовь-обсессия. Это тот вид Любви, когда она заслоняет все прочие

стороны жизни. Партнеры погружены только в собственные переживания, всецело поглощены друг другом, не интересуются окружающим миром – существуют отдельно от него. Такая пара представляет собой замкнутую систему, пожирающую без остатка все топливо, которое она производит. Любящие часто даже не заводят детей – они не нужны, они могут стать помехой. Никто не смеет вторгаться в эту вселенную на двоих.

Конечно, это всегда очень сильная Любовь, и склонность к ней испытывают люди мономаниакального склада. Собственно, эта Любовь, как любая obsессия, и является маниакальным состоянием.

Владимир Соловьев в «Смысле любви» пишет, что чрезмерно сильная Любовь почти всегда бывает несчастной. Что ж, всякая чрезмерность – это перекосяк и пережид; она патогенна и может перерасти в болезнь, в данном случае психическую. Стендаль приводит отрывок из письма барышни, ставшей жертвой подобного чувства (и впоследствии наложившей на себя руки): «С этой минуты он стал владыкой моего сердца и меня самой, и притом до такой степени, что это привело бы меня в ужас, если бы счастье видеть Германа оставило мне время для размышлений обо всем остальном в жизни». В том-то и беда: у Любви-obsессии не остается ни времени, ни сил «для размышлений обо всем остальном в жизни».

Это нездоровое состояние очень романтизировано художественной литературой, а теперь еще и кинематографом, поскольку сильные страсти импозантно смотрятся со стороны, однако на самом деле речь идет о серьезной экзистенциальной дисфункции.

Самый яркий, соблазнительно звучащий панегирик в честь Любви, изолированной от мира, я прочитал в одном романе, который мне тайком дали знакомые в машинописной копии. Это сочинение когда-то популярного, а ныне почти совершенно забытого прозаика и драматурга Михаила Булгакова. К огромному сожалению, вещь не может быть издана в нашей стране по идеологическим причинам, хотя она сильнее всех опубликованных книг этого автора. В романе описана Любовь между мужчиной и женщиной – такая мощная, что они забывают обо всем на свете, даже не помнят имен своих прежних супругов и в конце концов вместе уходят из жизни. Но попадают не в Небытие, а в тот мир, который более всего соответствует их Любви: в некий вечный дом, тихое пристанище, где никого кроме них нет и никогда не будет. Туда могут зайти на огонек какие-то друзья, но они необязательны и не нужны. Любящим совершенно достаточно друг друга.

Образ «вечного дома на двоих» безусловно красив, но эта красота обманчива. Человеку мало Любви ради Любви, он не может замереть

в остановившемся счастливом мгновении, как муха в янтаре. Нужно развиваться, становиться лучше – и менять жизнь к лучшему. Иначе существование пустоцветно и бессмысленно. Правда, герой Булгакова написал гениальный роман, но это-то как раз произошло в прежней, настоящей жизни. Не похоже, что в своей волшебной изоляции он напишет что-то еще. Да и для кого? Для одной Маргариты (так зовут героиню)? Но ей нужно не творчество Любимого – лишь он сам.

Конечно, мечтать о таком счастье мог только очень усталый, затравленный невзгодами человек, каким, вероятно, ощущал себя автор, чья жизнь пришлось на очень тяжелые для всех нас времена. Пожалуй, эта мечта сродни моей собственной зависти к тихому франкфуртскому существованию Шопенгауэра. Тот же искейпизм, бегство от жизни, но только вдвоем.

Еще есть две родственные, хоть и противоположные по эмоциональному градусу мучительные девиации, которые можно назвать **«садистской» Любовью** и **«мазохистской» Любовью**. С точки зрения «теории Голода» идеальной парой являются натура «садистского» типа и натура «мазохистского» типа, так как они взаимно удовлетворяют внутренние запросы друг друга. Должен оговорить, что меня несколько коробят эти термины, ассоциирующиеся прежде всего с половым извращением, хотя на самом деле я имею в виду нечто совсем иное, просто не сумел подобрать удачного обозначения, вот и не придумал ничего лучше, как ограничиться введением кавычек. Поэтому все-таки поясню.

Под человеком «садистского» склада я имею в виду личность активную, деятельную, *навязывающую себя* окружающему миру, пытающуюся его преобразовать – уж к добру или к худу, зависит от того, хорош или плох сам «садист». К этому типу принадлежат революционеры, первооткрыватели, реформаторы, равно как и тираны, завоеватели, кровавые преступники. (Если говорить о моей профессии, то я заметил, что медики подобного психологического склада чаще всего встречаются в хирургии, причем истинно выдающиеся операционисты таковы практически без исключения.)

«Мазохист» имеет природную склонность принаравливать к обстоятельствам, а не менять их. Среди лучших образцов этой человеческой разновидности можно встретить христианских мучеников-непротивленцев, альтруистов, пацифистов. Среди худших – трусов, предателей, патологических бездельников.

В Любовном отношении «садист» энергично добивается взаимности,

а не получив ее, теряет интерес к объекту. «Мазохист» же скорее будет вздыхать на расстоянии и мучиться от неразделенной Любви, ибо само это страдание способно стать утолением его Голода.

Теперь, сделав необходимое разъяснение терминологии, перейду к описанию двух этих Любовных «болезней», каждая из которых является формой взаимоотношения.

«Садистская» Любовь возникает, когда вследствие тех или иных обстоятельств сходятся два человека этого разряда. На первый взгляд может показаться, что такая коллизия противоречит «теории Голода», но на самом деле это не так. Внутренний Голод – фактор гораздо более сложный, чем стремление пассивной природы к активной и наоборот; он может объясняться тысячью иных мотивов, спрятанных в глубинах подсознания.

Так или иначе, подобные союзы возникают и относятся к числу самых страстных. Обиходное название взрывных отношений данного рода – «любовь-ненависть». В жизни этот феномен наблюдается у пар, которые без конца ссорятся и мирятся, скандалят и потом кидаются друг другу в объятия, время от времени шумно расстаются, однако, к изумлению окружающих, всякий раз снова сходятся. Это несомненно Любовь, и пламенная, но ее огонь не несет ничего кроме нервического истощения.

Бурные, мелодраматические отношения двух «садистов» являются одной из самых благодарных тем для художественной литературы. Такая Любовь, например, связывает Настасью Филипповну и Рогожина в романе «Идиот». Трудно сказать, чего в этих болезненных отношениях больше – Любви или ненависти, однако «садистский» накал несомненен и в конце концов приводит обоих персонажей к трагическому финалу.

«Мазохистская» Любовь – явление совсем не живописное и потому в жизни встречается много чаще, чем в книгах. Когда соединяются два пассивных человека, притом оба *любители пострадать*, возникает чрезвычайно депрессивная, безысходная ситуация, наблюдать за которой со стороны бывает тоскливо и скучно.

У такой пары непременно находятся очень тяжелые обстоятельства, мешающие их счастью. Это не Любовь, а какой-то нескончаемый марш через топкое болото, сопровождаемый горькими вздохами и рыданиями. Очень часто «мазохистская» Любовь так и остается незавершившейся, ибо у партнеров не хватает смелости, решимости, жизненной силы одолеть реальные или ими самими придуманные преграды.

Классический пример такой унылой Любви дает Чехов в пьесе «Три сестры», сводя Машу с Вершининым. Объективное препятствие заключается в том, что оба женаты. Субъективное – в «вечнострадательном» устройстве Любящих.

Машу выдали замуж восемнадцатилетней, она так и не полюбила своего супруга, томится и его обществом, и средой, в которой существует, однако не предпринимает никаких попыток освободиться, а только вздыхает, что жизнь скучна, да повторяет всегдашний аргумент безволия: «Значит, судьба моя такая».

Еще более жалок подполковник Вершинин, человек зрелый и к тому же вроде бы принадлежащий к «садивской» военной профессии. Он беспрестанно рассуждает о том, какой прекрасной и изумительной будет жизнь через двести лет, так что с третьего раза это уже начинает вызывать смех, да жалуется на мучающую его жену. Даже поручик Тузенбах, обычный для Чехова вяло-положительный, обреченный персонаж, и тот знает, что нужно сделать: «Я бы давно ушел от такой, но он терпит и только жалуется». Настоящим манифестом экзистенциального «мазохизма» звучат слова Вершинина: «И как бы мне хотелось доказать вам, что счастья нет, не должно быть и не будет для нас... Мы должны только работать и работать, а счастье это удел наших далеких потомков...» Их с Машей роман мучителен, вял, тянется годами и обрывается разлукой, которая воспринимается обоими как фатум, а мною как читателем даже с облегчением.

Дело в том, что Любить нельзя с причитаниями и тоскливым кряхтением. Любовь не ноша и не крест, она – счастье, дар судьбы. Конечно, у этой розы есть шипы, о которые больно колешься, и все же она – Роза.

Я уверен, что человек, который не осмеливается бороться за счастье, неспособен к Настоящей Любви и никогда ее не достигнет.

Самоубийственная Любовь. Это малораспространенный, но, по несчастью, соблазнительно поэтизированный вид болезненной Любви, возводящий ее до уровня культа, Высшего Существа, на алтарь которого можно принести и собственную жизнь. Искусство всячески воспекает подлинные и вымышленные истории о двойном самоубийстве влюбленных, для которых жизнь друг без друга лишалась всякой ценности.

«Одна судьба у наших двух сердец: замрет мое – и твоему конец!» – сказано в шекспировском сонете, и эта идея тысячу раз повторена в других стихах, так что превратилась для влюбленных в род священной мантры.

Если в западной традиции это всё же скорее поэтическая гипербола и трагические развязки в духе Ромео и Джульетты встречаются редко, то в Японии, как я читал, они довольно обыкновенны и возведены в ранг наивысшего проявления Любви. Там существует целая библиотека классических литературных произведений, воспевающих «самоубийство по сговору». Буддистам роковое решение дается легче, ибо они верят в перерождение душ, и влюбленные покидают эту реальность в надежде, что следующая жизнь будет к ним более добра.

Мотивы двойного самоубийства обычно возвышенны.

Часто это проявление солидарности: один из партнеров смертельно болен или каким-то иным образом находится на пороге неминуемой гибели, и второй отказывается бросать Любимого в беде, уходит вместе с ним.

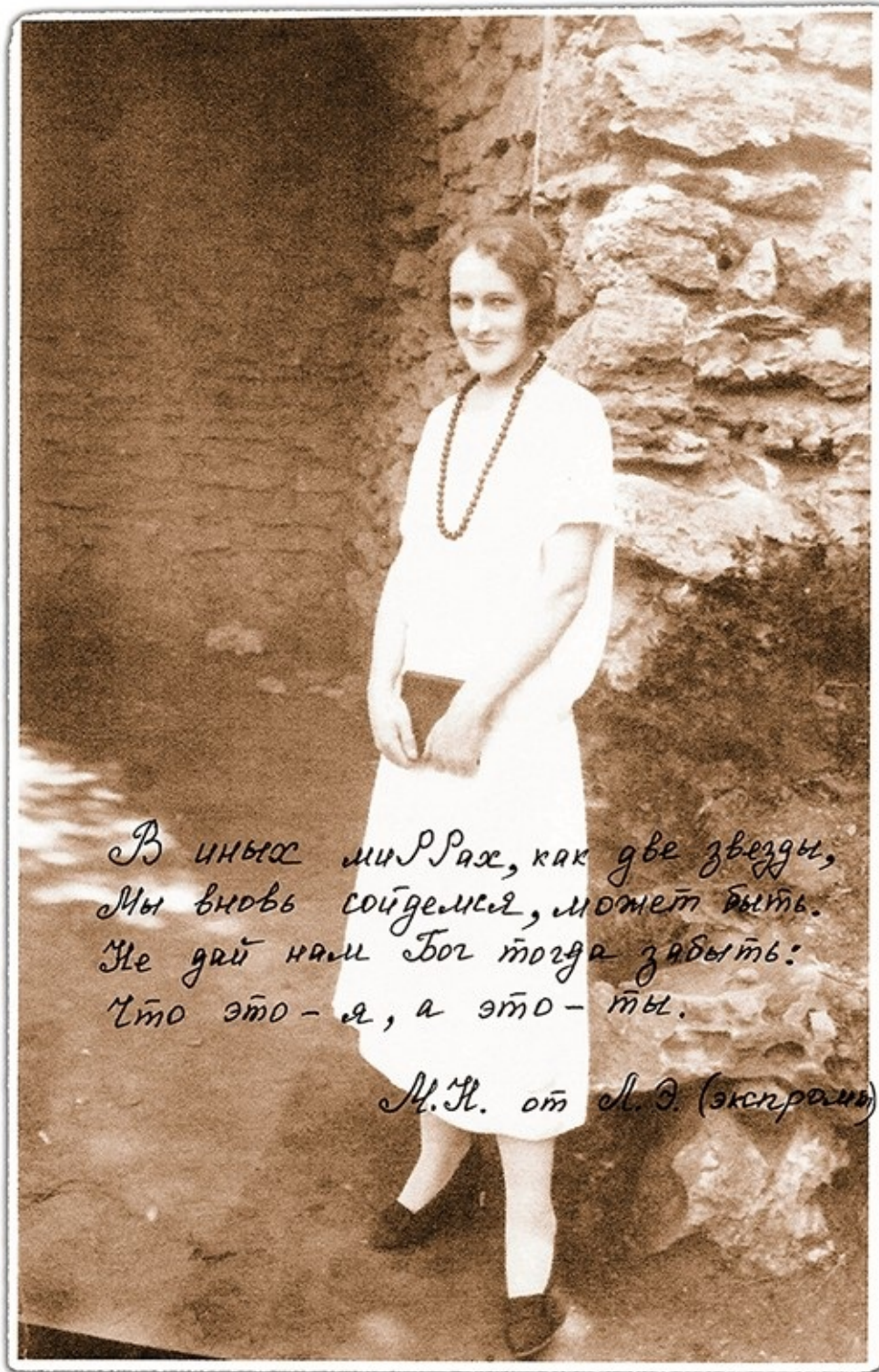
Иногда самоубийство совершают перед лицом неизбежной и вечной разлуки.

Наконец, известны случаи, когда люди, в особенности совсем молодые, убивали себя, поняв, что в силу каких-то причин они не смогут соединиться.

Должен признаться, что я не без внутреннего протеста причисляю такую Любовь к разряду болезней, поскольку мне драгоценна память моих родителей, ушедших из жизни этим трагическим способом. Однако я полагаю, что истинное назначение Любви – быть не только эйфорическим переживанием или душевной близостью двух «я», но стать катализатором, который делает каждое из них выше и лучше, а не убивает их мощью химической реакции. То, что я называю НЛ и что является Путем, не может вести к добровольному самоистреблению.

Даже будучи обречен на смерть, человек, Любящий по-настоящему, должен самой своей гибелью дать некий импульс, который сделает Любимого сильнее, а не раздавит его и не отберет волю к жизни. Пусть оставшийся живет за двоих. Не ради биологического существования, а ради того, чтобы полностью осуществить свое высокое предназначение (а я уверен, что предназначение всякого без исключения человека – высокое, как бы бездарно или преступно в реальности он ни обошелся со своей жизнью).

Впрочем, проблему Любви как сверхкульты, превосходящего своим значением ценность физического бытия, невозможно рассмотреть в отрыве от темы, которую я затрону в следующей главе.



В иных мирах, как две звезды,
Мы вновь сождемся, может быть.
Не дай нам Бог тогда забыть:
Что это - я, а это - ты.

М.И. от Л.Э. (экспресс)

(Фотоальбом)

* * *

Когда Панкрат Евтихьевич был чем недоволен – злился либо не мог решить какую заковыку, он вел авто сам, а Филиппа отправлял назад, чтоб не мешал обзору. На газ товарищ Рогачов жал, как бешеный, на поворотах скорость не сбрасывал, в клаксон дудел резко, будто всех встречных-поперечных матюками обкладывал. Прямо другой человек становился. В жизни-то сдержанный, редко на кого голос повысит, а за рулем проступала настоящая натура.

В такие времена нужно было держать себя тихо, с разговорами не лезть, поэтому Филипп не шевелился, глядел в окно, чтоб случайно не встретиться в зеркале с бешеным рогачовским взглядом.

На Страстной машину остановил постовой, потому что по бульвару, поперек, ехал кавалерийский эскадрон. Постовому, конечно, интересно, кого это в большом черном автомобиле везут. Приблизился, как бы прохаживаясь, покосился на пассажира – не на шофера же. Филипп придал лицу задумчивость, взор обратил как бы ввысь, на голову бронзового поэта Пушкина. И вообразил, будто он – большущий ответ-работник и персональный водитель везет его по важным государственным делам.

А что воображать? Дело действительно огромное, сверхсекретное, и Филипп в нем хоть и не мотор, а всего лишь маленькая шестеренка, но вылетит она – и весь механизм зачихает, засбоит.

Ехали они от товарища Мягкова, где проходило экстренное рабочее совещание, по чрезвычайному поводу. Поступил сигнал из политотдела ГПУ: враги готовят контрудар. Чувствуя, что им скоро кирдык, «старая» оппозиция, новая «оппозиция», «рабочая» оппозиция забыли о прежних раздорах, перестали между собой собачиться, объединились. Товарищ Троцкий теперь заодно с товарищами Зиновьевым и Каменевым; к ним примкнули товарищи Шляпников, Радек, Смилга, Крестинский, много других известных всей партии товарищей и даже – вот те на – Надежда Константиновна Крупская, вдова Ильича. У них будет единый блок. Блок – это каменная или бетонная глыба так называется. Вон оно как.

Товарищ Мягков проинформировал товарищей, что, используя недовольство части рабочего класса безработицей и низкой зарплатой, вожди троцкистско-зиновьевского блока собираются выступить с планом коренной перестройки всего социалистического хозяйства. Эта опасная доктрина (проще сказать – идея) называется «Сверхиндустриализация». Смысл ее в том, чтобы превратить Россию крестьянскую в Россию

индустриальную, а для этого нужно заставить мужика из деревни идти в города, на заводы и стройки. Чтоб отошел от мелкособственнической идеологии и превратился в сознательного пролетария. Надо-де форсировать тяжелую промышленность и военное производство. Заодно и всю страну приучить к военной дисциплине.

Не бляхинского ума дело было рассуждать, правильная это доктрина или нет. Но и он, маленький человек, понимал, что затея очень опасная. Потому что *наша* линия – товарищей Сталина и Бухарина – совсем другая: на вращение крестьянина-середняка в социализм, на развитие сельского хозяйства. Чтоб наконец уже накормить трудовой народ, а то хватит, наголодались. Да что трудовой народ, плевать на него! Беда в том, что рабочим и нижним партийцам троцкистско-зиновьевская идея понравится, а это значит, что *наших* – и Самого, и товарища Бухарина, и прочих, включая товарища Рогачова – в бараний рог согнут. Власть штука жесткая. Или ты наверху, или ты внизу. Посередке не бывает.

Тревожно было на сегодняшнем совещании в кабинете товарища Мягкова.

– Демагоги! Спекулянты! Заигрывают с рабочим классом! Дешевой популярности ищут! – сердито сказал Панкрат Евтихьевич, и Филя немного расслабился. Это был хороший знак, что товарищ Рогачов перестал злобу внутри держать. Сейчас – известно – начнет говорить, как бы беседуя, а на самом деле для самого себя. Формулирует мысли. Худшая гроза позади.

– Страна-то все равно крестьянская, минимум на четыре пятых! Ну, сгонят они в трудовые лагеря или в заводские казармы десятки миллионов мужиков – и что? Только деревню разорят. А чем новым рабочим будут зарплату платить?

Бляхин помалкивал. Его ответы Панкрату Евтихьевичу не требовались.

– Прав Бухарин. Кого это он сегодня цитировал, Стендаля? «Не малое количество колоссальных состояний образует богатство страны, а множество средних состояний». Нужно делать ставку на середняка – работника, кормильца. Они поднимут страну, выведут из нищеты. Вот тогда будет на что разворачивать масштабную индустриализацию! И НЭП пока тоже отменять нельзя. Кто будет обеспечивать потребление? Государство? Это ж какой обслуживающий аппарат придется создать! Миллионы дармоедов-совслужей, кто ничего не производит, а только планирует и распределяет. Еще и руки, конечно, станут нагревать, как же у нас без этого?

– Это да, – сказал Филипп в паузе, потому что товарищ Рогачов

надолго замолчал. – Всякий попользуется, ясно.

Когда через площадь тянулся уже самый хвост эскадрона, то есть минут наверно через пять, Панкрат Евтихьевич снова заговорил, и теперь уже без горячности. Остыл, значит.

– Но ведь и Троцкий, черт его дери, прав. Война с мировым капитализмом обязательно будет. Не оставят они нас в покое. Не дадут спокойно богатеть, мирный социализм строить. А как воевать без тяжелой индустрии, без броневиков, танков, самолетов?

При таком его тоне уже можно было и в разговоре поучаствовать.

Филипп осторожно спросил про главное:

– Вы с Самим говорили. Он-то как?

– Говорил. Изложил ему свои сомнения. – Широкое кожаное рогачовское плечо приподнялось и опустилось. – У него одна песня: на корабле двух капитанов не бывает. Сначала, говорит, нужно крепко руль взять, а там уже будем смотреть, куда ехать и где поворачивать. И в этом он, конечно, прав. Война с буржуазией продолжается, хоть и без выстрелов, а на войне двух командующих быть не должно.

– Как Сам говорит, так и надо делать, – убежденно сказал Бляхин.

Товарищ Рогачов сидит высоко, а оттуда всё видно хоть и далеко, да неясно. А с бляхинской точки обзора, из середины, и верх и низ просматриваются. Отсюда виднее, где правда. Правда – она всегда там, где сила. Сила же была не у оппозиции, сколько бы там ни состояло заслуженных товарищей и героев революции, включая даже вдову Ильича.

– Ладно, – вздохнул Панкрат Евтихьевич, – роскошь сомнений оставим на более спокойное время. Спать сегодня не придется. Сейчас сядем с тобой, пройдемся еще раз по секретарям парткомов. Мягков насчитал семь двурушников, и еще восемнадцать у него под сомнением. Список мне дал. По сомнительным, по каждому, требует мое персональное заключение, под личную ответственность. А по тем семерым – предложить кандидатуры на замену.

Бляхин крякнул.

– Я это... Папку давеча домой увез.

– Опять? – коротко, недовольно обернулся Рогачов.

Не объяснишь же ему, что хочется побольше бывать дома. Но Филя своего начальника хорошо изучил. Знал, что оправдываться ни в коем случае нельзя. Надо напористо, грубовато – это давно проверено.

– Вам чего от меня надо? Чтоб я за столом штаны просиживал или чтоб для дела лучше? – как бы обиделся он. – Дома работа быстрее идет. Если глаз совсем уж слипнется, поставлю будильник, часок

покемарю – и снова сила есть. Это вам у себя в кабинете хорошо, у вас там койка стоит. А я сижусь-сижусь, потом – бух лбом об стол. Шишку уже набил.

Не рассердился Панкрат Евтихьевич. Наоборот, рассмеялся.

– Ладно, заедем за папкой, и в наркомат. Ты где обитаешь?

– В Безбожном...

Филипп слегка поджался. Никогда раньше товарищ Рогачов личными его обстоятельствами не интересовался. Неуютно как-то стало. Непривычно.

– Это, значит, через Сретенку на Первую Мещанскую. А там покажешь...

После Сухаревской, откуда до дому рукой подать, сделалось Филиппу совсем нервно. Едва остановились подле приличного, недавней постройки дома работников Наркомпрома, Бляхин выскочил чуть не на ходу, сказавши:

– Я мигом.

– погоди, – остановил его Рогачов. – У тебя там ватерклозет есть? Приспичило.

– Есть... – пролепетал Филипп упавшим голосом.

И стало ему совсем нехорошо.

Посмотрит Рогачов, схимник большевистский, на бляхинское домашнее обзаведение, увидит сдобную жену-поповну – ох удивится. Зажгутся в глазах недобрые огоньки, как бывает, если кто из своих товарищей скверно себя покажет. Из-за чепухи всю свою будущность погубить можно.

По партмаксимуму, согласно табелю, полагалась Бляхину зарплата на уровне рабочего пятого разряда. Со сверхурочными-командировочными выходило от ста десяти до ста пятидесяти в месяц, не пожирешь. Но и жаловаться не могли, потому что у самого Рогачова, по самой первой категории, соответствующей ставке слесаря высшего разряда, получалось не больше двухсот пятидесяти.

Но деньги – это они при старом режиме были всё. При социализме гораздо важнее, какое человеку от партии и государства уважение. Ну и голова на плечах, жизненный ум тоже имеют значение. В совмагazine, скажем, сапоги хромовые по таксе 19 рубликов, штиблеты – десятка, пальто хорошее – двести. И поди еще достань. У частных всё то же самое без очереди, но вдвое, если не втрое дороже. А у Бляхина – знакомый товарищ в Главупре таможенного контроля, подчиняющемся родному наркомату. И всегда можно с распределителя, где таможенный конфискат, взять

хорошие заграничные вещи, по цене очень даже приятной. Филипп брал домашнее – посуду, граммофон, мебель – всё самое красивое, Софе на радость, а вот одежду, в чем ходить, такую, чтоб в глаза не лезла. Не «Мосшвею», конечно, не «Красный богатырь», однако и не эстонские габардины с польскими велюрами, не желтые кожаные краги, а вещи ноские, но не броские.

Войдет сейчас товарищ Рогачов в отдельную квартиру и увидит там комод красного дерева, стол на львиных лапах с кружевной скатеркой, персидский ковер на стене, граммофон «Голос его хозяина», постель с полированными шарами. Да много что увидит...

Деваться, однако, было некуда.

На свой второй, самый лучший этаж Филипп плелся, будто на неминуемую казнь. Рогачов топал сзади, в спину подталкивал: «Шевелись, Филя, если не хочешь, чтобы член ЦК и трижды орденоседец у тебя в подъезде обоссался».

Однако когда Софа открыла дверь и Панкрат Евтихьевич на нее, паву белую, посмотрел, то на время и про нужду забыл.

– Ого, – молвил. – Ну ты, Филипп, конспиратор... Женился и не рассказываешь!

Софочка, откуда что берется, не заробела, не законфузилась, хотя сразу поняла, кого это муж; привел. Подала руку скромно, но без ужимок, а с почтительной улыбкой.

– Да не жена она мне, – поспешил сказать Бляхин, потому что жену полагалось в учетную карточку вписывать. – Так, живем...

Пока товарищ Рогачов в санузле отсутствовал (а там, эх, зеркало с золотыми завитками во всю стену, картинки на стене Софины, с кошечками!), Филипп в комнате сделал, что успел: граммофон сунул в кладовку, ковер со стены сорвал, под кровать запихнул, на тумбочку кинул, стряхнув пыль, второй том «Капитала». Хотел еще с накрытого, как обычно, стола бутылку рябиновой и блюдо с осетриной убрать, но Софа вцепилась, зашептала: «Ты что! У меня и так ничего приличного. Хоть бы предупредил, какой гость будет!»

Только и успел на нее шикнуть «дура!» – как вошел Панкрат Евтихьевич, руки носовым платком вытирает.

– У вас там полотенце столь ослепительной белизны, что не решился воспользоваться. Ручку на авто крутил, маслом запачкался.

Тут Муня подошла, чуя от хозяев к новому человеку особенное отношение, и тоже проявила гостеприимство: потерлась о сапог, вежливо поурчала.

– Ишь ты, и кошка у тебя есть, – усмехнулся Рогачов.

А у Бляхина – будто кошка острыми когтями скребанула, по сердцу.

– Вот она, папка, – сказал он деловито. – Ночь прошлую не поспал, всё вами веленное исполнил.

– Уютно у вас тут. Жалко уходить. – Рогачов оглядывался, улыбаясь какой-то не своей улыбкой. Филипп никогда раньше у него такого выражения на лице не видывал. – Однако надо ехать.

– Покушали бы. – Софа показала на стол. – Если времени мало, хоть закусок. А то котлеток разогрею, быстро. У нас плита отличная, американская. Такая быстрая!

– Торопимся мы, красавица. Некогда.

– Как хотите, а напусто не отпущу, грех это, – решительно сказала Софа. – С собой соберу. Одну минуту только дайте. Хоть по часам смотрите.

– Шестьдесят секунд – это можно.

Товарищ Рогачов засмеялся, щелкнул крышкой наградного хронометра. Но глядел не на стрелку, а на Софочку, с удовольствием.

Она быстро и ловко сделала сверток: хлеб, ветчина, сыр, шесть пирожков, соленые огурчики. Управилась ровно за минуту. И сверток получился красивый – как подарок из магазина.

Филипп смотрел на нее, гордился. Тем более что недобрых огоньков, каких он так боялся, в глазах у товарища Рогачова вроде бы не зажглось.

По пути в наркомат Бляхин еще опасался, поглядывал в затылок начальнику с тревогой.

А Панкрат Евтихьевич помолчал-помолчал, о чем-то размышляя, и говорит:

– Правильно делаешь, Бляхин. Живи. Не бери с меня, дурака, пример. А то так и просражаешься за светлое будущее до старости, не увидишь жизни. – И обернулся, несколько не сердитый. – Ты, наверно, хочешь со своей красавицей побольше времени проводить, а я тебя с утра до утра, в хвост и в гриву. Ты отпрашивайся, не робей. Когда ситуация позволяет – буду отпускать.

Вот это Филиппу сильно не понравилось. Не того он, оказывается, боялся. Мебелей-картинок товарищ Рогачов, поди, и не заметил, у него взгляд по-другому устроен. Но *другой интерес* в бляхинской жизни почуял. А это плохо, опасно. Не должно быть у Филиппа никаких интересов кроме тех, что нужны и важны начальнику. На том с восемнадцатого года и держимся.

– Мне, Панкрат Евтихьевич, на всё, кроме работы, с прибором

покласть, – буркнул он сурово. – И на красавицу тоже. Незачем мне от нашего дела отпрашиваться.

Рогачов рассеянно сказал, думая уже про другое:

– Ну-ну. Тогда папку в зубы и за мной.

Они уже подъезжали к наркоматовской парадной.

* * *

Закончили работу над списком поздно ночью. И хоть был уже третий час, отправился Бляхин с папкой к товарищу Мягкову – там ждали, уже несколько раз звонили. Время сейчас горячее, спать некогда.

Идти было близко, через площадь.

Там, в ЦК, Бляхину показалось странно. Снаружи посмотреть – окна темные, вроде и свет не горит, а вошел – мама родная! Шторы плотно задвинуты, поэтому с площади и кажется, что электричество выключено, а внутри, особенно на этаже Орготдела, осиный рой: пишущие машинки стучат, телефоны звонят, телеграф стрекочет, порученцы с бумагами носятся. В приемной у товарища Мягкова очередь на стульях, и люди всё серьезные – сразу видно.

Вот она где, настоящая сила. Мозг, сердце, железный желудок власти.

Филипп спокойно так, уверенно направился прямо к секретарскому столу, поручкался с Унтеровым.

Тот кивнул:

– Принес? Сейчас доложу.

Заглянул к начальнику, через полминутки вышел и сразу поманил: давай, заходи.

Приосанившись, на глазах у очереди, Бляхин с непроницаемым лицом прошел за мягкобесшумную кожаную дверь.

Внутри над столом сиял приятный зеленый свет, озаряя зеленое же сукно стола. Блестел бритый череп большого человека, черными искрами посверкивали телефоны, и было их вдвое больше, чем на столе у товарища Рогачова.

– Здравия желаю, Карп Тимофеевич, – почти по-военному поздоровался Филипп. – Вот, подготовили.

Мягков одной рукой прижимал к уху трубку, другой чиркал красным карандашом по бумаге.

– Ага, – сказал, – понятненько.

Не Бляхину, а в трубку. Филиппу же помахал карандашом: папку – на стол, сам – в кресло сядь.

Сел, как сидел бы на табуретке: спина прямая, немножко наклоненная вперед.

– Ну, это ты боженьке на том свете пожалуешься, – хихикнул товарищ Мягков. Он был мирный, довольный, нисколько не усталый. Видно, что человек занимается своим делом, которое любит и в котором мастер. Шевелит людьми, организует, выстраивает. – Теперь доложи про сучьего потроха Максимова, и тогда иди, долечивайся.

Это который же Максимов теперь у нас сучий потрох, прикидывал Бляхин, скромно глядя вниз, на свои руки, сложенные на коленках. Который сибирский красный герой или который кандидат в члены ЦК? Надо бы установить. Пригодится. А что товарищ Мягков при Филиппе не опасается такие вещи говорить, это было ценно и лестно. Значит, совсем за своего считает.

Карандаш уже прыгал по их с товарищ-Рогачовым списку, что-то там окружал кружочками, а что-то подчеркивал.

– Ясно, – мурлыкнул Карп Тимофеевич. – Всё, свободен.

Положил трубку и одновременно с этим отложил карандаш. Значит, список уже отработан. Вот какой это был человек, Мягков – никогда не торопился, а всё попевал.

– Толково, толково, – сказал он уже Бляхину, возвращая папку. – Отнесешь Панкрату, пусть мои пометки посмотрит. А насчет тех, которые в кружке, я с ним по вертушке поговорю.

«Вертушка» было слово новое, важное для тех, кто понимает. Такой специальный телефон, который работает не через оператора, а напрямую – вертишь диск с цифрами и сразу попадаешь к кому нужно, к абоненту особой сети. На весь СССР таких людей максимум человек триста. Они и есть – государство.

– Через пять минут будет у Панкрат Евтихьяча, – поднялся из кресла Филипп, всем видом являя, что не желает у занятого человека отнимать ни секундоочки лишнего времени.

– погоди ты, сядь, – по-доброму улыбнулся ему товарищ Мягков. – Давно с тобой потолковать хочу не по делу, а по-людски. Всё бегаем, суетимся, времени вечно нет, а кроме работы есть еще и товарищеские отношения.

Бляхин сел обратно, внутренне мобилизовался. Раньше Мягков никогда с ним так не разговаривал, а он зря ничего не делает.

– Нравишься ты мне, Филипп. – (Ого, и имя помнит!) – И не только

потому, что хороший работник. А потому что вижу: любишь ты Панкрата всем сердцем, заботишься о нем, не побоюсь сказать, по-матерински. Он в некоторых делах и есть малое дитя, за которым доглядывать надо, – душевно улыбнулся Мягков. – Чтоб вовремя поел, тепло оделся, сколько-нисколько поспал. Незаменимый ты для Рогачова помощник, Филипп. А поскольку Панкрат для партии – как алмаз драгоценный, то получается, что ты – золотая для алмаза оправа. Да, Бляхин, люди вроде тебя – золотой запас нашей партии. Это недавно Сам так сказал, по другому поводу. Товарищ Сталин! – Он со значением поднял палец.

Сладкая тревога – вот что ощущал сейчас Бляхин всем чревом. Что-то дальше последует?

– Я, Филипп Панкратович, советы редко кому даю. – (И отчество знает!) – Потому что у каждого своя жизнь, и кому судьба потонуть – пускай тонет. А тебе посоветую, из большого к тебе расположения. – Оказывается, Мягков уже не улыбался. То есть пухлые губы были еще раздвинуты, но маленькие глаза из-за мятых век глядели нещутливо. – Не валяй дурака. Не ставь крест на своем будущем. Избавься от своей поповны, пока не поздно. Зачем тебе при самом начале подъема такое обременение? Короче, сам решай. Знай только: я добра тебе желаю. Всё, ступай к Рогачову. Скажи, в четыре ноль-ноль позвоню.

И опустил круглую голову, потянул из стопки какую-то другую папку, сунул в рот незажженную трубку. Перестал обращать на маленького человека внимание.

Бляхин вышел на плохо гнущихся ногах. В приемной кивнул Унтерову на какой-то вопрос, которого не расслышал.

– Вот те на, вот те на... – бормотал он, спускаясь по лестнице.

Было Филиппу паршиво, хуже некуда. Конечно, и страшно тоже, но еще больше – паршиво. Будто вынули из него всю внутреннюю, и осталась от Филиппа Бляхина одна оболочка: шкура, прическа, да френч с сапогами, а начинки никакой, и голова пустая, так что сквозняком продувало от уха до уха.

Мыслей же никаких не было. Колебаний тоже. Какие после такого разговора могут быть колебания?

Домой попал на рассвете. Софочка встретила в прихожей, только с постели, одетая в одну ночную рубашку. Обняла – горячая, теплая.

– Устал, бедный ты мой. Ложись, поспим.

– Нет, – сказал он, глядя в сторону.

Она ничего такого не угадала.

– А у меня гляди что. – Положила его ладонь себе на живот. –

Чувствуешь? По-моему, шевелится!

– Не выдумывай. Рано еще.

Филипп руку отнял, прошел в комнату. Сел к столу, не снимая ни кожанки, ни фуражки. Будто не у себя дома.

– Короче так, Софья. Объяснять тебе ничего не буду. Не имею права, потому что дело государственное. Но жить с тобой я больше не могу. Нельзя это при моем положении.

Лицо у нее сделалось непонимающее, испуганное.

– погоди, слушай. – Он поднял руку. – Я уже всё придумал. Жить будешь отдельно. Комнату снимешь. Денег я дам. Буду к тебе заезжать. По мере моей возможности. Ясно?

Она кивнула, потому что всегда с ним соглашалась. Особенно если он говорил таким, как нынче, голосом.

– И дитё не бросишь? Мне одной поднять трудно будет...

Золотая она была женщина. Филипп даже глаза отвел, чтобы не рвать себе сердце больше нужного.

– Про дитё не беспокойся. Аборт сделаешь. На это денег тоже дам.

– Филя, ты что?! – ахнула Софа. – Грех ведь это, смертный! А и поздно уже скидывать.

– Ничего, выскоблят как-нибудь. Сейчас медицина знаешь какая. Никак мне нельзя на стороне ребенка иметь, тем более от такого элемента, как ты.

И тут Софочка, безотказное существо, Бляхина расстроила.

Сцепила руки на брюхе, глаза опустила.

– Оно живое уже. Убивать не буду. Что хочешь делай. Не буду – и всё.

– Ишь как заговорила! – рассердился Филипп. Ему и так было трудно, без ее упрямства. Решение всё равно с нею встречаться, несмотря на риск, большой смелости потребовало – и ничего, не испугался. А она вон как?

– Тогда на меня не записывай. Откажусь, – припугнул он. – И ходить к тебе не стану. Живи, как сумеешь. Только на какие шиши? Думай, курица...

Ничего она не думала, это было видно. Просто стояла, носом шмыгала, за живот держалась. Жалко ее было – мочи нет. Но Филипп себе раскисать не дал.

– В общем так. Я сейчас накоротко заскочил, пока товарищ Рогачов отдыхает. Через час должен я его разбудить. Будем дальше работать. А к двенадцати он уедет на Совнарком, и тогда я вернусь. Решай. Если возвращаюсь и ты здесь – значит, на всё согласная. Сам найду тебе комнату, перевезу, устрою. Но чтоб больше никаких споров и мокрых глаз. А если

ты с моим решением в оппозиции – чтоб, когда вернусь, тебя здесь не было. Всё. Я сказал!

И пошел к выходу, нарочно обойдя Софу стороной.

Сердце потом, конечно, ныло – оно не каменное. И себя было жалко, и Софу, и нерожденного ребенка. Столько было про него говорено, гадаю – сын ли, дочка ли. Филипп хотел девочку – им на свете живется легче. Софочке хотелось мальчика, чтоб вырос таким, как Филя...

Голова у Бляхина соображала плохо. Записывать за товарищем Рогачовым под диктовку получалось, а на вопросы отвечал – мямлил. Панкрат Евтихьевич в конце концов стукнул его папкой по лбу.

– Совсем носом клюешь, Филипп. Катись-ка ты домой, к своей красе несказанной. Но не для жеребьячьего дела, а спать. Гляди, потом проверю!

На шутку Бляхин хмуро сказал:

– Нет никакой красы. Кончено. Поговорили крупно – разошлись. Не наш она оказалась человек.

И поскорей ушел, хотя Рогачов не из таких, кто стал бы расспрашивать. Он вон и сам со своей Барминой расстался – разошлись по принципиальным политическим вопросам. Так что еще можно было, пожалуй, из скверной этой истории какую-никакую пользу получить. В утешение.

Поднимаясь по лестнице, Бляхин перед самой квартирой сдвинул брови. Чтоб не вздумала канючить. Никуда она, конечно, не съедет, потому что ей некуда. Но поныть, помотать душу – это наверняка.

Слабины ни в коем случае не давать. Чем жестче себя поведешь, тем быстрее наладится.

Однако ошибся Филипп.

В квартире было тихо, как на кладбище. Ни Софы, ни Муни.

Вещи на месте, только в шкафу, на женской половине, висели пустые плечики.

Вся принадлежность домашнего уюта вроде осталась, как была: и коврики, и занавески, и вазочки. Исчезли только женщина и кошка, а стало будто в мебельном магазине – мертво.

Еще не веря, Бляхин походил, посмотрел, нет ли где записки.

Не было.

Тогда сказал вслух:

– Тьфу на тебя, дура. Пропади ты пропадом.

Сел к столу, уронил голову на руки и заплакал.

* * *

В воскресенье собирались в консерваторию. Антон пригласил. Мирра, если честно, такую музыку не понимала. Зачем она, если не танцуют, не маршируют и не поют? В глубине души всегда считала, что на классические концерты ходят исключительно чтоб повыпендриваться. Но когда Антон спросил: «Любишь Равеля? Есть билеты в консерваторию», – ответила: «Обожаю! Мировой композитор». И сердце пустилось в пляс, безо всякой музыки. Потому что сразу почувяло: в Клобукове что-то переменилось. В хорошую, важную сторону.

Пару дней после того, как они безуспешно пытались убедить академика еще пожить на белом свете, Антон не появлялся. Ну, Мирра решила, что неправильно поняла тогдашний его взгляд, в больничном коридоре. Поплелась в деканат, сдала заявление о переводе в Ленинград.

А назавтра объявился – будто и не пропал. Немножко странный. В глаза не смотрит, всё искоса. Но разговор у них получился обычный, ничего такого. Он: пойдешь на нового пациента посмотреть? Она, спокойно так: конечно, пойду.

В детстве Мирра ходила на речку уклеек ловить. И сейчас чувствовала себя, как на рыбалке: только бы не дернуть удочку раньше времени, чтоб не вытянуть пустой крючок. Была тихая, серьезная, говорила исключительно про медицинское. Но заявление в тот же день забрала обратно.

И вот – позавчера это было – вдруг позвал в консерваторию. И это еще не всё! Когда она согласилась, вдруг покраснел, и говорит:

– Если хочешь, можно потом ко мне заехать. Клавдий Петрович привез американский журнал «Новые исследования в анестезии и анальгезии». Там статья по лицевой хирургии. Тебе интересно будет. Я переведу.

– Спасибо. Заеду, если не поздно получится, – невинным голосом отозвалась Мирра.

Серебристая рыбка высунулась из воды. Осталось ее цап – и в ведро.

И помянула Мирра добрым словом, от всей души, академика Кузевича, дедушку Мороза. Пожелала ему царствия небесного, которого нет. Или пускай он лучше на том свете, которого тоже нет, встретился бы со своей безмянной любовью, чудесно помолодевший, поумневший и ничего не боящийся.

Ради поездки к Антону домой можно и сто Равелей перетерпеть. Неужели в воскресенье всё произойдет? Скорей бы оно уже наступило,

седьмое февраля 1926 года!

Два дня она как на крыльях пролетала. На ячейке Андропова даже спросила: «Носик, у тебя не тиф? Тихая какая-то, глаза сонные, щеки пылают. Дай-ка пульс измерю. Ого! Сто десять!»

К воскресенью Мирра готовилась всерьез.

Удачно сложилось с Лидкой. Ее «Тэодор» в пятницу вечером уехал в очередную заграничную командировку, и Эйзен в кои-то веки устроила себе отпуск: ночевала не на работе, а в общежитии. Договорились в воскресенье с утра пораньше заняться лицом и прической. А в субботу съездили в Моспотребкооп на Кузнецком, где у Лидки знакомая продавщица, и купили с переплатой (не по-советски это, но ладно) латвийское платье – черное, в белый горошек, безумной красоты. У Мирры платьев вообще не было, только две юбки, две блузки, свитер и шаровары – в консерваторию не особо сходишь, а платье было как раз такое, какое надо. В туфли можно было влезть Лидкины, она хоть и дылда, а нога маленькая. От сумочки Мирра отказалась – это уж вышло бы совсем нэпманство.

И вот в воскресенье, в восемь ноль-ноль, выдвинулась на исходные позиции. Обсудили план боевых действий: сначала волосы, потом лицо, потом ногти – они у Мирры были коротко стриженные, но Лидка пообещала сделать всё возможное и покрыть польским бесцветным лаком (на розовый и тем более красный Мирра не согласилась).

Пили чай, оживленно всё это обсуждали. Лидка даже слопала кусок хлеба с маслом, хотя обычно с утра ничего не ела, никогда аппетита не было.

Само собой, не обошлось без разговора про «Тэо». Когда он уезжал в свою заграничную командировку, Лидка поехала провожать его на вокзал, понарошку: предмет об этом не догадывался.

– За ним заехал на машине коллега, строгий такой мужчина. Теодор сел с чемоданчиком, меня не видел, я за своей тумбой пряталась. Но я знала, что они на Виндавский вокзал, мне консьержка сказала. Взяла экипаж [так Лидка называла извозчиков], и тоже туда. На перроне смотрела, как они садятся в международный вагон. Представляла, что провожаю его по-настоящему. Что он сейчас повернется, и я помашу ему рукой. Если бы он повернулся, я бы, конечно, махать не стала, а наоборот спряталась, но он не повернулся, и я помахала. Господи, мне ведь ничего больше не нужно! Только видеть его. Знать, что он есть...

Мирре от любимого было нужно много больше. И сегодня она всё это обязательно получит. Поэтому рассказ подруги она выслушала без обычных язвительных замечаний, а с жалостью. За пазухой словно

ворочался расшалившийся котенок – пушистый, теплый, царапающий мягкими коготками.

После завтрака Лидка объявила, что сначала ей надо самой навести марафет – для правильного настроения. Тот, кто творит красоту, должен чувствовать себя красивым. У Мирры сегодня такой важный день, что всё должно быть безупречно.

Села к зеркалу, стала красить глаза. Мирра же пока сходила на вахту – как раз в это время приносили свежие газеты. Это она такую нагрузку взяла: отвечать за общежительскую читалку. Берешь, относишь наверх, вставляешь «Правду» в свою подшивку, «Известия» в свою, «Комсомольскую правду» и «Медицинскую» – в свои. Волынка небольшая, зато первая узнаешь новости по свежим, незалапанным газетам. Полистала с утра – и подкована по всем вопросам.

Прессу Мирра изучала у себя в комнате – тоже привилегия. Как раз и время было, пока Лидка закончит готовиться.

– Свежие газеты, ваше сиятельство! – объявила Мирра, да и прикусила язык.

Черт ее дернул с этим «сиятельством». Как бы Эйзен не вспомнила про другое сиятельство, свою институтскую подругу Оболенскую...

В гнусный вертеп «Разгуляй» Мирра сходила еще на прошлой неделе, сразу после того, как Лидка рассказала ей про княжну, ставшую шалавой.

Пошла к директору, потолковала. Гнида нэпмановская сначала не хотел ничего говорить, но Мирра сказала ему пару ласковых. Припугнула, что организует комсомольский рейд по райкомовской линии и санитарную ревизию впридачу. Стал как шелковый. Дал адресок, по которому можно сыскать безработную гражданку Оболенскую, известную в «Разгуляе» под кличкой Плакса, потому что, напившись, она всегда плачет.

Это-то Мирра сделала правильно. Ошибка заключалась в том, что сдуру похвасталась Лидке: нашлась-де твоя подружка, на Хитровке живет. Пообещала разведать. Хорошо, у Лидки сейчас один «Тэо» в голове, так до сих пор и не спросила, сходила Мирра на разведку или нет.

А Мирра сходила.

Место проживания у безработной Оболенской оказалось поганей некуда. Бывшая ночлежка, рассадник всякого асоциального элемента. Рожи – пьеса Максима Горького «На дне». Само собой, антисанитария, вонища – нос затыкай.

Но Мирру это не остановило. Раз решила повидаться с «сиятельством» – повидалась.

Верней сказать, она-то сиятельство повидала, а оно ее – нет.

Короче, взяла Мирра за шиворот какого-то похмельного синюху: где, мол, тут у вас найти Оболенскую. Не знает. Спросила Плаксу. А, говорит, это в подвале, где лахудры обитают.

«Лахудр» в комнате было четверо. Трое, с утра нечесанные, в бигудях, сидели за столом, играли в дурака. Четвертая лежала ничком на койке, уронив руку на пол. Это и была Плакса.

Был виден полуоткрытый глаз, изо рта свисала нитка слюны. Мирра сначала подумала: не протрезвела с ночи. Потом заметила валяющийся шприц.

– К вечеру заходи. Раньше не оклемается, – сказали от стола.

Мирра взяла вялую руку – на ней исколотая «дорожка». Ясно: застарелая морфинистка.

Над кроватью висел коврик, на нем приколоты три фотографии. Нарядный зал, барышни в одинаковых платьях. (Знакомый снимок, у Эйзен такой же. Класс Смольного института; Лидка слева во втором ряду крайняя.) И еще молоденький офицер в мундире со шнурами – это открытка. Внизу напечатано «Князь имп. крови Олегъ Константиновичъ. + 29/X 1914». Кто-то пририсовал химическим карандашом к гусарским рейтузам огромный член – его стирали, но не получилось, только размазали.

– Это я пошутила, – сказала одна из девок, с любопытством наблюдая за Миррой. – А она, дура, в рев. Передать ей чего, как проснется?

– Не надо.

Незачем Лидке с этой встречаться, решила Мирра. И лечить такую, насквозь исколотую, поздно. Тогда-то и пожалела, что похвасталась.

Чтоб поскорее свернуть на другое, подальше от «сиятельства», развернула «Известия» – нет ли каких интересных новостей.

Были.

На первой странице большущие черные буквы, два портрета.

– Беляки, сволочи, что делают, – охнула Мирра. – На дипкурьеров наших напали. В поезде Москва– Рига, вчера. Одного убили, другого ранили.

И похолодело внутри. Не Сокольников ли дел натворил? Если он – удавиться. Как Иуда, на поганой осине...

– Москва... – Рига? – медленно повторила Лидка. Уронила щеточку. И прерывистым голосом: – Дай сюда...

И только теперь Мирра прочитала имя дипкурьера – того, которого

убили насмерть.

Теодор Нетте.

Ой...

Лидка взяла газету, посмотрела на снимок – и молча повалилась. Глухо шмякнулась затылком об пол.

* * *

В общем, накрылся и поход в консерваторию, и то, что должно было случиться после. Пришлось возиться с Лидкой: приводить ее в сознание, отпаивать успокоительным, просто быть рядом. Эйзен сначала лежала на кровати будто покойница в гробу. Лицо каменное, глаза с огромными черными зрачками смотрят в потолок. Мирру не слышала, что та ни говорила.

Потом – нескоро, через час или полтора – вдруг повернула голову, посмотрела своими страшными незрячими глазами.

– Дай газеты. И другие купи. Все, какие есть.

Мирра обрадовалась: появились признаки жизни. Усадила Лидку за стол, сама побежала через улицу в университетский киоск, купила еще «Гудок» и «Труд». Там на первых страницах тоже чернели огромные траурные заголовки. Заодно потратила минуту на то, чтобы оставить Антону записку в секретарской: так и так, у подруги горе, концерт отменяется.

Сели обе, напротив друг дружки. Молча уткнулись каждая в свою газету. Дочитав, менялись.

Обстоятельства дела бы такие.

Ночью между станциями Иксюль и Саласпилс, на купе, в котором ехали советские дипкурьеры т.т. Махмасталь и Нетте, напали неизвестные. Открыли огонь из пистолетов. Товарищ Махмасталь был сразу тяжело ранен, но товарищ Нетте, находившийся на верхней полке, метко отстреливался. Прежде чем был сражен наповал, он попал в двух налетчиков. Оба ушли недалеко и найдены мертвыми. Оpoznаны как братья Гавриловичи, русские белогвардейцы, эмигрировавшие в Литву.

Стыдно сказать, но, узнав, что это не капитан Сокольников, Мирра испытала огромное облегчение.

– Твой-то настоящий красный герой, – осторожно сказала она, поглядев на бледную подругу. – С виду и не скажешь.

На фотографии дипкурьер Нетте был очень похож на Антона, такой же очкарик-интеллигент.

Лидка ничего не ответила и, похоже, опять не услышала. Но тут, легок на помине, появился запыхавшийся Клобуков – прочитал записку.

Он внимательно посмотрел на Эйзен (та не повернула головы), Мирре покачал пальцем – сиди тихо, не мешай. Не тратя лишних слов, достал из кармана уже готовый шприц, взял Лидку за руку, засучил рукав и ловко сделал инъекцию.

Шепнул:

– Минутку подождать – подействует.

И подействовало.

Лидка всхлипнула, опустила голову на стол и горько заплакала.

– Оттаает понемногу. Отличная вещь. Американский «Лауданум ХZ». Слезы – самый лучший релаксант. Теперь главное – не отходи от нее. Через некоторое время дай чаю. Часа через три проголодается. Покорми, – скороговоркой инструктировал Антон. – Мне надо бежать, операция, потом еще одна. Но в перерыве обязательно заскочу.

Убежал.

Поревела Лидка, наверное, с полчаса. Потом начала говорить, без остановки – всё про одно и то же. Что она проклятая и всё вокруг заражает своей проклятостью, что это она погубила Теодора и прочую подобную чепуху. Как Мирра ее ни переубеждала – не помогало.

Но в половине второго снова появился Антон и сделал еще один укольчик своего волшебного американского препарата.

– Сейчас уснет.

И Лидка в самом деле уснула.

– Чаю пить не стала. Есть тем более, – доложила Мирра. – Слушай, она не помрет? Ее и так ветром шатает, а тут такое потрясение.

– Не помрет. – Антон говорил уверенно. – Я давно заметил: люди, в которых, на первый взгляд, очень мало жизни, в стрессовой ситуации проявляют гораздо больше способностей к психологической реабилитации, чем личности энергичные и сильные. Но одну ее пока не оставляй. Когда начнет принимать пищу, можно будет считать, что кризис миновал.

Весь остаток дня и всю ночь Мирра просидела рядом с кроватью. Лидка несколько раз просыпалась и сразу начинала плакать. Засыпала вновь.

Вечером заходил Антон.

– Попросила чаю с лимоном, – шепотом отчиталась Мирра. – Лимона, правда, нет. Где его в феврале месяце возьмешь? А просто от чаю

отказалась.

– Будет лимон, – сказал Антон.

Пропадал где-то час, вернулся с двумя лимонами, колбасой, шоколадом.

– Я бы с тобой посидел, но надо дежурить в реанимации. Проблемный пациент.

– Значит, у нас обоих ночное дежурство. Нормально, мы же врачи, – улыбнулась ему Мирра и еле удержалась, чтобы не поцеловать.

Клевала носом, но не ложилась, чтобы не отрубиться вчистую. Мало ли что.

Задремлет – вскинется, задремлет – вскинется.

Рано утром, но еще в темноте, Лидка зашевелилась и говорит, жалобно:

– Миррочка, я ужасно голодная... У нас что-нибудь есть?

Уф. Слава богу.

– Поди умойся, на черта похожа, – сказала Мирра. – Сейчас чаю вскипячу.

В пустом коридоре столкнулась с Антоном. Он был усталый, с красными глазами, но довольный.

– Всё, своего вытащил. А у тебя как?

Она сообщила, что и у них с Лидкой вроде на поправку пошло.

– Теперь лучше оставить ее одну, – стал объяснять Антон. – Пусть справится с горем самостоятельно. Это называется «солитарная автотерапия». Ты ведь не можешь состоять при ней нянькой всю жизнь. Ничего, самое тяжелое позади. Иди на занятия. Вечером в общежитие не возвращайся. Следующую ночь Лида должна провести наедине с собой. Это важно. А ты... – Он отвел глаза. – ...Ты можешь переночевать у меня. – И быстро так: – Я тебе кровать уступлю, сам в кресле устроюсь...

Мирра потеряла щеку – как бы в задумчивости, а на самом деле, чтоб скрыть бурно выступивший счастливый румянец. В кресле или не в кресле – там видно будет.

– Спасибо. Если у кого-нибудь из девчат не пристроюсь, может, и приеду. Ты иди, тебе после дежурства отдохнуть надо.

Сегодня вечером! Сегодня!

* * *

Пока Лидка наворачивала колбасу, запивала душистым чаем, Мирра сходилa за газетами – точь-в-точь как вчера. Сегодня должны были поступить новые подробности злодейского преступления. Антон сказал: пускай читает, теперь это только на пользу. Всё, шок миновал.

Из деликатности Мирра даже не стала, как обычно, заглядывать на ходу в «Правду». Положила пахнущие типографией серые листы перед Лидкой неразвернутыми. Чтоб прочитала первой.

Лидка скорбно сдвинула брови, раскрыла газету. И вдруг как закричит, как отшатнется! Чуть вместе со стулом не опрокинулась.

– Господи, что же это!? Мирра, Миррочка, ну что же это?!

И дальше заболботала непонятное, давясь рыданиями.

Ничего не понимая, Мирра схватила «Правду». Первое что увидела – снова большие траурные буквы и чье-то фото в черной рамке.

Лицо было женское. Очень красивое. Знакомое.

Лариса Рейснер, Лидкина богиня. Нет, в самом деле. Как нарочно!

Стала читать, пробегая глазами и выхватывая главное.

Нет, не убита. Умерла в Кремлевской клинике от брюшного тифа. Мать, дежурившая у постели больной, не вынесла горя и покончила с собой.

Ну дела...

Всё по новой: клацающие о стакан зубы, валерьянка, вой в подушку, потом мертвое лежание лицом к стене.

И утренняя колбаса с чаем впрок не пошли – от судорог Лидку вырвало.

Не жизнь, а тридцать три несчастья.

Единственная разница заключалась в том, что теперь Эйзен много говорила. Какая Рейснер была красивая. Как само ее существование придавало красоту революции – страшной и совершенно чужой. Как Лидка следила за поворотами рейснеровской судьбы, за ее подвигами и Любовями – и думала, что жить нужно именно так и что она тоже хотела бы, если б была сильной и смелой. Как в Теодора она была влюблена по-женски, а в Ларису по-человечески.

Мирра слушала, поддакивала. Товарища Рейснер, конечно, было ужасно жалко, но Лидку жальчей. Только начала в себя приходить от одного горя, и снова.

Вечером заглянул Антон. Он караулил Мирру после занятий и, узнав, что она сегодня не приходила, забеспокоился.

– Не поеду я к тебе ночевать, – хмуро сказала Мирра, выйдя к нему

в коридор. И объяснила про новую напасть. – Шприца американского с собой нет?

– Нельзя злоупотреблять. Но я думаю, что кризис будет не таким острым. Все-таки это любовь совсем уже умозрительная. Хотя я слышал, что на прощание с телом выстроилась огромная очередь из плачущих девушек...

Вздохнул.

– Завтра перед университетом зайду.

В восемь утра Мирра спустилась на вахту – Клобуков уже стоял.

– Решил подождать. Вдруг спите еще?

Мирра первым делом боязливо, как бомбу, взяла газету. Поглядела, нет ли еще какой пакости.

Нет, сегодня было нормально. Больше никто не умер. Первой новостью шло что-то про Чемберлена.

Доложила:

– Ночью не спала. Ворочалась, плакала. Но тихонько. Сейчас сидит перед зеркалом, смотрит на себя. Просто смотрит и всё. Видок жуткий. Но, кажется, ничего. Спрашиваю: завтракать будешь? Говорит, буду.

Он проводил ее до самой комнаты.

– Ты ужасно устала. Тут и физическая нагрузка, и нервная. Не ходи на лекции, поспи.

Мирра кивнула. Ей хотелось его потрогать. Самое лучшее было бы, чтобы снять нагрузку. Как нервную, так и физическую.

– А вечером, если хочешь, все-таки сходим в консерваторию. Музыка – лучшее лекарство от стресса. Билеты я достану.

Он запнулся.

Хочет опять медицинской статьей заманить к себе домой, но не решается, догадалась Мирра.

И поскольку она действительно очень устала, сказала попросту:

– Я к тебе сегодня безо всякой консерватории приду. И на ночь останусь. Вот только Лидку постерегу еще. Хочу убедиться, что она в порядке.

Он, кажется, такого не ждал. Замигал, щеки порозовели.

Терять было уже нечего, слово не воробей. Поэтому Мирра сдернула у него с носа очки, обхватила руками, впечатала в дверь и стала жадно, сочно целовать куда придется – в губы, в щеки, в глаза.

– Мирра, это ты? – донеслось из комнаты. – Иди сюда!

Задыхаясь, отодвинулась. Глаза у Антона были закрыты. Грудь быстро

вздымалась. Но когда Мирра отодвинулась еще, он схватил ее за плечи – не отпустил.

Только тогда она и поняла, что всё будет хорошо. Никуда золотая рыбка из ведерка не выпрыгнет.

– Пойду. Зовет...

Лидка всё разглядывала себя в зеркале.

– Смотри, какая я некрасивая. Я похожа на выгоревшую свечку.

– Глаза заплыли от рёва, – весело сказала Мирра. – Сколько жидкости потеряла. Обезвоживание организма. Что правда, то правда. С красотой лица у тебя, Эйзен, в настоящий момент не очень. В гроб краше кладут.

– И очень хорошо, что я стала такая некрасивая, – странным, каким-то пустым голосом произнесла Лидка. – Знаешь, что я поняла? Все красивые умирают. Выживают только некрасивые. Я – некрасивая. Значит, поживу. – Она обернулась, усмехнулась. – Хватит меня караулить. У тебя своя жизнь, свои проблемы.

Со мной всё будет нормально. Сейчас поем чего-нибудь. До вечера посплю. А вечером пойду на работу. Надо жить. Вот и весь смысл жизни: надо жить, даже если в этом нет смысла.

– Ну и правильно, – кивнула Мирра. Она прислушивалась – Антон никуда не ушел. Переминался с ноги на ногу в коридоре. – Я щас...

Выскочила за дверь. Антон стоял весь красный, щурился – очков так и не надел.

Шепнула:

– Вечером приду. Сегодня.

Они поцеловались – уже по-настоящему, страстно, рот в рот. Но очень коротко – по коридору кто-то шел.

Мирра тихонько толкнула его в грудь.

– Всё, топай. Остальное вечером...

* * *

Наконец сходила на занятия. Сколько можно прогуливать по уважительным и неуважительным причинам? Но сидела в аудитории – ничего не слышала, не понимала. Улыбалась, как дура. Прислушивалась к приятному щекотанию под ложечкой. Смотрела на часы. Стрелки совсем не двигались, но Мирра на них не обижалась.

Первая лекция была еще только на середине, когда в дверь просунулась голова в барашковой шапке с черным козырьком. Профессор замолчал, все заоборачивались.

Это был милиционер.

– Я извиняюсь, мне сказали, тут должна быть гражданка Носик...

«Сокольников! Натворил что-нибудь! Но откуда узнали?» – заметались панические мысли. Теперь все смотрели на поднявшуюся Мирру. Как ей показалось – с недоверием и осуждением. Пока милиционер не успел еще что-нибудь сказать, она сунула тетрадь в сумку и поскорей вышла.

– Я Носик. В чем дело, товарищ?

Милиционер был молодой, но важный. Ответил не сразу, а попросил предъявить удостоверение. Долго рассматривал студенческий, шевелил губами – видно, был недавней грамотности.

– Гражданку Эйзен Лидию Карловну знаете?

– Да, живем вместе. В общежитии...

«Лидка-то здесь причем?»

– Из окна выкинулась, – оглянувшись вокруг, тихо сказал милиционер. – Пройдемте.

Мирра закричала. Он поморщился.

– Не создавайте, гражданка. Пройдемте. Товарищ следователь велел найти и доставить. Потому – записка непонятного значения.

На Мирру с перекошенным лицом, на представителя власти смотрели – в коридоре, как обычно, торчали прогульщики, кто не пошел на лекцию.

Мирра сорвалась с места, побежала. Сзади топал служивый.

Через Царицынскую, во двор.

У общаги тесно толпились люди.

Кинулась прямо в гущу, стала протискиваться.

Милиционер сзади взял за рукав:

– В подъезд пройдемте, гражданка.

Вырвалась:

– Отцепись ты!

Впереди кто-то с удовольствием, вкусно рассказывал:

– Стоим с Витюхой, курим. Вдруг сзади – шмяк! Поворачиваюсь – мама родная! Лежит. И кровяца. Гляньте, сапог забрызгало. А стоял бы на пять шагов туда, раздавила бы, идиотка...

Мирра пробилась вперед. Замерла.

На грязном, затоптанном снегу, в окружении криво вколоченных колышков с веревкой, лежало странно изогнутое тело. Ничком. Платье

задралось выше пояса, так что виднелись светло-лиловые трусы – Лидка купила их у спекулянта, была очень довольна нежным цветом.

Две работницы в спецовках и кирзачах – должно быть, с соседнего лампового завода – стояли ближе всех к трупку, у самых колышков.

Одна, конопатая, сказала:

– Ишь, жопа тощая.

Вторая, с плоским, но мясистым лицом, ухмыльнулась:

– У меня б такая жопа была, я б тоже из окна сиганула.

Первая прыснула. Вокруг заржали.

У Мирры и так все подплывало перед глазами, а тут вовсе стемнело. Она молча кинулась вперед и вмазала мордатой по зубам – очень качественно. Хотела достать и конопатую, и достала бы, но сзади обхватили за плечи.

– Прекратить драку! Гражданка Носик, следователь ждет.

– Сейчас... – Мирра говорила с трудом, всё прикидывала, как бы ей достать конопатую.

Та от нее пятилась. Другая, которой вмазано, закрывала руками рожу и выла.

– Пусти... – задыхаясь, сказала Мирра милиционеру. – Не буду... Только платье ей поправлю.

– Не положено. Тут, может, уголовное. Идем-идем.

В маленькой комнатке было тесно. Двое мужчин сидели за столом, еще двое рылись в вещах – не только Лидкиных, но и Мирриных. Но возмущаться и протестовать сил не было. Вся сила будто выплеснулась вместе с ударом в зубы.

– Вот, товарищ Сидюхин, доставил. Гражданка Носик.

Один сидящий – пожилой, с желтыми от табака усами, с четырьмя квадратиками на петлицах – поднял голову.

– А. Мирра – это ты?

– Я.

Внимательно посмотрел. Второй же, писавший на листке, коротко глянул и стал строчить дальше.

– Ты когда гражданку Эйзен последний раз видела?

– Недавно... Час назад.

– Что она делала?

– Ничего... Чай пила... Новости собиралась читать.

Мирра кивнула на газеты.

– Ну-ка. – Следователь протянул какую-то бумажку. – Тебе писано.

Переведи на русский язык.

На листке Лидкиным почерком: «Видишь, Мирра. Некрасивые тоже не должны. Прощай».

– Какие некрасивые? Что не должны? Кому не должны?

– Я не знаю... – пролепетала она. Поежилась – из распахнутого окна несло холодом.

– Записка лежала на столе. Рядом две газетные вырезки. Может, они подскажут? Про смерть красного дипкурьера Теодора Нетте и про смерть товарища Рейснер.

– Да, вырезки я видела. Лидка... гражданка Эйзен их еще вчера сделала. Переживала очень.

– Тут еще есть третья. На полу валялась. Сквозняком, наверно, сдуло. Приложили – из сегодняшних «Известий».

Усатый показал на газету, лежавшую последней полосой вверх. В разделе происшествий вырезан маленький прямоугольник.

– Про какую-то проститутку. Что за ребусы? Покойная ее знала?

Так и впился глазами.

А Мирра прочитала третью вырезку и застонала, как от боли.

Судьба, стерва! Добила, дотоптала! Третий раз в одного и того же, подлюка!

– Вы тут, девчоночки, часом проституцией не подрабатываете? – вкрадчиво сказал следователь. – Говори правду, дочка. Мне врать не положено.

– Да пошел ты! Папаша выискался...

Нет, ну бывает такое?! Три снаряда в одну воронку! Три дня подряд! Тут и у человека с крепкими нервами мозги свихнутся.

Не надо было Лидку одну оставлять! Но кто ж знал? Главное – на самой последней странице, мелким шрифтом, а углядела-таки...

– Ну вот что, гражданка Носик. – Следователь перешел на официальный тон. – Не хочешь чистосердечно, будем с тобой разбираться. Поедешь с нами. Сниму с тебя показания по всей форме. У нас и переночуешь. Проверим, нет ли на тебе и на покойнице приводов по проституции. Если ты перед советским законом ни в чем не запачкана, завтра отпустим.

Здесь Мирра не выдержала. Вот зачем это всё сегодня? Зачем?

Разревелась. И по Лидке, и по себе, и от стыда, что в страшную эту минуту она, сука такая, только о бабьем думает. Ну и вообще – обо всем на свете.



ТОМ НЕТТЕ.



Лариса Рейснер, известная как княжна Оболенская, проститутка по профессии. На трупе наружных признаков насильственной смерти не найдено.

Труп. Вчера, рано утром, в куче снега в Сандуновском пер., против д. 5, был обнаружен труп молодой женщины, в которой признали бывшую княжну Оболенскую, проститутку по профессии. На трупе наружных признаков насильственной смерти не найдено.

Любовь и Вера

В эволюции общества и человека
кого сознания прогрессирует одна,
на первом взгяд обезкураживающей
закономерности: когда религиоз-
ное убеждение усиливается, ослабевает
значимое межличностной привязан-
ности, и наоборот - тем меньше
в людях было Веры, тем больше Любви.

В античном обществе свободно
любили и свободно расстались
от этой убеждения, однако Вера
(специально пишу с большой бук-
вы, ведь было канонично, о вере
кого ище речи) по-прежнему: не иство
и скорее разум, тем сердцем.
Распространение христианства про-
исходило на фоне кризиса дуби-
цизма, распада усложненного пору-
ка влечет, Акимент и катастроф.
Новое учение, на первом своем
этапе вестна национарное и
искреннее, произошло переборо. в
морали, в гервереских отношениях,
во взглядах на смысл и цель жиз-
ни. В древнейской и ближневост-
точной культурах уславившаяся
настоящая структура религиоз-
ности, о Любви в ф.в. и продол-
жительна. Иной истории иже
не сришна она если вообще не
челезра, то кантега, упрощае для
людей велико важность. Христи-
анство и вела оица много говурт.
о Любви и счастье ее проиведут
но иже в виду чего совершено
иное - даже не филос, а алапе, как

(Из клетчатой тетради)

Любовь и Вера

В эволюции общества и человеческого сознания прослеживается одна, на первый взгляд, обескураживающая закономерность: когда религиозное чувство усиливалось, ослабевало значение межличностной привязанности и наоборот – чем меньше в людях было Веры, тем больше Любви.

В античном обществе свободно Любили и свободно рассуждали об этом чувстве, однако Верили (специально пишу с большой буквы, чтобы было понятно, о вере в Кого идет речь) по-язычески: не истово и скорее разумом, чем сердцем. Распространение христианства происходило на фоне кризиса цивилизации, распада устоявшегося порядка вещей, лишений и катастроф. Новое учение, на первом своем этапе весьма пассионарное и искреннее, произвело переворот в морали, в человеческих отношениях, во взглядах на смысл и цель жизни. В европейской и ближневосточной эйкумене установилась настоящая диктатура религиозности, о Любви в этот продолжительный период истории ничего не слышно. Она если вовсе не исчезла, то, кажется, утратила для людей всякую важность. Христианство и ислам очень много говорят о любви и страстно ее проповедают, но имеют в виду нечто совершенно иное – даже не *филос*, а *агапе*, как называли греки духовно-мистическую тягу к божественному. Этот вид любви был объявлен единственно похвальным, а *эрос* заклеен как нечто предосудительное, греховное.

Так продолжалось все «темные века», когда существование человека было скудным и все его силы тратились на выживание. Как я уже писал в исторической главе, возрождение Любви произошло на фоне повышения уровня жизни и культуры в Окситании, самой развитой области тогдашней Европы. И повсюду, где жизнь становилась чуть свободнее, комфортнее, спокойнее, Любовь немедленно поднимала голову. Одновременно с этим начинало падать значение религии, церкви, Веры. И, в общем, понятно почему.

Религиозность изначально порождается страхом, неуверенностью. Когда человек не понимает законов окружающего мира и потому не умеет противостоять опасностям, остается только надеяться на чудо, на высшую силу, которая оборонит и спасет от беды. Чем тяжелее и страшнее жизнь, тем сильнее Вера. Однако смысл прогресса состоит в том, что люди понемногу начинают разбираться в устройстве природы и общества, это придает уверенности и смелости. Ведь на уровне психики одного

человека происходит то же самое: кто трясется от страха, тот ни эмоционально, ни физически для Любви не годен.

Церковь была совершенно права, когда относилась к Любви с подозрительностью и враждебностью. В сердце не могут равноправно существовать две любви – одной придется потесниться и уступить первенство. С точки зрения религии, человек, всей душой Любящий другого человека, обкрадывает любовь к Богу. Прекрасная в своей искренности Элоиза очень точно формулирует эту истину в письме к Абельяру: «Во всякую пору моей жизни вплоть до нынешней, видит Бог, я больше боялась обидеть тебя, нежели Его, и старалась угодить тебе больше, чем Ему». И в этом вся суть Любви.

Неслучайно в Библии отступление от единобожия и плотский грех именуется одним и тем же словом «блуд». Это и есть блуд – заблуждение, измена. Но и с позиции Любви погружение в религию – «блуд». Когда Абельяр прекращает переписку с Элоизой, он изменяет ей с Богом.

Agape и *эрос* не то чтобы вовсе несовместимы, но сильно мешают друг другу. Именно поэтому католическая церковь настаивает на celibate, а все святые угодники так подчеркнута асексуальны. Впрочем, то же можно сказать о любом подвижнике, пусть даже и атеисте, но верящем в некую сверхидею, исполняющую для него роль религии – например, в построение земного рая и благодетельствование человечества. Кто умеет любить всех, не умеет по-настоящему любить никого в отдельности. Верно, разумеется, и обратное: дар большой Любви подразумевает ослабленную способность к философии.

Поскольку Любовь – это сотворение кумира, она во многом напоминает религию. В наше время Любовь, собственно, и стала общепризнанным культом. Только служат ему не священники с монахами, а деятели искусства, роль же храмов исполняют кинотеатры, издательства и радиостанции. Хвалы и гимны Любви несутся отовсюду, заглушая колокольный звон и молитвы Христу, Аллаху, Будде. Лишь в тоталитарных государствах Любовь, во всяком случае официально, обязана знать свое место. Там ни Любовь, ни Вера не имеют права затмевать любовь и веру, адресованные Вождю. Именно поэтому диктатуры обычно подавляют церковь, а в интимной жизни насаждают пуританство и ханжество. Любовь к Идее и Вождю должна быть сильнее даже семейной привязанности, чем и объясняется восхваление жен, доносящих на мужей, и детей, шпионящих за родителями. Но стоит земному богу сгинуть, и его культ исчезает, как в Германии, либо становится ритуальной проформой, как в Советском Союзе. Прошло совсем немного времени после кончины

Отца Народов, казавшегося бессмертным, но в моем медленно оттаивающем от ледяного страха отечестве уже начали появляться романы и фильмы не о любви к партии, а просто о Любви. Недавно я увидел в сквере, среди бела дня, целующуюся парочку, что еще несколько лет назад было бы совершенно непредставимо. Религия Любви потихоньку отвоевывает обратно свою паству.

Но если Любовь – культ, у нее должны быть свои догматы и запреты. Они действительно существуют и, как нетрудно заметить, во многом повторяют заповеди религии, делая особенный упор на первой и второй из них. Точно так же, как Вера запрещает признавать других богов и поклоняться другим кумирам, Любовь настаивает на своей монополии, «многобожество» в ней недопустимо – это будет уже не Любовь. Взаимоуважение и нежность по отношению к Любимому соответствуют заповеди благочестия. Предписание ежедневной молитвы – это обязательное повторение вроде бы и так известного факта: «я тебя люблю, жить без тебя не могу». Обязательность исповеди превращается в императив полной искренности; покаяние – в неприменный ритуал примирения после всякой ссоры.

В Любви даже есть некая обязательная для всякой религии мечта о загробной жизни – надежда на то, что души, так крепко связанные в этой реальности, не расстанутся и после смерти. Как поет в драме «Пир во время чумы» пушкинская Мери: «А Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах».

При сравнении этического качества Веры и Любви преимущество безусловно за первой. *Agape*, как и *филос*, несравненно нравственнее *эроса*. Подлинная Любовь не признает ни объективности, ни справедливости. Мы не для того вступаем в Любовный союз, чтобы к нам относились справедливо. И ничто так не оскорбляет Любящего, как объективное отношение к его поступкам со стороны партнера. Должен признаться, что в этом смысле я был неважным Любящим и долго не мог уразуметь, за что на меня обижаются, когда я вроде бы совершенно прав. А потом понял, что в Любви правота и абстрактная правильность никакой ценности не имеют. Объективности и справедливости ждут от чужих людей, но не от Любимого или Любимой.

Вопрос о моральном аспекте Любви невероятно труден для всякого человека, наделенного нравственным чувством. Я, конечно, имею в виду не особенности интимных отношений, в которых приемлемо всё, что устраивает обоих. Я имею в виду этику.

Пристрастное отношение к Любимому естественно, но означает ли это, что в интересах партнера можно скверно обходиться с другими? А ведь жизнь иногда ставит нас перед очень жестким, бескомпромиссным выбором.

Это всё тот же проклятый конфликт Большого и Малого Миров, между которыми вынужден разрываться всякий масштабный человек, который помимо Дела еще и осмеливается Любить. (Напомню, что «Большим Миром» я называю мир идей и принципов, аристократический путь; «Малым Миром» – мир Любви, семьи, дружбы, личных привязанностей.)
[\[13\]](#)

Я испытаю огромное облегчение, если сумею найти хоть мало-мальски удовлетворительный ответ на этот вопрос к концу исследования, которое только ради этого мною и затеяно. Пока же, в качестве первого шага, попробую сформулировать позицию по самому, как мне кажется, морально прозрачному аспекту этой трудной проблемы.

Есть общественные и государственные должности, а также целые профессии, которые обязывают человека в случае «или – или» делать выбор в пользу Большого Мира, жертвуя интересами Малого. Монарх, президент, министр, губернатор, мэр или депутат, судья или следователь, военачальник – вообще любой человек, наделенный властью или (в демократической стране) завоевавший доверие избирателей, не имеет права в критической ситуации сказать себе: «Мой Малый Мир для меня важнее». Если так – уходи из Большого Мира. А если изначально знаешь про себя, что не обладаешь силой пожертвовать личным ради общественного или ради Дела, которому служишь, тогда лучше вообще оставаться в пределах частной жизни. Коли же взял на себя ответственность, неси ее до конца. И твой партнер (в современных реалиях это обычно женщина) должен понимать и принимать такое положение дел, не воспринимать тяжелый выбор как предательство.

Вот почему в идеале должна существовать прямая зависимость между высотой занимаемого поста и уровнем нравственной дисциплины, чего в жизни, конечно, почти никогда не бывает, да и в истории подобные случаи встречались нечасто.

Могу вспомнить японского генерала Ноги, который командовал осадой Порт-Артура. О его семейной трагедии много писали во времена моего детства. В отличие от множества других начальников, которые норовят спрятать своих детей подальше от опасности, Ноги отправил обоих сыновей на передовую, где они погибли. Отец так и не оправился от этой утраты – через несколько лет покончил с собой. Впрочем, у японцев,

во всяком случае членов самурайского сословия, идея приоритета Большого Мира над Малым считалась неоспоримой и закладывалась всем строем воспитания.

При всей моей антипатии к Иосифу Сталину должен признать, что во время войны он тоже не прятал своих сыновей, один из которых погиб, а второй был боевым летчиком. (Правда, ходили слухи, что вождь любил только свою дочь, а сыновей считал ничтожествами, которые его позорят.)

В мирное время конфликт двух Миров обычно менее трагичен, но тоже бывает душераздирающим. В двадцатые годы я был свидетелем коллизии, в которой человек Идеи выбрал Любовь, но при этом честно вышел из пределов Большого Мира. Это был убежденный коммунист, герой Гражданской войны. Во время очередной «чистки» от него потребовали, чтобы он, как это тогда называлось, «дал партийную оценку» заблуждениям своей жены (уж не помню, в чем именно они заключались) и разошелся с ней – или же «положил партбилет на стол». Муж вышел из ВКП(б) и расстался с Красной армией, но не предал свою Любимую. Представляю, как тяжело далось это решение «строителю нового общества» и кадровому военному.

Точно так же в прежние времена священник или монах, почувствовавший, что не может достойно нести бремя Веры и должен выбрать Любовь, снимал рясу и «расстригался».

В вопросе о Любви и Вере я вынужден не согласиться с мнением глубоко мною уважаемого Владимира Соловьева, который был уверен, что в христианстве две эти великие силы могут мирно сосуществовать, не порождая в душе раздора. Увы, это не так.

Я вырос в нерелигиозной семье и в такой среде, где про духовенство говорили с пренебрежением, потому что церковь была прислужницей правящего класса. Теперь я живу в бескомпромиссно атеистической стране, где верующие, не скрывающие своих взглядов, подвергаются гонениям, – и стал относиться к религии и церкви намного лучше, с уважением и сочувствием. Некоторые очень достойные люди, которые мне дороги, находят в Вере утешение, стержень мужества и смысл бытия. Но лично мне христианство, как и другие религии, чуждо прежде всего из-за своего отношения к Любви. Помню, как гимназистом-первоклассником на уроке Закона Божия я с ужасом и отвращением узнал про жертвоприношение Авраама (у меня дома Библии не читали). Учитель объяснил нам, что этот эпизод следует понимать как притчу, в символическом значении: любовь

к Богу важнее любви к дорогому существу. Но я не понимал тогда и не понимаю сейчас такой любви. Неважно, зарезал отец сына или нет, – занесся нож, *он уже совершил предательство*. Я не могу принять мировоззрение, которое требует от человека предательства. По-моему, лучше Любить без Веры, чем Верить без Любви. Но это личный выбор каждого. Просто, сделав его один раз, лучше ему не изменять. ~~Здесь я остановлюсь, потому что у меня нет ни сил, ни морального права углубляться в тему Любви и предательства.~~



(Фотоальбом)

* * *

Во времена, когда отовсюду подступает тьма, ни с какой земной стороны не видно зари и в небе ни Луны, ни малой звездочки, так что от беспросветности слепнешь, и вокруг нет ни единой близкой души, жить следует по правилам человека слепого и одинокого, которому не поможет никто, кроме, конечно, Господа, но то Помощь особая, духовная, а в убогой, суровой повседневности незрячему нужно обходиться своими силами. Как спасается такой калека? Единственно приверженностью к неукоснительным правилам, раз и навсегда установленному порядку. Чтобы всему свое время и свое определенное место. Утром проснулся, открыл бесполезные глаза, ничегошеньки ими не увидел, но не испугался, а протянул руку привычным движением – вот стакан воды, вот аккуратно разложенная одежда, вот башмаки, и шнурки в них с вечера разложены один в правую сторону, другой в левую, чтоб не перепутались.

Так Иннокентий Бах жил уже который год. Правила повседневности могли меняться в зависимости от перемены бытовых обстоятельств, они были подобны подвижным суставам, но были и правила неизменные – немногочисленные, но стержневые, своей прочностью схожие с позвоночным столбом, в котором один малый позвонок перешиби, и с душой случится паралич.

Всякое утро, и здесь исключений не бывало, Иннокентий Иванович начинал с молитвы. Еще лежа, еще не разлепив веки, еще не до конца пробудившись разумом (самое лучшее для молитвы состояние), он трижды шептал «Отче наш», просто наслаждаясь звуком древних слов и чувствуя единство со всеми, всеми, всеми, кто за тысячу лет их произнес. Затем, опять же следуя разработанной духовной гимнастике, представлял себе Мироздание.

Вот огромный таинственно лиловый космос; вот сияет Солнце; вот длинный его луч касается голубой песчинки, и она начинает сверкать, как алмаз – это свет отразился в океанах, озерах и реках. Песчинка приближается, увеличивается, превращается в дивный сине-зеленый шар. На нем проступают желтые пятна пустынь, муаровые полосы лесов, беленые холсты снегов. А вот серая клякса – большой город. Серая она

только на первый взгляд. Приглядишься – там и сям золотые искорки церковных куполов и колоколен, а если прищуриться, то видно, что под ними таких же мерцающих огоньков видимо-невидимо, и каждый – тоже храм Божий, называется: человечья душа. Вот Скорбященская церковь, вот Калитниковское кладбище, и в углу, у ограды, сторожка, и в ней тоже огонек, не тусклее и не ярче других. Он это, раб Божий Иннокентий. И как только получалось разглядеть себя сверху, из Космоса, это означало, что можно вставать. Божий радостный день начался.

Умывшись ледяной водой, одевшись, Иннокентий Иванович, как обычно, отправился поработать. Сегодня у него было намечено поправить скособочившийся крест на шестом участке. Могила старая, уже не прочесть чья, буквы на жестяной табличке давно выцвели, но Бог-то знает, у Него все живы. И душа улетевшая знает. Этого довольно.

Работал Бах неспешно, но сноровисто. Его длинные, несильные руки были удивительно ловкими, движения точными. Крест он укрепил быстро, но на этом не остановился. Прижав замотанные по перелому дужки очки (зрение стало совсем никуда от чтения при керосиновой лампе), он долго вглядывался в табличку и разобрал-таки буквы, помогло не по-февральски яркое солнце: «Серафима Чигирева 67 лет, девица. Умерла в Святую Пятницу 1872 года». Обрадовался. День начинался хорошо, очень хорошо. Сегодня же будет тебе, Серафима, память: фон забелим, буквы зачерним.

Потом расчистил от снега две дорожки – тоже согласно плану. До Фоминой недели, которая еще далеко, люди на кладбище почти не ходят, но порядок все равно нужен. И «почти» не означает «совсем». Кто-нибудь, кого никак не отпускает горе, нет-нет да придет, и как же для таких людей дорожки не протоптать?

Очень хорошая у Иннокентия Ивановича была работа, всегда бы на ней состоять. Конечно, зимой холодно, ветер студеный, и худые безгалошные валенки скользят по наледи, но сделал малое, ясное, очевидно нужное дело – и радость.

Калитниковское кладбище и раньше, при старой власти, было неименитое. Здесь хоронили мещан, мастеровых, мелких торговцев, а в советские времена оно и вовсе захудало. Весь южный сектор отвели под захоронения для бездомных бродяг, невостребованных покойников, а это кому же понравится. Церковь, некогда нарядная, классический ампир, стояла облупленная, ободранная, будто в рубище. Зато действующая, живая, и священник хороший, настоящий. Взял Иннокентия Ивановича сторожем – без оклада, зато с жильем, дровами и пропитанием, грех жаловаться. То есть жаловаться – оно всегда грех, но тут и не на что.

Дай Бог, чтоб отец Александр подольше продержался. Сейчас настоящих приходских священников мало осталось. Или храм закроют, или поставят обновленца.

Ну, на все воля Божья. Прогонят отца Александра, уйдет куда-нибудь и Бах, сыщет ему Господь иное пристанище. Что об этом тревожиться?

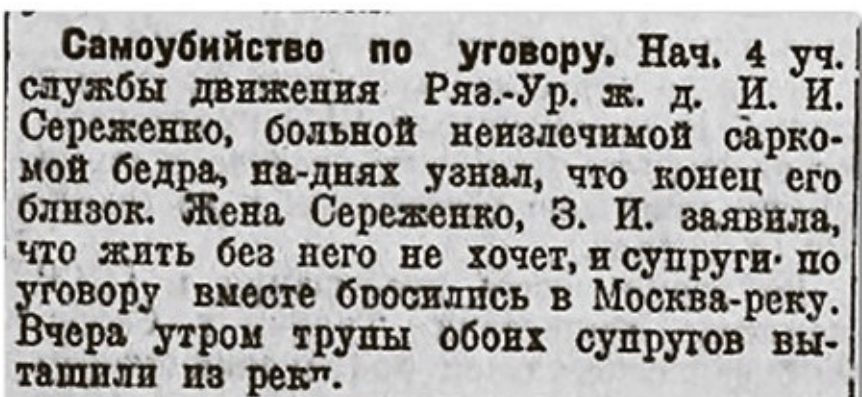
Поработав до полудня, тоже как обычно, Иннокентий Иванович сходил к бабушке, взял хлеба, кружку молока. Шел к себе – семеня по скользкому, боялся пролить.

Позавтракав, развернул уже читанную священником газету.

Газету Бах просматривал странно. Первые страницы, где все главные события и новости, перелистнул без интереса, а последнюю, где петитом происшествия, некрологи маловажных людей, рубрика «Из зала суда» и прочая необязательная мелочь, прочитал очень внимательно, щурясь сквозь толстые стекла.

Одну крошечную заметку с тяжелым вздохом обвел карандашом. Взял ножницы, вырезал, аккуратно положил в третью коленкоровую папку.

Заметка была такая:



Самоубийство по уговору. Нач. 4 уч. службы движения Ряз.-Ур. ж. д. И. И. Сереженко, больной неизлечимой саркомой бедра, на-днях узнал, что конец его близок. Жена Сереженко, З. И. заявила, что жить без него не хочет, и супруги по уговору вместе бросились в Москва-реку. Вчера утром трупы обоих супругов вытащили из рек.

Иннокентий Иванович сидел, моргая своими белесыми ресницами, собирал силы для молитвы. Давно известно, что на свете нет никого несчастнее и безрассуднее самоубийц. Они швыряют Господу Его бесценный Дар – жизнь, как бы говоря: заberi эту свою дрянь назад, мне не надобно, плевать я хотел на Твои заповеди, подавись моей бессмертной душой. Они добровольно отказываются от бессмертия! И чтоб просить для них прощенья, нужна молитва особенной искренности и силы. К такой нужно подготовиться.

За самого себя Бах никогда не молился. Не потому что был лишен

себялюбия (грешен) или страхов (паки грешен), а потому что отлично знал: молитва действенна, только когда она бескорыстна – не о себе и не о своих. Когда в мире все будут молиться не за *свое*, а за *чужое* и никто, даже самый одинокий, заброшенный, не будет обойден чьим-то за себя молением, лишь тогда на земле и наступит Царство Божие, отнюдь не раньше.

Очень хотелось помолиться за *нее* – и не стал себя сдерживать, помолился, просто чтобы был повод произнести вслух *ее* имя, хоть и знал, что ценность молитвы за того, кого любишь, невелика. Это всё равно что просить за самого себя.

Ходатайствовать надо за тех, с кем ни в каких отношениях не состоишь. Это моление беспримесное, чистое, и, будучи произнесено тихим шепотом или даже лишь мысленно, оно Господу слышнее самого истошного крика, когда просишь о своекорыстном.

За проклятых людьми преступников и за оскорбивших Бога самоубийц – вот за кого следует молиться горячее всего.

Бах записал крупным, ровным почерком в книжечку (память у него была рассеянная, ненадежная): «Позв. в службу движения Рязанско-Уральской ж.д.». В доме у отца Александра есть аппарат, есть и телефонный справочник. Нужно выяснить, где похоронят несчастных супругов Сереженко, избравших грязную прорубь, а не упование на Божье чудо. Сходить на могилку, помолиться.

Покончив с газетой, Иннокентий Иванович перешел к следующему пункту своей ежедневной жизни. Теперь следовало записать в дневник всё важное из вчерашнего.

Эту приятную работу Бах всегда исполнял на следующий день, чтобы впечатления еще не утратили свежести, а мысли уже отстоялись. Каждый Божий день – подарок, а подарки следует принимать с благодарностью, ценить. И даже если кажется, что ничего существенного не произошло, это от недостатка ума или глухости сердца. Пустых дней в жизни не бывает. Совсем. Разве что у людей, кто смотрит – и не видит, слушает – и не слышит. У человека внимательного к себе и к миру важные события случаются повседневно – хотя бы в душе и в голове, а только такие движения на самом деле и значительны.

Но вчера и во внешнем мире произошло интересное. Надобно записать основное, так глубоко взволновавшее, ничего не упустить.

Впрочем, Бах приходил в глубокое волнение очень легко. Можно сказать, это было почти всегдашнее его состояние.

* * *

Прошлым вечером Иннокентий Иванович ходил на очередной диспут между народным комиссаром просвещения Луначарским и обновленческим митрополитом Введенским.

Пропускать такое нельзя. Зрелище это тягостное, болезненное, ибо устраивается властью не ради полемики с церковью, а для публичного ее унижения, но большевикам как людям материалистическим невдомек, что только такую – посрамляемой, жалкой, нагой, неприглядной Христова церковь и бывает истинно величественна. Уж куда больше, чем во времена своего недавнего земного процветания, когда состояла при цесаре, была горда, спесива и раззолочена. Да, церковь согнулась к земле, окунулась лицом в грязь, зато Христос, наоборот, вознесся. Многие прежние молельщики Его предали, плюнули на Его крест, однако Он оттого лишь ярче воссиял.

Но и церковь – истинная, не «обновленческая» – тоже воспряла, впервые за много веков обогатившись новыми мучениками и праведниками. По смерти патриарха Тихона местоблюстителем стал митрополит Петр Крутицкий, человек поучительной судьбы. Перед революцией был мирянином, действительным статским советником. Принял священство в пору, когда многие слабые духом отрекались. И, возглавив церковь, отверг все поблажки, которые сулили коммунисты за признание их власти. Ныне арестован и, конечно, примет мученический венец. Таких уже много, а будет еще больше. Грядут и новые катакомбы. Уже есть. «Обновленцы», называющие себя Живой Церковью, а на самом деле пресмыкающиеся перед ГПУ, прибирают к рукам всё новые епархии и приходы. И некоторые священники, твердые в вере, уходят из храмов в подполье, уводя за собою паству. Вот и отец Александр говорит, что, если погонят со службы – рясу снимет, а сана с себя не сложит. Будет отправлять службы и таинства по частным домам, по квартирам. Дай ему Боже сил на том пути...

Однако имя Христово хоть и поносимо, но еще не запрещено. И нужно бывать повсюду, где оно произносится вслух – даже если это псевдодиспут в, прости Господи, Экспериментальном театре, где ставят оперы и оперетты. Туда стягиваются живые души – просто чтобы молча посмотреть друг на друга, угадать друг друга по взгляду. А некоторые, самые смелые, не боятся и поднимать голос.

Но митрополит Введенский не из смелых. Усерднейший

и подобострастнейший из церковников, служащих серпу и молоту. Непримириемые христиане прозвали его «Иудой в первосвященстве», однако Бах к непримирым себя не относил и на владыку смотрел с жалостью.

Сам вид митрополита был скверен, будто Введенский нарочно желал опорочить свое архиерейское облачение. Молодой, лет тридцати пяти, с обритой бородой и комичными усишками а-ля Чарли Чаплин, к тому же еще и женатый, он выглядел злой карикатурой на духовную особу.

И этот гаер настоятельствует в кафедральном соборном храме Христа Спасителя! – поймал себя на злой мысли Иннокентий Иванович, занявший место в партере, чтобы не упустить ни одного слова. Вокруг него сидели в основном люди молодые – вузовцы и рабфаковцы. Наркома они слушали внимательно, то и дело бешено хлопая в ладоши, а когда говорил митрополит, начинали свистеть и выкрикивать обидное. Если б Бах находился где-нибудь на ярусе, среди тех, кто так же, как он, пришел молча *побыть со своими*, ему наверняка был бы противен юлящий архипастырь, изгибающийся перед победительным большевистским министром. Но среди глупой, хулящей толпы владыка воспринимался иначе. Он, пускай криво и лукаво, пытался защищать Христа – и был здесь совсем один. Другое дело, что кривостью и лукавостью защитить Христа невозможно...

Диспут назывался «Бессмертие души с классовой точки зрения». Основной доклад делал Луначарский, Введенский был содокладчиком.

Неприятны были оба: и любующийся собою советский краснобай и фальшивый, угодливый митрополит, форсящий большевистскими словечками, искательный перед могущественным оппонентом и перед комсомольским партером. Нарком снисходительно именовал собеседника «уважаемым гражданином Введенским»; владыка – не иначе как «глубокоуважаемым Анатолием Васильевичем».

Вздыхая и морщась, Бах слушал, как митрополит объявляет себя сторонником социалистической и «даже коммунистической» идеологии, а «Манифест коммунистической партии» – «евангелием, которое перепечатано атеистическим шрифтом». Ленина он назвал гением, а Христа – «соглашателем и социал-предателем», за что удостоился одобрительного смеха зала.

Митрополит был слаб и грешен, однако в потоке пошлостей и прямых богохульств нет-нет да и прорывалась искренняя мысль. «В преувеличении достоинства отдельных человек, а отсюда и классов за счет забвения равноценностей, равнозначностей людей, принадлежащих к иным классам, в забвении первичного человеческого достоинства, в забвении нашей

человечности лежит источник всех социально-человеческих трагедий», – проговорил Введенский почти скороговоркой – и Бах морщиться перестал. Сейчас таким языком не говорили нигде. Наверное, стоило пойти на унижение и срам, чтобы произнести со сцены, перед заполненным залом, подобные слова.

А в конце речи обновленец вдруг распрямился, глаза вспыхнули тем самым пламенем, который ни с чем не спутаешь, и голос вдруг обрел кимвальную звучность: «Религия так называемых верующих, а точнее – *знающих* Бога, завораживает с неменьшей силой, чем музыканта его волшебная царица! Это красота Бога, несущаяся, льющаяся из чертогов религии, из духовного храма веры! Она настолько пленяет, что человек согласен мучиться в геенне всегда, подобно Златоусту, лишь бы не отойти от Христа, лишь бы не отойти от Бога! Вот почему Христос, говоря о своем учении, сказал, что оно подобно жемчужине, ради которой, если купец найдет ее, все продаст, чтобы приобрести!».

Выкрикнув эти слова, будто вставленные в его уста какой-то иной силой, Введенский поежился, ссутулился, воровато покосился на хмуращегося наркома. И Баху снова стало жалко тщеславного, корыстного, но по-видимому искренне верующего человека, который, может быть, не тщеславен и не корыстен, а в меру своего разумения, при помощи шутовских усишек и срамнобрачия, пытается спасти то, что в спасении не нуждается. Вот на кого он похож: на русского митрополита времен монгольского ига, смиренно склоняющегося в Орде перед каким-нибудь ханом Берке, чтобы тот не разорял церквей и не жег монастырей.

Победительного министра тоже было жалко. Про Луначарского говорили, что он недавно бросил жену ради молоденькой и пустенькой актрисы. Пожилой, одутловатый от нездорового сердца, не верящий в бессмертие души, обреченный...

Жалко было и крикливых, наглых комсомольцев. Орать свои кричалки и маршировать на демонстрациях они будут толпой, но каждому, каждому без исключения придется испытать удары судьбы, боль, страх, встречу со смертью в одиночку. Никакой коммунизм не поможет и не спасет. Христос – Тот и помог бы, и спас, но они залепляют себе уши воском и не услышат тихого Его голоса. А скоро и таких диспутов не будет. Имя Спасителя будет произноситься лишь шепотом, меж своими...

Про диспут Иннокентий Иванович в тетрадь записал очень коротко: «Помолиться за Введенского. Студент про генератор энергии!» И больше

ничего, потому что это и было главное. Особенно второе. Совершенно ясно, что ради того студента Господь и направил вчера Баха в Экспериментальный театр. Ничего случайного на свете нет. Человек, у которого открыты глаза, уши и сердце, всегда оказывается в правильном месте в правильное время.

После главных выступлений начались вопросы и реплики из зала. Говорили сплошь одни атеисты, и Бах уже ничего интересного не ждал, только глядел с жалостью на молодые, глупые лица.

Потом поднялся один, назвавшийся студентом-физиком, и тонким, мальчишеским голосом обратился с вопросом к Луначарскому. В чем заключался вопрос, пока было неясно. Юноша говорил нескладно, еще и заикался. С научной точки зрения, существование Бога вполне допустимо, поскольку *не-существование* Бога научными доводами не доказано, а стало быть, гипотеза Бога вполне может считаться рабочей, – волнуясь, нес физик рационалистическую чепуху. Бах сочувственно покачивал головой. В этом возрасте он был таким же: заведет речь о чем-нибудь очень важном, а никто не слушает, и сам виноват – не речист и путан.

Надоело и наркому.

– Ну хорошо, а что же такое Бог, если взять Его как «рабочую гипотезу»? – усмехнувшись, перебил он мальчишку.

– Как что? – удивился тот. – Генератор энергии. Энергии особого вида, которую мы называем «любовью».

Здесь Иннокентий Иванович дернулся, вскочил с кресла, чтобы рассмотреть говорящего, но тот был далеко, лица не разглядеть, только и видно, что чубатый и в очках.

– ...А поскольку всякая энергия – интеграл движения, то пока длится движение (то есть продолжается жизнь человечества), любовь будет сохраняться и никуда не исчезнет. В этом смысле она совершенно бессмертна, и постепенно ее должно становиться всё больше и больше, потому что генератор продолжает работать. Любви, по-видимому, и становится больше, поскольку мы видим, как с движением времени человечество движется от дикости к цивилизации и от тьмы к свету.

Здесь в зале захлопали, причем и внизу, и наверху – каждая часть аудитории услышала только свое.

Луначарскому это не понравилось. Он раздраженно оборвал студента, сказав, что ставит ему по физике «неуд», и разразился длинной эрудированной тирадой про время и энергию, но взволнованный Бах уже не слушал. Генератор особого рода энергии, именуемой любовью!

Воистину: устами младенца.

Вспоминая вчерашнее, Иннокентий Иванович улыбнулся и придвинул миску с молоком, в котором хлеб уже размок, превратился в кашу. Кусать было нечем, жевать тоже получалось не очень: передние зубы к сорока шести годам выпали, боковые шатались. Ничего, мяса Бах все равно не ел, даже в мясоед, а без баранок-орехов можно и обойтись.

Следующее на сегодня дело было такое: сходить на свежую могилу, где вчера, когда Иннокентий Иванович уехал на диспут, похоронили девушку-самоубийцу. За нее он еще не молился.

На дальней аллее, где свежие захоронения, кладбище было не белым, а пятнистым от холмиков черной земли.

Вот он, новый. Без креста, конечно. Палка, к ней приколочена временная дощечка с именем: «Л. Эйзен, ум. 11/2/26 г.». От отца Александра известно: студентка-медичка, выбросилась из окна. Охо-хо, царица небесная...

Ладно, у этой хоть цветы, венок с лентами – значит, кто-то провожал, кому-то была дорога. А на соседней могиле, где тоже самоубийца, позавчерашняя, кроме имени ничего.

О позавчерашней Иннокентий Иванович уже молился. Бывшая княжна, из Оболенских, прошла через ад при жизни. За это Господь ее, конечно, простит.

Отец Александр не позволяет ставить крест на могилах самоубийц. И канонических молитв читать не благословляет. Суров. Считает, что в годину испытаний спасение только в строгости, а Баху казалось, что наоборот. Часто они об этом спорили, и каждый оставался при своем мнении. Однако запрет священника есть запрет священника, и самоубийцы лежали без крестов. Что же касается молитв, то это, отче, дело прямое – между душой и Господом. Нельзя по уставу, сыщутся и другие слова.

Иннокентий Иванович встал между могилами бедных девиц, раскрыл на закладке растрепанный томик (Федор Михайлович Достоевский, «Дневник писателя»). Стал читать вслух, дребезжащим голосом, отчеркнутое:

– «...Я не вою над тобой, бедная, но дай хоть пожалеть о тебе, позволь это; дай пожелать твоей душе воскресения в такую жизнь, где бы ты уже не соскучилась. Милые, добрые, честные (всё это есть у вас!), куда же это вы уходите, отчего вам так мила стала эта темная, глухая могила? Смотрите, на небе яркое весеннее солнце, распустились деревья, а вы устали не живши. Ну как не выть над вами матерям вашим, которые вас

растили и так любовались на вас, когда еще вы были младенцами?»

* * *

Вчера Мирра толком не разглядела могилу, потому что по дороге на кладбище грузовик заглох, шофер долго возился с мотором, ребята несколько раз толкали и добрались уже в темноте, а рыли и закапывали при свете фар. Хотя Лидке, наверно, такие похороны понравились бы: романтично.

Когда закрыли крышку гроба, Мирра не выдержала, заревела. Звук молотка был такой острый, будто гвозди входили не в дерево, а прямо в сердце. «Вот дура, вот дура», – бормотала она. Но тут начала выступать Андропова, от студкома – в принципе, про то же самое. Что подобный антиобщественный поступок можно совершить только обладая куриными мозгами. Что Эйзен проявила безответственность и черную неблагодарность по отношению к советскому государству, которое простило ей непролетарское происхождение, четыре года тратилось на подготовку специалиста, а получило вместо медроботника гроб с покойницей.

Слезы у Мирры сразу высохли. Она крикнула: «Андропова, ты зачем сюда приперлась? Ты Лидку всегда не любила, ну и катись отсюда, нечего здесь языком болтать!» Рассобачились в дым, прямо над могилой. Андропова, конечно, этого так не оставит, она памятливая. Черт с ней. Хуже, что Мирра на нерве кинулась и на остальных: «А вы все чего притащились? Поглазеть? Сдали по гривеннику на венок, теперь вам кино подавай?» Это, конечно, было несправедливо и зря. Антон чуть не силком, обхватив за плечи, повел ревущую Мирру прочь. Шепнул в ухо: «Завтра утром съездим вдвоем. Никого не будет, попрощаешься как следует».

И утром поехали. Добираться далеко, на противоположный конец города, зато без пересадок. Родной «пятнадцатый», рабочая лошадка, громыхал по рельсам целый час, но привез почти к самым кладбищенским воротам.

По дороге Мирра молчала, хмуро глядя на серые, грязные дома и серые, грязные сугробы. А с неба снова сыпало, сыпало снежной крупой. Эта поганая зима длилась уже целую вечность и заканчиваться не собиралась. Впереди еще больше чем полфевраля, март тоже зимний, и апрель бывает всякий...

Антон тактично помалкивал. Это злило.

– Чего ты всё в рюкзаке своем роешься? – раздраженно спросила она. – Зачем тебе рюкзак? На пикник что ли собрался? Закуску прихватил?

– Во-первых, прихватил, – спокойно ответил Клобуков. – Водку, стаканы, хлеб с солью. Помянем, а то вчера вышло не по-русски. Во-вторых, фотоаппарат – могилу снять. И рулетка – замерить. Придется же памятник заказывать. Какую сделать надпись?

– «Лидка Эйзен. Чертова дура», – мрачно ответила Мирра.

Он погладил ее по руке. Мирра прижалась лбом к его плечу и стояла так долго, благо теснотища, и вообще в трамвае всем на всех наплевать.

Она бы сама участок не отыскала, но Антон, оказывается, запомнил, куда идти.

Жуткое местечко. С одной стороны глухая кирпичная стена, перед ней голый пустырь, и на нем, с промежутком в метр, кучки мерзлой грязи – могильные холмики. Снегом бы, что ли, поскорей присыпало...

Клобуков повертел шеей, посмотрел в книжечку.

– Номер 3248. Это вон там. Где мужчина стоит.

Да, стоял там какой-то, в ватнике, валенках, с непокрытой, наполовину седой головой. Читал по толстой книге, шевелил губами. Молился, наверное. На скрип шагов обернулся. Лицо длинное, старое, очки на дужке перемотаны изоляцией.

– Вы сюда, к Л. Эйзен? – спросил тонким, надтреснутым голосом. – Ухожу-ухожу. Не буду мешать.

– Иннокентий Иванович? Вы?! – ахнул Антон. – Как вы здесь? Откуда?

Старик замахал руками, словно курица крыльями, и залопотал – тоже по-куриному, будто закудахтал:

– Антон... Антоша... Боже ты мой, Господи, Твоя воля...

– Мирра, это Иннокентий Иванович Бах, друг моих родителей! Мы столько лет... сколько же? С двадцатого года не виделись! – И снова старику этому: – Я ведь вас разыскивал после польской войны! Был в Наркомпросе. Сказали: вычищен, и я...

– Да-да, вычистили меня, – перебил Бах, улыбаясь щербатой улыбкой – не старческой, а детской, будто это у него молочные зубы выпали, а взрослые еще не выросли. Станный был человек. И не такой уж старый, если приглядеться. – С запретом на... как это там... «на воспитательно-педагогическую деятельность ввиду реакционно-религиозных убеждений».

Дальше разговор пошел совсем сбивчивый, бестолковый. Клобуков

стал рассказывать, как пытался разыскать Баха, тот, шепелявя, всё удивлялся, что «Антоша» так возмужал и сделался похож на Марка Константиновича. Оба нелепо топтались друг перед дружкой – никак не могли решить, обняться им или ограничиться рукопожатием, и в результате не делали ни того ни другого.

– Как сторожем? – воскликнул Антон, разобрав в Баховом бормотании что-то, чего Мирра не расслышала. – У вас же два университетских диплома!

– Богословское и философское, – смеясь, кивнул Бах. – Вот я по обоим специальностям и совместительствую. При церкви да при кладбище. Дай я на тебя, Антоша, как следует посмотрю. Сейчас только, глаза вытру...

У него в самом деле глаза под очками были мокры от слез. Утеревшись чистым лнялым платочком, Бах уперся пальцем в сломанную дужку, с полминуты разглядывал Клобукова в упор, внимательно.

– Господи, я помню, как ты на полу с кубиками... И вот уже морщинки, складка на лбу... Всякое бывало, да? Я вижу, вижу. Что ж, такое время... Марк Константинович, думаю, был бы тобой доволен. Я молюсь за него, часто. И за Татьяну Ипатьевну. – Спыхватился, посмотрел на Мирру. Законфузился. – Извините, мы ведем себя невежливо...

– Это моя... подруга, – не сразу нашел для Мирры дефиницию Клобуков. – Студентка, скоро будет хирургом.

Мирра назвала имя и фамилию, осторожно пожала тощую слабую руку.

– Вы, кажется, красавица? – Иннокентий Иванович с любопытством ссутулился, глядя на нее сверху вниз. – Я вижу немного расплывчато, но общее ощущение, что красавица.

Смешной, но кажется славный, подумала Мирра. И знал Антона ребенком. Расспросить бы.

Поговорили про Лидину могилу.

– Вы не беспокойтесь, я буду за ней присматривать, – сказал Бах. – Хотите, весной вербу посажу? Или рябину. А надгробье ставить рано. Пусть земля оттаяет, просядет. Я теперь кладбищенский специалист, всё про это знаю.

Задул холодный ветер, стал швырять в лицо снежную пыль, сделавшуюся колючей.

– Пойдемте ко мне, – пригласил Бах. – У меня замечательно уютная сторожка. Теплая.

Крошечный кирпичный домик, издали казавшийся игрушечным,

с одни маленьким окошком, был прилеплен к кладбищенской стене. Раньше, объяснил Иннокентий Иванович, там хранили инвентарь. Казалось, втроем не уместиться, но ничего, кое-как расселись: Бах с Антоном на узенькой койке, Мирра – через стол, на единственной табуретке. Метра три здесь было квадратных, никак не больше. Но правда – тепло, и даже чересчур. Чугунная печка вздыхала и потрескивала дровами.

– Хорошее жилье. У меня давно такого не было. Тишина, покой. А какой вид! – похвастался Бах.

Мирра оглянулась через плечо – поежилась. За окошком были могилы, да поодаль, над деревьями торчал церковный купол.

Иннокентий Иванович накрыл на стол не вставая, – с его места всюду можно было дотянуться: и до шкафчика, и до чайника на печке.

– Вот. Настоящий кяхтинский чай. Вода вскипит моментально. И баранки есть замечательные, с маком. Очень удачно, у меня не всегда есть чем угостить. Скорбящие поднесли. Обычно водку дают, я отказываюсь. А от хлебного дара отказываться нельзя – грех. Я их грызть не могу, в чае размачиваю...

– Помянем Лиду, Миррину подругу, – сказал Антон, доставая «красноголовку» и закуску. – Мы ведь за этим сюда пришли. Я покойницу мало знал, но...

– Давай без речей, а? – оборвала его Мирра. – Мало знал – так помолчи.

Мужчины посмотрели на нее с одинаково испуганным выражением. Слишком резко сказала.

Опрокинули по стопке, причем Бах весь сморщился, замахал рукой.

– В сущности Лидка поступила правильно, – сказала Мирра не им, а в ответ на собственные мысли. – Такой незабудке в этом грубом мире не место. Но как же ее дуру жалко...

Вытерла кулаком слезу, шмыгнула носом. Серdito покосилась через стол.

– Ладно, чего вы. Разговаривайте про свое, вы же давно не виделись. Не обращайтесь на меня внимания.

Те минуту-другую деликатно помолчали, но хозяин ерзал, вздыхал, все смотрел на Антона – очень хотел поговорить.

– Я вижу по твоему лицу, Антоша, что ты прошел через тяжкие испытания... Бог весть, когда мы свидимся вновь и свидимся ли... Времена такие, когда загадывать трудно... Поэтому, прости, но я спрошу про самое главное. Я знаю твою семью, знаю, что ты получил атеистическое воспитание. Но испытания для того и ниспосылаются, чтобы вывести

человека на Путь. Скажи... – он запнулся. – Нашел ли ты Бога? Или, верней сказать, нашел ли Он тебя?

Смотрел со страхом и надеждой.

Мирра закатила глаза, но сдержалась.

А Клобуков, молодец, ответил терпеливо:

– Иннокентий Иванович, знаете, я отношусь к верующим людям примерно так же, как к футбольным болельщикам. Вижу, что им здорово вместе, что они увлечены каким-то дружным и, видимо, хорошим делом. Я им даже завидую – тоже хотел бы радоваться забитым голам и горевать из-за пропущенных. Но меня не волнует, куда у них там покатился мяч. И вообще эта игра мне неинтересна... Простите, если вас обидела такая метафора.

Бах улыбнулся.

– Обидеть меня, кажется, никому еще не удавалось. А в твоих словах ничего обидного нет. Мы, верующие и атеисты – если исключить фанатиков с обеих сторон, – относимся друг к другу одинаково: как к легкопомешанным. Думаем: вроде человек как человек, но есть у него один пунктик, которого лучше не касаться, а то всем будет конфузно. О чем угодно с ним можно, но только не о Боге. И тут уж верно одно: какая-то из двух категорий точно умалишенная. Либо Бог есть, и тогда атеистам вечно терпеть адские муки, а они, полоумные, этого не понимают. Либо нет ни ада, ни рая, а верующие всю жизнь зря корчат из себя клоунов, совершая безумные крестообразные движения рукой и нелепые гимнастические упражнения на коленках. – Он махнул рукой, захихикал. И посерьезнел. – Но суть не в человеческом уме и безумии, а в душевной крепости. Я думаю, это иллюзия, что самые страшные времена остались позади и теперь будет легче. Сейчас наступила передышка после военных ужасов, а будет страшно и, может быть, еще страшнее, чем прежде. Я не знаю, не могу объяснить с политической точки зрения, но... Я вижу на горизонте небо, всё черное от туч, и в нем сверкают молнии. Будет новая гроза, новая буря. И спасутся душой, сохранят себя только те, кто найдет опору в Боге. Кто уверует.

– Насколько я понимаю, заставить себя уверовать невозможно, – заметил внимательно и сочувственно слушавший Антон.

– Невозможно. Ты просто дверь не запирай. Оставь щелку, чтобы было куда свету проникнуть.

– Договорились, – улыбнулся Клобуков. – Кстати, насчет света. Чуть-чуть развиднелось. Пойду-ка я сфотографирую могилу, пока снова не посумрачнело.

Мирра еле удержалась, чтобы не встать. Ей все время хотелось быть с Антоном, ходить за ним – куда он, туда и она. Но эту бабью, коровью тягу требовалось преодолеть. «Будь рядом, когда ты нужна или когда в этом есть смысл. Не таскайся за ним повсюду хвостом, иначе ему это надоест», – сказал Мирре внутренний мудрый голос.

Она с равнодушным видом полуотвернулась, как бы осматривая комнатку, и даже не проводила Клобукова взглядом, хоть сердце и сжалось. Оно теперь всегда сжималось, когда Антон куда-то уходил, даже ненадолго.

Почувствовала на себе взгляд хозяина. Вопросительно взглянула – Бах смутился. Опустил глаза, но тут же снова поднял.

– Я понимаю, это ужасная бестактность, вы меня совсем не знаете... – Он отчего-то волновался, проглатывал концы фраз. – Меня в последнее время тянет говорить только о главном... Даже с малознакомыми и вовсе незнакомыми... Это бестактность. Вежливо – говорить о пустяках. Но я сейчас еще и пьян, я очень редко принимаю алкоголь и быстро хмелею... К тому же мне кажется, что вы и Антоша сейчас переживаете очень важный момент в жизни.

Мирра вздрогнула, стала слушать внимательно.

– ...Смотреть на вас двоих утешительно и в то же время страшно... Я со вчерашнего вечера всё думаю об энергии любви. И мне стала ясна одна вещь, очень важная. Он, конечно, прав, и любовь бессмертна, но не всякая любовь. *Та* любовь, – Бах показал пальцем на потолок, – безусловно, интеграл движения и бессмертна, ибо у Бога система открытая, не имеющая границ. Но *эта* существует в замкнутой системе. Система эта гранична и конечна. Конечна, понимаете? – Он поежился. – Я не каркаю. Просто я смотрю на вас двоих, и мне очень страшно... – Иннокентий Иванович огорченно всплеснул руками. – Я плохо говорю, вы меня не понимаете!

Мирра, в самом деле, поняла только одно: мямля хочет, чтобы у них с Антоном ничего не получилось.

– Это вы ничего не понимаете, – пожала она плечами. – Во всяком случае в любви. Что вы можете о ней знать?

И выразительно посмотрела на его мягкое, мятое лицо без малейших признаков мужественности – даже бороденка на этой полудетской, полустариковской физиономии выглядела не вторичным половым признаком, а каким-то цыплячьим пухом. Скопец, а не мужчина.

– Я? О любви? – Он задумался. – Очень немного. Зато самое главное.

– Что же, по-вашему, в любви самое главное? – усмехнулась Мирра.

– Что любить можно или Бога и всех, или какого-то одного человека

и больше никого. По-настоящему – никого.

– Да почему же? Нравится вам ходить в церковь и молиться – на здоровье. Любите своего Бога, кто вам мешает! А любовь мужчины к женщине и женщины к мужчине – это совсем другое.

– Нет, – уверенно качнул головой Бах. – Вы ведь согласитесь, что по-настоящему можно любить только всей душой. А это значит без остатка. На другую любовь ничего не останется.

– Да вы, поди, никогда в жизни ни одной женщины не любили! Только вашего Бога. – Мирра не могла всерьез рассердиться на чудака, но пустой разговор начинал ей надоедать. – Напридумывали себе фантазий и сами же испугались. А в настоящей любви думать вообще не нужно. Нужно быть собой, и всё.

Иннокентий Иванович несколько не обиделся, а только грустно улыбнулся.

– Ах, на мой счет вы очень ошиблись. Я прошел через искушение и испытание любовью к женщине. И еще не до конца прошел...

А вот это уже было интересно. Мирре теперь про любовь было интересно всё. Даже не так: если не про любовь, то и неинтересно. Стыдно, конечно, но факт.

– Расскажите, – потребовала она.

– Расскажу. Мне ужасно нравится говорить про Ариадну, но редко удается... Ариадна... – Бах повторил имя с наслаждением и снова улыбнулся, но уже не печально, а мечтательно. И лицо сразу перестало казаться скопческим. – Хотя, собственно, что про Ариадну рассказывать? У меня не найдется слов ее описать.

– Очень красивая, да? – с любопытством спросила Мирра.

– Прекрасная! Ну, то есть, я не знаю, как с общепринятой точки зрения. Может быть, она только мне казалась такой прекрасной... – Эта мысль, по-видимому новая, встревожила Баха, однако ненадолго. – Но ведь этого достаточно?

– Более чем.

– Мы познакомились в пятнадцатом году. Оба учились на фельдшерских курсах и работали в госпитале. Я, конечно, был много старше и вообще – ну, вы видите, какой я. А она была молодая и... прекрасная. Сам не понимаю, как это вышло...

– Вы полюбили друг друга! – воскликнула Мирра. – Рассказывайте же!

– Нет-нет, ничего такого не было... То есть я ее безусловно. Да и как бы я мог Ариадну не полюбить? – Иннокентий Иванович даже удивился.

– А она вас – нет?

– Если бы так, это бы ничего. Это было бы нормально. Но... – Он сделал рукой замысловатый жест, с трудом подбирая слова. – ...Я вдруг почувствовал, что это *может произойти*. Понимаете? Она так на меня смотрела, так разговаривала, что я почувствовал это и...

– ...Испугался, – сурово закончила за него Мирра.

– ...Да, я испугался. Что, если придется выбирать, между нею и Ним... Богом? – пояснил Бах, когда она не поняла, – и не договорил, просто вздохнул.

– Зачем же выбирать? Зачем?!

– Да как же? Я уже тогда, в пятнадцатом году, знал, предчувствовал, что грядут времена, когда... или Христос – или тот, кого любишь. Многим ведь пришлось в минувшие страшные годы делать этот выбор. И сейчас приходится. Причем, я подозреваю, что такое происходит не только в нашей бедной стране и не только в страшные годы, а во всякой человеческой жизни. Даже какому-нибудь шведу или швейцарцу в некий миг жизни тоже обязательно приходится выбирать – та любовь или эта. А выражаясь языком физики: одна энергия или другая. Конечная или бесконечная.

– И вы выбрали вашего Иисуса, – с осуждением сказала Мирра. – А ее, Ариадну вашу, оттолкнули.

– Нет, я поступил по-другому. – Иннокентий Иванович оживился. – Я позаботился о ее счастье. Такая прекрасная женщина заслуживает прекрасного мужчину, который будет любить только ее. В госпитале, среди раненых, было много прекрасных мужчин, и я выбрал самого лучшего. Достоинейшего. Благородный, тонко чувствующий, мужественный. Прапорщик военного времени, из филологов. С тяжелым, но не смертельным ранением, после которого на фронт уже не отправят. И, что главное, он был неверующий. Значит, рассудил я, будет любить только Ариадну. Я всё очень точно рассчитал! – Бах гордо поднял палец. – Я сделал так, что они полюбили друг друга. Это было нетрудно. Просто стал назначать Ариадну к нему дежурить, и она увидела, что это за человек. А уж ее-то не полюбить было совершенно невозможно... И всё получилось согласно моему плану. Я был у них на свадьбе шафером. Это был счастливейший день моей жизни!

– Ну да, – мрачно сказала Мирра. Представила принаряженного Баха с белым бантом и идиотски-блаженной улыбкой – передернулась. – А потом что?

– Потом? – Иннокентий Иванович улыбался, наслаждаясь

воспоминаниями. – Потом они жили очень хорошо, в Москве – он был москвич. Я у них один раз побывал, чтобы убедиться. И чрезвычайно обрадовался, что так хорошо всё устроил. Они были безусловно и несомненно счастливы.

– А где они сейчас?

Улыбка погасла. Бах посмотрел в окно, закричал.

– Он – здесь...

– В каком смысле?

– У него было простреленное легкое. И в Гражданскую войну, в голодное время, начался туберкулезный процесс... Ариадна позвала меня. Я переехал из Петрограда. Я помогал ухаживать за ним. Доставал лекарства, продукты... Но главную помощь я оказал им в самом конце.

– Так он умер? – расстроилась Мирра.

– Да. Я же говорю, он здесь. – Иннокентий Иванович показал на окно. – Я посадил рябину. Ариадна очень любит рябину...

На глазах у Мирры выступили слезы. Что-то она в последнее время стала плаксивой.

– Главную помощь? Какую главную помощь?

– Я разлучил их. Когда приблизился последний этап болезни, мучительный, я поговорил с ним. Я не красноречив, а тут и слова верные нашлись, Бог помог. Я сказал ему: всё, ваша любовь кончается, теперь остается только та, другая. Надо побыть наедине с Богом. Подготовиться. А когда я увидел, что это для него пустые слова, говорю: подумайте об Ариадне, пожалейте ее... – Бах шмыгнул носом. – И он сказал ей: давай прощаемся, пока я еще человек. Запомни меня нынешним. Я не хочу, чтобы ты видела, как я исхаркаюсь кровью и умру. И на похороны не приходи. Не хочу, чтобы я для тебя умер. Уезжай... У Ариадны в Берлине брат. И она уехала.

– Уехала?! – вскрикнула Мирра.

– Да. Я сам отвез ее на вокзал. Она поцеловала меня, посмотрела так, что не нужно было никаких слов. И уехала. А я перевез его сюда, к отцу Александру. Больной лежал на свежем воздухе, смотрел на небо, на деревья. Перед смертью исповедовался и причастился. Хорошо умер. Покойно. Дай Бог всякому.

Бах перекрестился.

– Давно это было?

– Три года и четыре месяца назад.

Мирра вытерла глаза платком.

– А вы знаете, где Ариадна сейчас?

– Да. Она прислала берлинский адрес. Но я ей не пишу. Чем я могу? Только молиться. Теперь всё в руке Божьей...

– А фотокарточка ее у вас есть?

Очень захотелось посмотреть на женщину, сумевшую вызвать такую любовь.

– Нет и никогда не было. Зачем? Мне довольно прикрыть глаза, и я вижу... А вот его карточка есть. Когда он был здесь, я специально пригласил фотографа. Чтобы она увидела, как хорошо он умирал, и успокоилась.

Бах дотянулся до толстой книги, аккуратно обернутой в газету, вынул засунутую меж страниц фотографию.

Мирра долго разглядывала мужчину с бородкой, который лежал на спине и глядел мимо камеры, в пространство. Мужчина был красивый, но ей такие никогда не нравились.

– А почему не отправили, если адрес есть?

– Боюсь нашей почты. Потеряет.

– У Антона профессор часто в Европу ездит. Можно попросить, чтоб отправил.

– Правда?! Ах, это было бы очень, очень хорошо! Просто замечательно! – Бах обрадовался, засуетился. – Я ее в конвертик... У меня отличный есть конверт, из плотной бумаги, дореволюционный...

А Мирра смотрела на него и с жалостью думала: «Так ты, дурачок, и не понял, что она любила тебя, а не его. Иначе ни за что бы не уехала. Ни за что».

Но вслух сказала только:

– Ох, я бы этого Бога вашего...

Любовь мужская и женская ~~~~~ Два человека.

Однажды на уроке рисования
— я учился в первом курсе в
ром классе гимназии — учился
даже классу задания Лизо-
Бразил — человека и его
мир. Все вокруг меня закри-
чали и караулили меня, я усе-
тых и боробатых гдет в
окружении голых бронзов
локомоторов и всевозможных
визов вооружения, а я вижу
наша, это мне знаю, как это
— изображение человека. Человек ко-
му-то или женщина? Ведь
в зависимости от того мира
вредметов и понятий культуры
существенно различия. У меня был
двоеобразием зрения, и я знаю,
это разговаривать с вами
особенно их о том — их зани-
мают совсем другие вещи.
Каждый тогда я впервые за-
думался о том, что человек
одна два пола означает не
только физиологическое раз-
личие, но и почти полное не-
сопоставление в интересах, заин-
тересованных интересах и даже
царях — любви (хотя конечно
еще не все мужчины в нагод-
ных случаях).

По сути дела, на земле живут
два отдельных человека, которые

(Из клетчатой тетради)

Любовь мужская и женская

Два человечества

Однажды на уроке рисования – я учился в первом или во втором классе гимназии – учитель дал классу задание изобразить человека и его мир. Все вокруг меня заскрипели карандашами, рисуя усатых и бородатых дядек в окружении домов, аэропланов, локомотивов и всевозможных видов вооружения, а я вдруг понял, что не знаю, как это – «изобразить человека». Человек кто – мужчина или женщина? Ведь в зависимости от этого мир предметов и понятий получится совершенно разным. У меня были двоюродные сестры, и я знал, что разговаривать с ними особенно не о чем – их занимают совсем другие вещи. Кажется, тогда я впервые задумался о том, что деление на два пола означает не только физиологическое различие, но почти полное несовпадение в интересах, занятиях, образе мыслей и даже иерархии чувств (хотя, конечно, еще не умел мыслить в подобных терминах).

По сути дела, на Земле живут два отдельных человечества, которым очень непросто понимать друг друга и о чем-то договариваться. Даже в той зоне, где интерес обоих «человечеств» направлен друг на друга, то есть в Любви, мужчина и женщина по-разному мыслят, по-разному ощущают, руководствуются разными критериями, вдохновляются разными стимулами и мотивами.

Нельзя понять и исследовать механизм Любви, не разобравшись в этих расхождениях. Женская Любовь и мужская Любовь – не одно и то же явление. Этот процесс в обоих случаях протекает со своими характерными особенностями, которые мне хочется осмыслить, отделив типическое от частного.

Материал для анализа и выводов я намерен черпать не столько из личного опыта, сколько из более чем полувековых наблюдений за другими людьми и из литературы, этого зеркала быта, нравов и чувствований различных эпох.

Резонно было бы предположить, что Любовное поведение мужчин и женщин определено разницей их биологических ролей, но так было, вероятно, лишь в первобытном обществе, при незначительной дистанции

между человеком и животными. Не думаю, однако, что в тех условиях жизни уже существовала Любовь в высоком «андрогинном» смысле. Этот феномен должен был стать результатом длительного культурного и социального развития. А если так, то поведение, образ мыслей, строй чувств определяются не столько физиологией, сколько «надстроечными» факторами – общественными нормами, сложившимися традициями, преобладающими в данный момент воззрениями и даже просто модой.

Человек как личность состоит из двух компонентов: базовые черты (ум или глупость, природная смелость или робость, скорость реакции или медлительность и т. п.) закладываются от рождения, а привычки, образ мыслей, тип взаимоотношений с окружающей средой, система ценностей, мотивации и стилистика поступков прививаются воспитанием – либо отсутствием оно, что тоже является воспитанием, хоть и в негативном смысле.

Именно «надстройка» внушает мужчине и женщине, как себя вести в Любви, что думать, к чему стремиться, какие чувства испытывать – и если внутренний Голод заставляет человека идти наперекор социально-культурному диктату, возникает чувство вины. Разумеется, правила менялись в зависимости от эпохи и среды, поэтому «правильная» женская и мужская Любовь могли выглядеть совершенно по-разному, а бывало и так, что Любовь вообще осуждалась и даже табуировалась.

Думаю, что к числу постоянных, то есть не «надстроечных», а мотивированных физиологией различий (ролей в детородном процессе) следует отнести разве что сравнительно большую активность и авантюризм у мужчин в противовес женской консервативности и осторожности, хотя исключений и обратных примеров более чем достаточно.

Есть некое фоновое обстоятельство, которое нельзя не учитывать при исследовании мужской и женской Любви. История взаимоотношений между полами трудно назвать безоблачной. Они развивались по схеме любовь-ненависть, поскольку находились под воздействием не только силы притяжения, но и силы отталкивания. Обеим сторонам есть за что друг на друга обижаться, причем большая часть вины здесь, конечно, на совести мужского пола. Мизогиния, женоненавистничество, долгое время была официальной, не подвергающейся сомнению доктриной патриархального общества.

Ярче всего эта идеология проступает в религиозных учениях, которые долгое время выполняли роль этико-поведенческой конституции

человечества. В Библии полно всяких глупостей в духе «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу» и «Жена да убоится мужа своего». Могут возразить, что со времен античности, когда писался этот текст, христианство сильно переменялось, однако и у Мартина Лютера можно встретить глубокомысленные суждения такого рода: «У мужчины широкая грудь и узкие бедра, поэтому он наделен лучшей разумностью, чем женщина с ее узкой грудью и широкими бедрами, вследствие чего женщине должно сидеть дома, поменьше перемещаться, заниматься хозяйством, а также рожать и взращивать детей». Еще презрительней отзывается о женском поле Коран, заявляя, что мужчина выше женщины и что «праведные женщины должны быть покорны». В наши дни разрушения тотальной патриархальности происходит встречное враждебное движение со стороны крайнего феминизма, хотя масштаб и ущерб, причиняемый Любви этой идеологией, пока несопоставим с застарелым мужским шовинизмом.

Я упоминаю об этом глубоко укорененном противостоянии, потому что им объясняется значительная часть взаимных предрассудков, недопониманий и недоразумений – *ошибок Любви*. Это, выражаясь по-медицински, «предыстория болезни» – фон, на котором часто стартуют Любовные отношения.

Любя, люди зачастую ведут себя жестоко – подчас сознательно, но по большей части сами этого не понимая. Это может быть мстостью за прежние душевные травмы или – в случае женщины – реваншем за неравенство социальных позиций. Стендаль, понимавший женщин гораздо лучше, чем я, утверждал, что их могущество основано исключительно на мере несчастья, которым женщина может покарать своего возлюбленного; что женщинам свойственно вымещать досаду, причиненную дураками, на умных мужчинах, а досаду, причиненную низменными натурами, на благородных душах. Добавлю к этому, что и мужчина ведет себя не лучше, отыгрываясь на Любящей женщине за свои комплексы и слабости.

Меня занимает лишь ситуация, в которой оба участника Любят друг друга сильно и искренне, «без ножа за пазухой», однако и в этом случае отзвуки извечной войны полов проявляются в нескольких важных точках несовпадения.

Общие различия

Во-первых, типическая женщина иначе смотрит на **объективность**. Женская Любовь гораздо в большей степени «мафиозна», то есть пристрастна к своему объекту и требует такого же отношения к себе. Всякую попытку непредвзятого (с мужской точки зрения справедливого) к себе отношения она воспринимает как тяжкое оскорбление. Стендаль рассказывает исторический анекдот о писательнице восемнадцатого века госпоже де Соммери, которая, будучи застигнута своим любовником за неким неблаговидным занятием, стала отрицать очевидное, а потом с обидой воскликнула: «Ах, я прекрасно вижу, что вы меня разлюбили; вы больше верите тому, что вы видите, чем тому, что я говорю вам!» История, конечно, комичная, но очень точно передающая суть женского взгляда на Любовь, которая должна быть выше очевидности и объективной реальности.

Во-вторых, женщина в Любви, как правило, ведет себя **храбрее и самоотверженнее**. Я вообще заметил, что женщины боятся только всяких пустяков вроде мышей или тараканов, а в делах важных и по-настоящему страшных они много смелее и, если Любят, способны идти на большой риск или даже на саморазрушение без малейших колебаний. Эту смелость нельзя списать на недостаток воображения, которое у среднестатистической женщины развито лучше, чем у среднестатистического мужчины. Просто женщина в Любви *крупнее* мужчины – это проверенный факт. У нас во времена террора мужа гораздо чаще отказывались от арестованных жен, чем наоборот. Я знаю много случаев, когда жена ехала за мужем, чтобы разделить с ним ссылку или просто находиться ближе к его месту заключения, – и, к стыду за свой пол, не слышал об обратных примерах.

В-третьих, женщина и мужчина по-разному относятся к **унижению**, когда речь идет о Любви. Для классической женской Любви такого понятия вообще не существует, это сугубо мужская химера. Если нужно спасти Любимого, женщина пойдет на что угодно и не будет испытывать по этому поводу ни малейших угрызений. Мне вспоминается одна сцена из времен юности, когда я подслушал разговор матери с подругами. Тогда ходило множество отвратительных сплетен о Распутине, и одна дама вполголоса пересказала очередную – про то, как жена проштрафившегося поставщика отдалась «святому старцу», чтобы тот помог вытащить ее мужа из тюрьмы. Меня поразила не сама история, а реплика одной из собеседниц. Послушав, как другие охают и возмущаются, она сказала: «Ну и что? Должно быть, NN очень любит своего мужа.

Я на ее месте сделала бы то же самое. Ну, после помылась бы

потщательнее и сходила бы проверилась к венерологу». Остальные дамы пришли в негодование, и я тоже был шокирован, а сейчас думаю, что говорившая просто была в большей степени женщиной – то есть *лучшей* женщиной – чем другие участницы обсуждения.

В-четвертых, по-разному мотивируется женское и мужское **предательство** Любви. Начать с того, что мужчина менее склонен считать себя виновным в несчастьях Любви и скорее возложит ответственность на женщину. Первым самостоятельным поступком Адама после того, как он обрел свободу выбора, было обвинить в грехопадении женщину. «Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Мне кажется, что истинная женщина вообще никогда не предает Любовь. А если предала, значит, не Любила по-настоящему, либо Любовь перестала играть в ее жизни ведущую роль, будучи вытеснена каким-то иным сильным чувством – скажем, любовью к детям. Мужчина же способен совершить предательство, даже Любя всей душой. Это и происходит вследствие рокового конфликта между Большим и Малым Миром. Истинный (не в смысле лучший, а в смысле наиболее типичский) мужчина, скорее всего, ради Идеи или Принципа пожертвует Любовью, а стало быть предаст ее.

В общем и целом нельзя не признать, что сравнение мужской и женской Любви получается никак не в пользу первой.

Мужчина и женщина на разных этапах Любви

Теперь я намерен рассмотреть сложный и важный вопрос о том, как развиваются обе стороны Любви, мужская и женская, на всем протяжении этой поднимающейся вверх дороги, если она доходит до самого конца, то есть до глубокой старости.

Начало

Инициатива обыкновенно исходит от мужчины. Так оно устроено и в животном мире, во всяком случае у млекопитающих. Способствуют тому и нравы патриархального общества, осуждающего всякую женскую активность в Любви. Однако и в самых косных, мизогинных социумах у влюбленной женщины всегда находились способы известить объект о своих чувствах, в наше же время правило «начинает мужчина» перестало строго соблюдаться. Очень вероятно, что через пятьдесят или сто лет

поступок пушкинской Татьяны будет совершенно в порядке вещей. Но пока всё же преобладает модель поведения, при которой пчела выбирает цветок, а не наоборот.

Брачные игры

Этим неромантическим термином я обозначаю период, когда он и она изо всех сил стараются понравиться друг другу: распушают перья, издают зазывные трели и прочее. Ведут себя при этом мужчина и женщина по-разному. Если свести эти маневры и ухищрения к самой сути, окажется, что мужчина форсирует свою мужественность, то есть прикидывается сильнее, чем он есть, а женщина, наоборот, стремится показаться более слабой. Слабость мужчины и сила женщины способны разрушить зарождающееся чувство. Это безусловно атавизм патриархальной эпохи с ее представлениями о «правильном» гендерном поведении.

У мужчин проявлением «силы», то есть чем-то эротичным, помимо сугубо физических качеств принято считать социальное положение, богатство, удачливость, смелость, уверенность, веселость и прочие «победительные» черты. Совсем не то у женщин. Они стараются предстать мягкими, робкими, нуждающимися в защите и т. п., то есть усиливают впечатление несамостоятельности.

Конечно, так происходит далеко не всегда. На свете много женщин, которые хотят Любить не сильного, а слабого, не успешного, а несчастного, не молодого, а старого и т. д. – в зависимости от своего внутреннего Голода. Однако – повторю это здесь в последний раз – меня сейчас интересуют самые типические модули Любовного поведения.

Преодоление препятствий

Эта стадия вовсе не является обязательной, поскольку на пути Любящих может и не оказаться никаких преград, но писатели и поэты посвятили ей бесчисленное множество произведений, в которых подробно и всесторонне описаны «похвальные» модели поведения обоих полов. Мужчины совершают подвиги, проявляют отвагу, изобретательность и прочие *активные* качества; классический женский инструментарий по преимуществу *пассивен*: это терпение, верность, стойкость. Цветок ждет, пока пчела до него доберется, и старается лишь не подпустить к себе других пчел, не сломаться под порывами ветра, не увянуть и т. п.

Соединение

Но вот, быстро или медленно, желанная близость достигнута;

Любящие заключили друг друга в объятия. Что чувствуют, как ведут себя при этом он и она?

Здесь острее всего ощущается влияние «предыстории болезни» и окружающего фона, которые могут существенно отравить партнерам наслаждение, причем главным образом женщине. В течение долгого времени всё, имеющее отношение к сексу, за исключением собственно деторождения, в нашей культуре считалось стыдным. Тотальное табу на обсуждение сексуальной тематики, выставление физиологического аспекта Любви как чего-то *грязного*, породило множество aberrаций сознания, неврозов, дисфункций у представителей обоих полов, однако эти негативные последствия ударили по мужчине и по женщине неодинаковым образом.

Сексуальность мужчины не столько осуждалась обществом, сколько вводилась в определенные рамки; у женщины же, *порядочной* женщины, не было права получать удовольствие от полового сношения. Сам акт Любви почитался безобразным и низменным. Умнейший Николай Бердяев уже в XX веке пишет: «В сексуальной жизни есть что-то унижительное для человека» – и даже (кажется, вполне серьезно) при этом ссылается на Леонардо да Винчи, который называл половые органы уродливыми. Будучи впитанными с детства, подобные воззрения, конечно, не могли не отравлять радость людям этического устройства, в особенности женщинам, оргазм которых так сильно зависит от психологии. «Запретный плод» зачастую оказывался совсем не сладок.

Счастливой физической Любви не могло не мешать и элементарное неумение, потому что никто не обучал, да и сейчас не обучает молодое поколение этой важной стороне жизни, как делали, например, индийцы. Как правило, на первом этапе плотской близости Любовники ужасно неуклюжи и невежественны, отчего больший ущерб несет опять-таки женщина.

К физической неловкости, разочарованности ожиданий часто прибавляется еще и чувство вины, которое так сильно описал Толстой в сцене «падения» Анны Карениной: «То, что почти целый год составляло для Вронского исключительно одно желанье его жизни, заменившее ему все прежние желанья; то, что для Анны было невозможно, ужасною и тем более обворожительною мечтою счастья – это желание было удовлетворено. Бледный, с дрожащей нижней челюстью, он стоял над нею и умолял успокоиться, сам не зная, в чём и чем. Она, глядя на него, физически чувствовала свое унижение и ничего больше не могла говорить. Он же чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело,

лишенное им жизни».

Конечно, в нынешнее время, к середине двадцатого века, многое переменялось. Внебрачные связи по-прежнему осуждаются обществом (в Советском Союзе, бывает, даже и на собраниях коллектива), однако *порядочная* женщина уже не обязана быть асексуальной. И все же отношение полов к так называемой «постели» неодинаково, а эмоционально-психические последствия первичной плотской близости проявляются по-разному. Я намерен более подробно рассмотреть большую и трудную тему Любовной физиологии в следующей главе.

Взаимоузнавание

Развитие Любовных отношений в период после физического соединения «половинок», когда он и она начинают узнавать друг друга по-настоящему, это процесс не только приятный, но и довольно болезненный, хотя сила чувства, конечно, смягчает трение. Тем не менее за эйфорией обычно наступает отрезвление, нередко частичное разочарование, возникают конфликты. Вблизи, при постоянном общении, делаются видны слабости и недостатки, почти неизбежные нравственные и физические неряшливости.

Как я уже неоднократно писал, меня занимает только Настоящая Любовь, которой под силу справиться с этой болезнью роста. Однако нельзя не заметить, что мужчина и женщина используют разные терапевтические средства.

Мужчине очень помогает ощущение того, что он сильнее, что он оберегает и защищает свою подругу. В ситуациях, когда Любимой невозможно восхищаться, Любящий компенсирует это жалостью.

Обыкновенный женский способ принятия реального, а не идеализированного партнера очень напоминает материнскую любовь. Если оплошности и дефекты мужа или любовника вызывают не раздражение, а улыбку в духе «он совсем как ребенок» – значит, с женской Любовью всё будет хорошо.

При ссорах, которыми всегда сопровождаются взаимодействие и первичное насыщение Голода, мужчина и женщина достигают примирения опять-таки всяк по своему сценарию. Характерный мужской способ – искупить вину подарком или каким-то подаркообразным поступком, обойдясь при этом без ритуала покаяния. Женщины гораздо легче признают свою вину словесно и просят прощения, но при этом активных действий не совершают. Различие это, вероятно, объясняется сложившимися стереотипами «правильного» гендерного поведения,

согласно которым мужчине демонстрировать слабость не стоит, а со стороны женщины она только приветствуется.

Испытания

Помимо «детских болезней», через которые проходит в своем становлении всякая Любовь, случаются и «болезни» зрелого периода, а также травмы, вызванные воздействием внешних факторов. Бывают разлуки, опасности, бытовые трудности, наконец, иногда в партнере происходят личностные изменения, с которыми непросто примириться. На каждое из этих испытаний мужчина и женщина реагируют по-своему.

Что касается разлуки, то в патриархально устроенном обществе мужчине она дается легче, поскольку уезжает обычно именно он – на войну или по работе, или по какому-то иному делу, требующему активного соучастия, то есть занимающему время, силы и мысли. Тому, кто остается и просто ждет, всегда труднее. Здесь на высоте оказываются «женские» качества: терпение и верность.

Лучше проявляет себя женщина и под гнетом бытовых невзгод, в первую очередь бедности. Мужчину, на которого традиция возлагает моральную ответственность за «добывание хлеба», терзает ощущение своей неполноценности, и часто случается, что человек не выдерживает стресса, падая духом, срываясь в алкоголизм или вымещая комплекс на той, кто все время рядом.

Пожалуй, единственный род испытаний, через которые мужчина проносит свою Любовь успешнее, это ситуации, сопряженные с физической опасностью, угрозой для жизни. Здесь у «сильного» пола имеется возможность продемонстрировать функциональность, стимулируемую воспитанием, – выступить в роли защитника. Спасая и охраняя женщину, мужчина начинает Любить ее сильнее, потому что ощущает себя необходимым и действенным, а это мощный стимул дальнейшего развития.

Особенно трудным экзаменом для Любви становятся проявляющиеся со временем перемены в сфере интересов, привычках, самосознании партнеров, если это движение устремлено по разнонаправленным векторам. Выше, перечисляя «опознавательные признаки» Любви, я включил в их число *готовность к изменению*, без которой процесс останавливается или поворачивает в неправильную сторону. Серьезные личностные метаморфозы чаще происходят с мужчиной, потому что он биологически, психологически и социально активнее. Исторически, да и в наше время нормальным считается положение, при котором

женщина отвечает за Малый Мир (в бытовой терминологии «тыл»), а мужчина – за Большой Мир, под влиянием которого невозможно не меняться. Тут нужно отдать должное гибкости, которая является сильной стороной женской натуры; женщина, по крайней мере, *старается* соответствовать эволюции партнера. Гораздо хуже проявляет себя мужчина, вынужденный следовать за женщиной, которая движется по траектории самостоятельного развития. Вот почему так мало удачных союзов среди пар, где она знаменитее и успешнее – *главнее*, чем он.

Дети

Как ни странно это прозвучит, но весьма непростым испытанием для Настоящей Любви становятся дети. В семьях, которые существуют в условиях недолюбви или квазилюбви, появление ребенка цементирует непрочный союз. Однако НЛ в подобном «клее» не нуждается; партнерам вполне хватает друг друга, и третий здесь часто оказывается лишним. С одной стороны, ребенок, наблюдая большую Любовь, психологически настраивается на следование этому примеру в собственной жизни; с другой стороны, существует серьезный риск, что в семье, где супруги очень сильно Любят друг друга, дети будут чувствовать себя эмоционально обделенными, *недолюбленными*. (Например, оглядываясь назад, на свое детство, я могу сказать, что иногда ощущал себя находящимся на периферии чего-то важного и главного, что соединяло моих родителей. И, конечно, их совместный уход – не только из жизни, *но и от меня* – я ощутил как род предательства, хоть даже внутренне не позволял себе употребить такое слово.) Женщина связана с ребенком теснее, поэтому ее Любовь подвергается большему давлению, и бывает, что мать одерживает верх над женой. Так уж устроено человеческое сердце, что две любви не могут поместиться в нем на абсолютно равных основаниях; одной приходится смириться со вторым местом.

Кризис среднего возраста

Этот проблемный период жизни у мужчин и женщин приходит в разное время, и переживают его они тоже по-разному. Меня в данном случае занимает лишь один аспект этого состояния: воздействие на Любовь.

Многие мужчины на пороге сорокалетия (в девятнадцатом веке это происходило раньше; сейчас в связи с информационным усложнением и соответственным замедлением ментального развития – позднее) вдруг осознают, что старение и смерть не за горами, что многие возможности

упущены, шансы не реализованы, мечты неосуществимы, а остающийся набор вариантов ограничен, и впадают в своего рода экзистенциальную панику: совершают иррациональные поступки, судорожно пытаются пересмотреть координаты своего существования, прожить «пока не поздно» еще какую-то нереализованную жизнь. Ревизии подвергается всё, в том числе и Любовь. Настоящее чувство, конечно, выдержит эту бурю, но тут женщине приходится проявить немало такта, терпения и понимания.

Когда же мужчина миновал этот опасный поворот, тяжелое время наступает у женщины. В предменопаузный период, на исходе пятого десятка, она начинает остро ощущать утрату физической привлекательности. В этот период на помощь отступающему эросу должен придти *филос*, и здесь уже от мужчины требуются те же самые качества – такт, терпение, понимание, мало свойственные «сильному» полу и потому трудно ему дающиеся.

«Вторая молодость»

Когда потомство подрастает и покидает родительский дом, Любовь вновь проходит некоторую реадaptацию. Даже если она продолжала оставаться приоритетом и при наличии детей, ей все же пришлось потесниться, расширить свой ближний круг. И когда дети отдаляются, возникает некий эмоциональный вакуум, на который в идеале должна была бы распространиться высвободившаяся энергия. В действительности такое случается нечасто. Мне доводилось видеть очень мало пар, которые в период «второй молодости» испытали бы и новый старт своей Любви. Скорее возникает нечто вроде постампутационного синдрома с фантомными болями. Это связано с возрастным истощением Любовного горячего – либидо. Правда, гормональный спад дает и позитивный эффект – в том смысле, что половые различия начинают постепенно нивелироваться; впервые мужчина и женщина реагируют на ситуацию по одной и той же схеме. На смену страсти приходит сострадание, понимание друг друга без слов, а привязанность к детям переносится на внуков. Если отец, как правило, менее интенсивно, чем мать, любит сына или дочь (на что есть биологические и социальные причины), то к внукам оба привязаны уже совершенно одинаково.

Старение

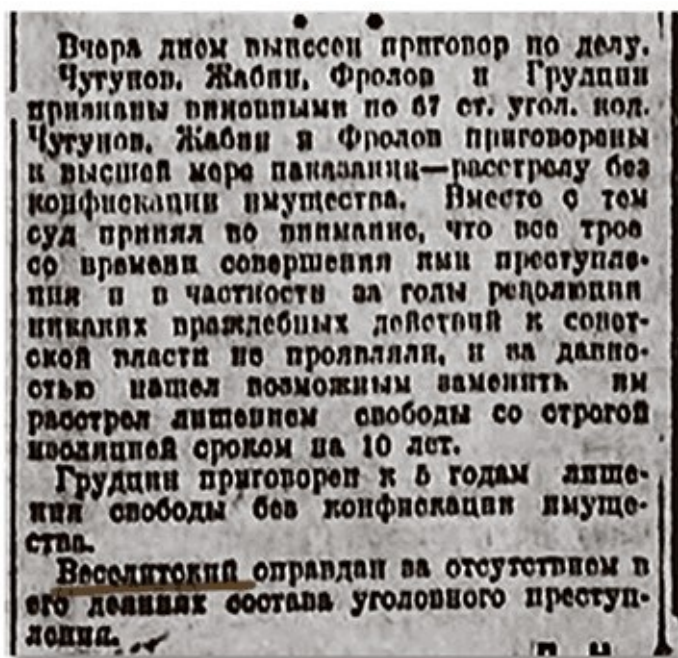
Физическое увядание мужчине дается хуже, чем женщине, поскольку делает человека слабее, что воспринимается «сильным» полом болезненно.

На этом этапе психоэмоциональный баланс перераспределяется: сильной становится женщина, мужчина от нее зависим. Его Любовь становится благодарностью, ее – благодеянием.

Смерть

Ничто так не страшит Любящих, как весьма вероятная возможность, что один супруг умрет раньше, причем ужас вызывает не мысль о собственной смерти, а мысль о смерти партнера. После долгой счастливой Любви одиночество представляется невыносимым, однако, по моим наблюдениям, уход Любимого оказывается для того, кто остался, благом. Поскольку все мысли старого, одинокого человека обращены к ушедшему, который находится уже *по ту сторону*, собственная смерть перестает быть страшной; часто ее ждут безо всякого тягостного чувства, без боязни, а встречают – я не раз видел это собственными глазами – с улыбкой.

Так НЛ делает Любящему последний и очень ценный подарок.



(Фотоальбом)

* * *

Дверью он еще будет хлопать! Сбежал, как последний трус, не дослушав! Думает, она покипятится и остынет.

Я тебе покажу «права и обязанности»!

Не выплеснувшаяся ярость требовала выхода, и Мирре пришла в голову отличная, просто архиправильная идея.

К осуществлению приступила сразу же.

Начала с самого чувствительного: потащила от стены на середину комнаты письменный стол. Конечно, шум, грохот, треск – а вы как думали? В чертовом столе, с пузатыми ножками, с грудой книг наверху, сто кило весу.

Ну и, ясно, Шапирова, нижняя соседка, жуткая сука, заколотила в пол деревяшкой. Наверно, шваброй. Пяти минут не может потерпеть. Еще и завопила визгливо: «Прекратите безобразия! У меня люстра трясется». Люстра у нее! У всех лампочка с газетным, максимум с тряпичным абажуром, а у этой хрустали. Жирует у себя в Мосторге, ворюга.

Довольная, что можно отыгаться-оттоптаться не на безответном столе, а на живой гадине, Мирра надела тяжелые клобуковские башмаки и оттопталась в самом буквальном смысле: запрыгала так, что у Шапировой ее люстра поганая должна была вся иззвенеться. Ну-ка, кто кого?

Сука постучала-постучала и капитулировала. Балансировать на стуле со шваброй, когда с потолка на рожу сыплется штукатурка, тяжелее, чем скакать.

Внизу стало тихо.

Удовлетворенная победой, Мирра переобулась в тапочки, однако пообещала себе, что потом еще обязательно скажет соседке пару ласковых. В порядке воспитательной работы.

Злости немного поубавилось, но оставалось еще изрядно.

Нет, каков гусь! Встал над дверным люком с чемоданчиком и важно так: «Обязанность мужчины – обеспечивать достаточный заработок для достойной жизни. А право мужчины – самому решать, чем именно он зарабатывает». И нырнул вниз, смылся. Не дал ответить как следует.

Ничего, не захотел услышать ответ – так увидит его.

Права у него, значит? А у нее? Хватит ей жить тут на положении приживалки! Что она ему, собачонка с подстилкой и миской?

Нынче не старый режим. У советских женщин и мужчин, граждан Клобуков, права равные. А равные – это значит всё поровну. Пополам.

Реализуя свою замечательную идею, Мирра стала делить жилплощадь

на две равные части. Взяла кусок мела, которым летом забеляла свои парусиновые туфли, и провела по полу границу – от стены до стены. Левая половина будет наша, правая – ваша. Места общественного пользования останутся в общественном пользовании, это ясно. А вот письменный стол как средство производства разделим по-честному. Хватит ей с книгами и тетрадями на подоконнике уютиться.

Выволокла дубовое чудище точнехонько на середину, провела по зеленому сукну белую черту. Всю клобуковскую талмудистику сдвинула вправо. Туда же свалила начинку из левых выдвижных ящичков. Вернется Клобуков – пускай сам разбирается.

Своё хозяйство – учебники, справочники, конспекты – аккуратно и привольно разложила на освобожденной территории. Красота!

Что теперь?

На Мирриной стене остались клобуковские картинки: гравюра со старинными шприцами, классификация лекарственных растений, литография с видом Цюрихского озера, которая Мирру давно раздражала.

Всё на фиг.

Сняла, повесила своё, а то перевезла из общаги, да некуда было: грамоты за общественную работу, вымпел за первое место по лыжному кроссу, портрет Ильича, отделы носа в разрезе, челюстно-лицевая мускулатура.

Даешь! А ты, анестезия, помощница хирургии, знай свое место.

Подняла листок, упавший со стола. Там смешным почерком гимназиста-отличника были записаны какие-то химические формулы, а на полях всё в мелких рисуночках: кораблики, самолетчики, кинжалчики. У Антона привычка: задумается – начинает калякать всякую чепуху. Тридцать лет скоро, а как мальчишка!

Листок бережно положила на клобуковскую половину стола. Мало ли что там, в формулах. Может, нужное что.

Всё клобуковское барахло со своей половины жилплощади Мирра эвакуировала, свалила в кучу. Вернется из своего Саратова – рассортирует.

Перед дверью их маленькой спальни остановилась в нерешительности. Ладно, это будет нейтральная зона. Как место водопоя у зверей. Или тоже провести демаркационную линию посреди кровати?

Хихикнула. Вся злоба куда-то подевалась. Наверно, истратилась на физическую работу.

Нет, какая он все-таки сволочь, уже без ярости, а с тоской подумала Мирра. На целых три дня уехал! Ладно бы еще жизнь кому-то спасти. Или из-за науки. А то просто для заработка. Это всё Логинов, паук. Вертит

Антоном как хочет.

Снизу снова донесся визгливый голос стервы Шапировой, которая, кажется, все-таки не поняла, как надо разговаривать с Миррой Носик:

– Я тебе постучу! По башке себе стучи!

Ах ты так?

Мирра откинула люк и высунулась, готовая, если понадобится, к высадке десанта.

Оказалось, Шапирова кричала не ей. Соседка стояла на пороге своей комнаты в халате, с папильотками на рыжей башке, а перед дверью топтался какой-то гражданин. Сверху было видно, как через пушистые серо-седые волосы светится проплешина – мятую шляпу человек держал в руке.

– ...Извините, – пробормотал он, шепелявя. – Мне сказали, Антон Маркович живет наверху, а где именно, не... Вот я и постучал... Ради Бога, извините.

Голос был знакомый, не спутаешь.

– Иннокентий... (как его?)...Иванович! Вам сюда! – крикнула Мирра.

Бах испуганно задрал голову, соседка молча ретировалась за дверь, но щелку, конечно, оставила.

– Здравствуйте! – Иннокентий Иванович сделал попытку поклониться, что с запрокинутой головой было не просто. – А я вот в город приехал... Подумал, не навестить ли, не посмотреть...

– Заходите. Хорошо, что пришли.

– А... А как же к вам?

Она уже спускала лестницу. Бах карабкался по ней так долго, так неуклюже, что под конец, не выдержав, Мирра бесцеремонно взяла его под мышки и подтянула.

– Антон только-только, час назад, уехал на несколько дней. В Саратов, со своим профессором. На операцию.

– Наверное, что-нибудь очень сложное? – почтительно спросил Бах, тяжело дыша после подъема.

– Денежное. Нэпач какой-то оперируется. Хорошо платит, – покривилась Мирра. – Вы куда подевались-то? Антон был на кладбище, заходил к вам. Церковь закрыта, в будке живет другой сторож. Сказал, съехали вы, а куда, не знает.

– Отца Александра взяли вторым священником в Вешняковскую церковь. Это по Казанской дороге, недалеко от Москвы. Он меня дворником пристроил. Ужасно повезло. Там, правда жилищные условия... Ах, неважно... – Иннокентий Иванович дернул плечом. Видно было,

что ему действительно это неважно. – С каким же профессором поехал Антоша? Не с тем ли, который...

Мирра насупилась.

– С тем. Только ваш конверт брать за границу Логинов отказался. Потому что он сволочь и шкурник. Говорит, инструкция для выезжающих в загранкомандировки воспрещает, а у вас на снимке еще и служитель культа. Мне, говорит, неприятности не нужны... Вы заберите свою карточку. И извините, что так вышло.

– Нет-нет, оставьте у себя, пожалуйста. – Бах умоляюще приложил руку к груди. – Профессор, конечно, прав. Зачем ему рисковать? Но у вас, наверное, есть и другие знакомые, кто бывает за границей. У меня-то совсем таких нет...

Мирра отобрала у него шляпу, заставила снять длинный линиялый пыльник.

– Я без галош... Но я сниму башмаки.

Он хотел согнуться, но Мирра удержала.

– Не надо. На улице чисто.

В этом году весна была стремительная, как атака красной конницы. Снег стаял в четыре дня, грязь подсохла за неделю. Конец апреля, а тротуары уже сухие. Небо синее, в нем с утра до вечера солнце. Красота! Но эта весна вообще была особенная. Она никак не могла оказаться плаксивой и грязной.

– Наводите порядок? – Бах глядел на сваленное кучей клобуковское шмотье. – Большая весенняя уборка, да? – Заметил жирную меловую черту, замигал. – ...Как у вас необычно... – На тощем лице появилось тревожное выражение. – Что у вас? Всё ли хорошо?

– Нормально, – коротко ответила Мирра. – Живем. Вы чего приехали? – Спыхватилась, что прозвучало невежливо. – В смысле, по делам? Здорово, что зашли, а то Антон волновался. И я тоже.

Это, между прочим, было правдой. Всего один раз Баха этого видела, а как-то беспокойно стало, когда он пропал. Не раз думала: где он, птаха божья? Есть ли у него крошки – поклевать? Не зацапала ли кошка?

– Я на суд приехал.

Бах осторожно пристроился на край стула – Мирра уже несколько раз жестом показала: садитесь, садитесь, чего вы?

– На суд?! А что вы такого натворили?

– Нет-нет, суд не надо мной. – Засмеялся. – Кому я сдался? Я на «Процесс палачей». Посмотреть.

– А-а...

Мирра успокоилась. Последний год по всему СССР шли судебные процессы над слугами старого режима и активными деятелями контрреволюции. Дошли наконец руки у советской власти, давно пора. Про московский «Процесс палачей» все газеты пишут.

– Зачем вам жандармы эти? – удивилась Мирра. – Ладно попы какие-нибудь, а палачи-то вам что?

– Это я им нужен. Нужнее, чем когда судят духовных особ за верность священническому сану. Потому что таким многие сочувствуют, хоть и втайне. Молятся за них. И Бог таких не оставит. А эти совсем скверные, никому не нужные. Все только проклинают и плюют. Потому и хожу. Молиться нужно за всякую душу. Особенно за такие...

– Осуждаете, поди, советскую власть за мстительность, за расправу с врагами? – спросила Мирра, не очень поняв, о чем это он.

– Нисколько. Это суды нужные и правильные, – неожиданно сказал Иннокентий Иванович. – В старой России творилось много зла, в том числе и теми, кто был обязан охранять справедливость. Я против смертной казни, узаконенного убийства. Но я не против возмездия. Злодеев обязательно нужно судить. Потому что зло должно быть выставлено напоказ и осуждено.

– Ишь ты, – поразилась Мирра. – Не думала, что вы сторонник пролетарской справедливости.

– Справедливость – слово, которое не терпит прилагательных. Как только прицепляешь к ней какое-нибудь уточнение – «пролетарская», «классовая», да хоть бы даже и «высшая», – от справедливости ничего не остается. Вот какая, скажите мне, справедливость в том, что у нас целые категории граждан подвергнуты тотальной люстрации?

Такого слова Мирра не знала.

– Чему подвергнуты?

– Люстрации. Ограничению гражданских прав. Я про «лишенцев» говорю. Разве это справедливо? – Иннокентий Иванович покачал головой. – Когда миллионы людей не могут голосовать, работать в государственных учреждениях, учиться в ВУЗах, хотя не совершили никакого преступления, а просто родились в «неправильной» семье, или когда-то, в совсем иной стране, выбрали себе не ту профессию, или ведут дело, для которого необходим наемный труд.

– Это мера пролетарской защиты! – горячо сказала Мирра. – Не так уж их и много, лишенцев, всего два или три миллиона на всю страну, но член эксплуататорского класса хитрее, образованнее, пронырливей простого человека, у которого не было возможности учиться уму-разуму. Если

не поставить преграды на пути бывших дворян, купцов, попов, они, с их демагогией, с их подвешенными языками, очень скоро опять пролезут наверх, займут все ключевые места во власти, в индустрии и не дадут народу построить коммунистическое общество! Какая же это справедливость, если равный доступ к должности или к депутатскому мандату получит вчерашний батрак, едва научившийся грамоте, и какой-нибудь жучила с гимназическим аттестатом, прочитавший в своем галантерейном детстве тысячу книг и знающий три иностранных языка? Когда-то его предки хитростью и силой уселись на шею трудового люда, помыкали им, сосали из него кровь, и теперь снова-здорово?

– Когда два или три миллиона человек (а, сколько я слышал, намного больше, чуть ли не десять процентов населения) делаются людьми второго сорта, это отвратительно и нечестно, – тихо, но твердо ответил Бах. – Девяносто девять процентов из них ничего плохого не совершили и наказывать их не за что. Человек, всякий человек, должен отвечать за то, что он сделал – или за то, чего не сделал, хотя был должен. Коллективная ответственность – это по-ветхозаветному, когда за общую вину следовало уничтожать весь город или весь народ. А Христов Завет учит иначе. На Божьем Суде спросят не с классов и не с сословий, а персонально с каждого. Судить человека за содеянное им справедливо и правильно. А карать целые профессии и сословия – скверно, ничего хорошего из этого не выйдет.

– Ну, это мера временная, – пожала плечами Мирра, которой про ветхие и неветхие заветы слушать было скучно. – Пока социализм не достроим. Пускай те, кому от пролетариата нет доверия, постоят в сторонке и не путаются под ногами, не мешают. Вам обидно, я понимаю. А нам было не обидно жить в грязи, в унижении, по подвалам да по чертам оседлости, когда вы в гимназиях учились и в чистеньком ходили? Девяносто девять процентов, говорите, не виноваты? Так мы их и не трогаем. Но с одного процента, кто особенно подличал и зверствовал, спросим строго. Уж будьте уверены.

Иннокентий Иванович вздохнул:

– Спрашивайте. Но и жалеть судимых не мешайте. Кого и жалеть, если не самых жалких? Например, таких, как убийцы доктора Караваева.

– Кого?

– Александра Львовича Караваева. Вы не помните, вы были ребенком, а в свое время, в 1908 году, это злодеяние всколыхнуло всю мыслящую Россию. Марк Константинович, Антошин отец, лично знал доктора Караваева. Достоинейший был человек. Земец, просветитель. Бесплатно

лечил бедных, заступался за бесправных. Его выбрали депутатом Государственной Думы от Екатеринослава. И пришли к нему домой двое, под видом больных. Застрелили в упор. Убежали. Было расследование. По тем временам, конечно, схватили какого-то еврея, попытались свалить на него. Но потом один агент Охранки, в котором Бог пробудил совесть (бывают такие чудеса), – Бах перекрестился, – некто Казаков, признался, что Караваева убили черносотенцы, члены Союза русского народа. Ничего им за это не было. Замяли дело, полиция постаралась. Гнуснейшее из злодейств!

– А-а, знаю. В газетах писали. Две или три недели назад, – вспомнила Мирра. – На Украине суд был. Точно – в Екатеринославе. Какие-то трое на «Ш».

– Шальдо и Щеконенко – убийцы и Шелестов, организатор. Еще протоиерей Балабанов, бывший секретарь черносотенного Союза. Я очень хотел поехать, особенно из-за священника, да негде было денег на билет взять. – Бах повздыхал, перекрестился дважды. – Убийц расстреляли. Шелестову дали десять лет. А Балабанова, дряхлого старика, слава Богу, отпустили. Сжалились.

– Ну вот, видите! – обрадовалась Мирра за екатеринославский суд. – Пролетариат кого надо карает, а кого можно – жалеет.

– Это хорошо, когда жалеет. Это очень важно. Я прошлым летом был на суде провокаторши Серебряковой, знаменитой «Дамы Туз», которая в свое время отравила в тюрьму и на каторгу множество революционеров. Ах, какой это был хороший суд! Истинно промысел Божий! Скверную эту женщину Господь покарал, по справедливости.

– А что было на суде?

Летом Мирра работала в детской коммуне, с беспризорниками. Там было не до газет.

– Она ведь вела двойную жизнь, Серебрякова эта, – увлеченно стал рассказывать Бах. – У нее дома собирались социалисты, вели всякие прекрасные разговоры – про социальную справедливость, про народ, про светлое будущее. Я помню, я и сам в свое время... А у Серебряковой семья, которая ни о чем не подозревала. Муж, дети. Муж дружит с подпольщиками, сочувствует им, помогает. Дети сызмальства впитывают революционные идеи, любят яркие, свободными людьми. И через какое-то время оказалось, что «Дама Туз» в собственной семье чужая, таится от своих, страшится разоблачения... Кончилось тем, что муж, узнав правду, в ужасе от нее ушел. Дети выросли врагами царизма, которому Серебрякова так истово служила... На нервной почве она ослепла.

И на скамье подсудимых сидела сторбленная, слепая, всеми брошенная старуха. Семь лет ей дали, всего лишь. Какая кара горше, чем проклятье собственных детей? То же самое ведь сейчас и с Фунтиковым произошло! Вы следите за Бакинским процессом?

Кажется, Иннокентий Иванович сел на любимого конька. С загоревшимися глазами он вытащил из кармана аккуратно сложенную газету.

– Это гад, который отдал на расстрел двадцать шесть бакинских комиссаров? – кивнула Мирра. – Читала. К стенке его приговорили. Но вам это вроде не должно нравится?

– Что приговорили к казни и отвергли просьбу о помиловании, это, конечно, плохо. Но меня поразило другое. Он ведь скрылся тогда, в Гражданскую, Фунтиков этот. Жил себе на хуторе, крестьянствовал. Собственная дочь его выдала. Дочь! Вот где тайна, которую я очень хотел бы знать! – Бах поправил сползшие с носа очки. – Почему она это сделала? От каких-то бытовых причин? Или желала, чтобы отец принял страдание за свое страшное преступление? И что происходит в ее душе? Я думаю об этой девушке, я молюсь за нее!

Вдруг он встрепенулся, прижал к носу очки, глядя на настенные часы.

– Половина десятого! Скоро начнется. Поедемте со мной. Процесс, конечно, не громкий – не «Дама Туз» и не дело Фунтикова. Там совсем пешки, мелкие исполнители. Но у Бога пешек не бывает. Право, едемте. Вам это нужно видеть.

– Мне? Зачем?

– Нужно, – убежденно повторил Бах. – Очень жаль, что Антоши нет. Ему это тоже было бы важно.

Мирра посмотрела на перевернутую вверх дном комнату.

Занятий сегодня нет, только вечером практикум. Не сидеть же в этом бардаке, на Клобукова беситься.

– Ладно. Поехали.

* * *

Процесс над палачами, вешавшими осужденных во дворе Хамовнической полицейской части после первой революции, происходил по месту преступной деятельности – в районном Хамовническом суде, в бывшем Штатном, ныне Кропоткинском переулке, в каких-нибудь десяти

минутах ходьбы от сарая-«давилки», где совершались казни. Всего в 1907–1910 годах там умертвили тридцать восемь приговоренных. Всех – по ускоренной процедуре военно-полевого суда, при закрытых дверях и без адвокатов.

Народу в зале было немного – дело давнее, с тех пор чего только не произошло: большие войны, красный террор, белый террор, миллионы убитых, казненных, умерших от голода и эпидемий. Показательные процессы над слугами царского режима уже приелись и любопытства не вызывали. Добро бы среди повешенных или полицейских оказался кто-нибудь знаменитый, а тут одни неизвестные вешали других неизвестных. Первые два ряда, зарезервированные для членов Общества политкаторжан, были наполовину пусты; двое или трое журналистов, явно скучая, лениво что-то записывали в блокноты; еще человек двадцать всякой пестрой публики наблюдали внимательно, даже жадно, но опытный Иннокентий Иванович шепнул, что это судебные завсегдатаи. Есть такая малоприятная категория зевак, которая не пропускает ни одного процесса, особенно если дело может закончиться высшей мерой.

– Вот вши тифозные, – громко сказала Мирра, брезгливо оглядывая соседей.

– Зря вы, – укорил ее Бах. – Таких людей нужно не осуждать, а жалеть. Они, должно быть, чувствуют себя несчастными, и вид тех, кто еще несчастней, помогает им выносить тяготы жизни.

– Ладно, не вши. Трупоеды.

– Не следует из всех возможных объяснений человеческих поступков сразу выбирать самое некрасивое. Лучше ошибиться в противоположную сторону. Посмотрите, например, вон на ту женщину. – Иннокентий Иванович интеллигентно, не рукой, а чуть качнув бороденкой, показал на худющую гражданку в черном платке и черном жакете, которая сидела прямо напротив загона для подсудимых. – Она не похожа на зеваку. И потом, разве мы с вами здесь для того, чтобы упиться чужим несчастьем?

– Не знаю, зачем я здесь. – Мирра недовольно ерзала, жалея, что притащилась в это тухлое место. – Вас надо спросить.

– Тсс! Начинается, – шепнул Бах.

Он и дальше все время шептал ей на ухо, то объясняя что-нибудь, то просто комментируя происходящее. У Мирры закралось подозрение: не за тем ли он ее с собой и приволок, чтоб было с кем делиться переживаниями. Иннокентий Иванович волновался так сильно, будто судили его близких родственников. При виде судей он радостно прошелестел:

– Как хорошо! Председателем Кандыбин, рабочий с Михельсоновского завода. Вдумчивый такой, с природным чувством справедливости. Двое остальных не имеют значения, это юристы, которые следят, чтобы приговор не противоречил закону. Но решать будет Кандыбин, у него и полномочия, и авторитет.

Мирра уважительно посмотрела на пожилого мужчину лет сорока пяти или пятидесяти, в стальных очках и серой косоворотке. Судья-рабочий, вот это по-советски!

Об обвинителе – довольно молодом, но болезненно желтолицем и каком-то неестественно деревянном из-за тугого, наглухо застегнутого френча – Бах отозвался кисло:

– А с прокурором не повезло. Это Лацис. Ловкий и совершенно безжалостный. Всегда требует «высшей меры социальной защиты».

Конвойные привели пятерых обвиняемых. Мирра с интересом уставилась на них, но разглядывать было нечего: какие-то жухлые, мятые, старые, ничем не примечательные. Двое совсем пентюхи деревенские; один пучеглазый, усатый, похож; на пожарного; седенький, улыбчивый старикашка и какой-то очкастый, дерганый. На палачей нисколько не похожи. Встретишь на улице – не взглянешь.

Адвокат на всех пятерых был один, по назначению.

Он сразу сделал заявление, что не имел времени подробно ознакомиться с делами, однако же, если не возражает уважаемый суд, желал бы выразить свою позицию.

Суд не возражал: заседатели взглянули на председательствующего, тот кивнул – этим формальности и ограничились.

Защитник, заглядывая в бумажку, сказал, что всех его клиентов, невзирая на разную степень их вины, объединяют два обстоятельства, позволяющие уповать на снисхождение. Во-первых, никто из них никогда не боролся с советской властью, и социальной опасности для государства рабочих и крестьян они не представляют. Это люди тихие, немолодые, честно зарабатывающие свой хлеб. Граждане Жабин и Фролов, оба пролетарского происхождения, после революции крестьянствуют. Гражданин Грудцин работает железнодорожным кондуктором. Гражданин Чугунов служит счетоводом в потребкооперативе, содержит большую семью. Гражданин Веселитский – участковый врач с прекрасными характеристиками по месту работы, отец инвалидки-дочери. А во-вторых, следует учитывать исторические обстоятельства, в которых находились обвиняемые во время совершения инкриминируемых деяний. Здесь адвокат взял и раскрыл книгу с закладкой.

– Вот цитата из речи Столыпина, определившей тогдашний курс государственной политики: «Бывают, господа, роковые моменты в жизни государства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостью теорий и целостью отечества». Конечно, эти слова были произнесены реакционером и врагом революции, однако разве не той же логике следовала и советская власть в «роковые моменты» истории? Правительство ставило государственную необходимость выше прав отдельных граждан, и низовым работникам – таким вот Жабиным, Фроловым, Чугуновым – приходилось выполнять полученные сверху приказы. *Законные*, подчеркну, приказы!

– А вот это смело, – возбужденно шепнул Бах. – Но и опасно! Когда адвокат красуется и дразнит судей, обвиняемым только хуже!

Председатель и вправду рассердился. Сдвинув кустистые брови, он стукнул ладонью по столу.

– Это вы, гражданин, бросьте! Нечего тут протаскивать! Сатрап Столыпин действовал в интересах кучки эксплуататоров, а советская власть во время военной диктатуры проявляла суровость ради счастья трудового народа! Нашел что сравнивать!

Защитник и сам, кажется, понял, что его занесло.

– Да-да, конечно. Я лишь хотел обратить внимание уважаемого суда на то, что обвиняемые – мелкие винтики машины, которой управляли совсем другие силы. Только и всего...

И свернул свое выступление.

Приступили к допросу подсудимых.

Вопросы задавал только судья. Двое остальных не раскрывали рта – тот, что справа, в пенсне, пару раз тихо сказал что-то Кандыбину на ухо. Левый откровенно скучал. Обвинитель сидел с непроницаемым лицом, сложив руки на груди. Защитник все время гримасничал – будто хотел вмешаться, но не решался.

– Странно, конечно, устроено, – шепнул Бах. – Раньше в судах в основном говорили прокурор и адвокаты, судья больше слушал. Но я уже привык. Кандыбин любит сам во всем разобраться.

– И правильно. Что ж тут странного? – удивилась Мирра, никогда прежде в суде не бывавшая.

Начали со зрителя арестного дома Чугунова, который по должности руководил проведением казней. Это был сухонький, сутулый старичок, угодливо кланявшийся перед каждым ответом и беспрестанно разводивший руками.

Да, он имел несчастье получить место зрителя в то тревожное время, но куда же ему было деваться? Он поначалу и понятия не имел, что в его обязанности входит наблюдение за «специальными процедурами» (так на их полицейском языке назывались казни).

Отказаться? Нет, это было совершенно невозможно! Шестеро детей, в ту пору еще маленьких, а служба была единственным источником существования семьи, ведь он не из помещиков, не из капиталистов, привык жить своим трудом. Опять же виды на пенсию. И куда уйдешь? Кому потребен бывший полицейский с его весьма специфическим профессиональным опытом?

– И как вам спалось по ночам? После повешений? – спросил судья, глядя на обвиняемого с брезгливым любопытством.

Очень плохо, с готовностью ответил Чугунов, будто ждавший этого вопроса. Он ужасно страдал и мучился после каждой из семи казней, которые произошли в период его зрительства. Как, разве уважаемый гражданин судья не знает? Да-да, Чугунов устроил только семь «специальных процедур», а потом упрощенный порядок судопроизводства был отменен, и ужасные времена, слава богу, закончились. От облегчения он даже заказал поминание казненным и поставил в церкви семь больших рублевых свечей. Можно разыскать отца Лаврентия, бывшего настоятеля храма Николы в Хамовниках, – он подтвердит.

Тут же встал защитник, объявил, что гражданин Чугунов попал на должность зрителя только в 1909 году, когда волна репрессий уже шла на спад. Никаких новшеств в отработанный его предшественником порядок не вносил, излишней суровости не проявлял и даже распорядился сделать послабление – при нем осужденным позволили перед казнью говорить последнее слово, которое записывалось протоколистом и потом передавалось в архив.

– Последнее слово – это важно, – задумчиво сказал Кандыбин, кажется, вспоминая что-то свое. – Человеку перед смертью есть что сказать... Ладно. У обвинителя вопросы есть?

Бах щекотнул Мирре ухо усами:

– Ох, сейчас Лацис в беднягу вгрызется...

Но Иннокентий Иванович ошибся.

– У меня вопросов нет, – пожал плечами прокурор. – Однако, с позволения суда... – Обернулся к залу. – Тут присутствует гражданка Сонцева, вдова казненного в 1909 году социал-демократа. Он при аресте толкнул полицейского, тот упал и получил сотрясение мозга. По закону о военно-полевых судах сопротивление властям, отягощенное причинением

телесного вреда, каралось смертью. Гражданка Сонцева просила предоставить ей возможность задать обвиняемым вопрос... Надеюсь, суд не откажет.

– Спрашивайте, гражданка, спрашивайте. – Кандыбин сочувственно смотрел на поднявшуюся с места женщину – ту самую, в черном платке. – Подите ближе.

– Благодарю, ничего... Я отсюда.

Все смотрели на вдову, она же – только на Чугунова. Безо всякой злобы, без враждебности, а, наоборот, будто бы с нетерпеливым ожиданием или даже надеждой.

– Вы такого Сонцева Николая Дмитриевича помните? – спросила она дрожащим от волнения голосом. – Его при вас...? – Не договорила.

Смотритель глядел на ее бледное, еще не старое, но странно высохшее лицо с испугом.

– Виноват... Не припомню... Давно было.

– Я не из мести. Не чтобы отяготить вашу участь или что-то такое, – быстро сказала вдова. – Просто, может быть, он что-то произнес или передал... Вот вы говорили: последнее слово. Но полицейский архив сгорел в революцию... Вспомните, пожалуйста. Мне это очень, очень важно... Ведь увели, даже попрощаться не дали. И всё. Никогда больше... – Она растерянно поглядела на хмурящегося судью и криво улыбающегося прокурора. – Если не по фамилии, то хоть по внешности. У Коли вот здесь, – она коснулась острой скулы, – приметная такая родинка была. Будто сердечко.

– Нет, такого при мне не было, – с облегчением сказал Чугунов. – Я бы запомнил. До меня, значит.

– Вас ведь в феврале назначили? – подал голос обвинитель. – А Николая Сонцева повесили 24 апреля. Как же так?

Чугунов пробормотал:

– Я не очень в лица вглядывался... Знаете, как-то неловко было...

По залу прошел гул.

– Ох, неудачно сказал, – скривился Бах, но сочувствия у Мирры не нашел. Она смотрела на черную женщину, представляла себя на ее месте. Думала, что она с этим гадом разговаривала бы по-другому.

Потом, по одному, вызвали «специальных лиц», то есть исполнителей.

Главным был Жабин, из рязанских крестьян. Отвечая судье, он косноязычно, но очень подробно рассказал, как угодил в палачи.

Работал санитаром в медицинском пункте при полицейской части.

Сначала за дополнительную плату укладывал трупы в гробы. В ту пору вешал какой-то присылаемый из градоначальства человек – в синих очках, «намалеванный» (должно быть, загримированный). Но в одиночку «намалеванному» было управляться трудно, и он позвал Жабина в помощники. Платили по три с полтиной. Однажды штатный палач почему-то не приехал, и господин смотритель предложил Жабину провести «прасадуру» самому.

– Сколько денег дали? – небрежным тоном вставил вопрос прокурор.

Десять целковых, большие деньги. У санитаря месячное жалованье было двенадцать с полтиной.

– А себя на должность исполнителя вы после этого сами предложили?

– Ага, сам. Потому там уже одного жалованья тридцать пять в месяц выходило, не считая «ночных», – пояснил Жабин. Он, похоже, был совсем дурак.

– А не страшно было? – с болезненным любопытством спросил Кандыбин. Мирра и сама бы про то же спросила.

– Конечно страшно. – Обвиняемый вздохнул. – Жизнь отнимают от человека. Но мне в деревню надо было деньги слать. Чтоб жена с детьми не голодовали. А так они и приоделись, и приобулись. Болеть перестали, потому я крышу худую поменял.

«Так, так», – кивал, будто подсказывая, Иннокентий Иванович.

Но Лацис мягко поинтересовался:

– Когда казнили в других полицейских частях, вы ведь тоже не отказывались помочь, правда?

– Бывало, – кивнул палач, и Бах безнадежно махнул рукой: «Всё, конец Жабину».

И снова вышла черная вдова, и спросила про своего Колю с родинкой в виде сердечка.

– Не помню, – ответил Жабин. – Всех рази упомнишь?

Третий, Фролов, ночной сторож; при полицейской части, только помогал Жабину: отмерял и намыливал веревку, помогал переносить мертвые тела.

– Почему пошел помогать? – переспросил он. – Характер у меня такой. Никому не могу отказать. И начальства боюсь. Я тогда начальство слушал и теперь слушаю. Смотритель мне говорит: «Иди, говорит, Жабину поможешь. Трудно ему. Нужно, брат, помочь». Как откажешь – смотритель же... Сколько раз? А вот сейчас посчитаю. Значит так, девять человек перед Масленой, потом еще шесть. И летом двое... Это сколько ж

всего?

На вопрос судьи, что он может сказать в свое оправдание, Фролов быстро и уверенно ответил – видимо, заранее заготовленное:

– Я не Жабин. Мне по десяти целковиков не платили. Когда рубль поднесут, когда просто водки нальют. Чтоб руки не дрожали. Жена, и то ругала: что ж ты даром горбишься? Я ходил к господину, то есть к гражданину Чугунову – а он говорит: «Нет, говорит, у меня такой статьи расхода. Наградные могу выписать». И дал пятнадцать рублей один раз. Я жене все до копейки отдал. Ничего себе не взял...

Сонцева спросила Фролова про мужа. И тоже впустую.

– Извиняйте, гражданочка. Мое дело снизу стоять было. Чтоб ноги не развязались. А то иной начнет ими дрыгать – нехорошо.

Четвертым шел бывший постовой Грудцин – помоложе остальных, молодцеватый. Тянулся в струнку, руки держал по швам, ел судью глазами, отвечал четко и ясно, по-военному.

Он явно чувствовал себя в привилегированном положении, поскольку «помогал» всего однажды.

– Фролов ушел в отпуск, Жабин говорит: давай, будешь помогать. Я отказывался – профессия неважная, прямо сказать. А Жабин смотрителю пожаловался. Тот мне: я тебя выгоню, мерзавец! Пришлось согласиться. Я тогда женился только, по большому любовному чувству. Как же, думаю, можно жену обмануть? Она выходила за справногo человека на хорошем месте, а я ей свинью подложу? Ну и скрепил сердце. Виноват.

Прокурор Лацис приберег для этого подсудимого, наименее виновного из всех, особый прием.

– Если вы участвовали в экзекуции всего один раз, то должны были запомнить ее во всех подробностях. Расскажите суду, как это происходило.

– Слушаюсь. – Грудцин сделал полуоборот, щелкнул каблуками. – Мне было велено делать, как Жабин скажет. Порядок был такой. Сначала мы всё приготовили. Я только помогал: подай то, сделай сё. Там как было, в специальном сарае? Помост из досок, высокий, в полтора роста. Сбоку лестница, над ней веревка с крюком. Это потому что некоторые отказывались сами идти, или ноги у них не шли, ну тогда цепляли крюком за ворот, сзади, и подтягивали. Быстрее выходило. Но этот, который на мою смену достался, сам шел.

– Опишите его, – приказал прокурор.

– Фамилии не знаю, нам было не положено знать. Худой такой, чернявый. Жабин еще сказал...

– Это Коля! – вскочила женщина. – У него вот здесь была родинка, да?
– Не разглядел, – обернулся на нее обвиняемый. – Темно было. Только по углам керосиновые фонари горели. Ваш, гражданка, чахоточный был?

– Нет. Почему чахоточный?

– Ну, значит, не он. Этот говорит: «Странно. Думал, от чахотки задохнусь. Мне недолго осталось. А задохнусь не от чахотки. Хорошо, говорит. Быстро». И засмеялся. А потом закашлял. А Жабин говорит: «Тощий больно, легкий. Шея может не переломиться. Как он провалится, ты, говорит, Груднин, прыгай к нему, за пояс обхвати и книзу дергай, со всей силы». А этот докашлял и опять смеется. «Да уж, Груднин, обними меня покрепче. Неохота мучиться». Но я отказался. Приснится еще, как с покойником обнимался...

Постовой хотел перекреститься и уже поднял сложенные щепотью пальцы, но спохватился, что советскому суду такое не понравится, и спрятал руку за спину.

– И как? Мучился он? – вкрадчиво спросил Лацис.

– Это надо у Жабина спросить. Он сам на повешенном висел, а я отвернулся.

– Бреешь! – приподнялся с места Жабин. – Никогда я на них не висел, у меня ревматизм в руках! Ты его за ноги тянул!

– Это ты меня на тот свет за собой тянешь! – бешено рявкнул на него Груднин. – Неохота тебе одному к стенке идти! Граждане судьи, не слушайте его!

Судья Кандыбин смотрел на допрашиваемого с отвращением.

– Какая разница – кто тянул, а кто рядом был. Оба вы друг дружки стоите...

Последним был врач Веселитский, констатировавший три десятка смертей.

– Обычно было так, – глухо рассказывал он, ссутулившись и глядя перед собой в пол. – Будили ночью. Городовой с пакетом, «весьма срочным», от военного прокурора. «С получением сего предлагается немедленно явиться в Хамовническую». Трясешься, а тащишься. Будто самого вешать будут... Времена были суровые. Откажешься – «волчий билет» влепят. И не устроишься никуда. Не было у меня морального права принципиальничать. Жена тяжело болела. Рак желудка. Расходы огромные. На морфий один... Я от горя с ума сходил. То ей чуть лучше – и надежда. Потом опять хуже – отчаяние. Любил я ее, безумно. Когда умерла, руки бы на себя наложил. Только дочка от греха уберегла, она с детства не ходит. Как ее одну бросишь?

Судья слушал сочувственно, даже кивал.

«Пожалеет», – шепнул Бах.

Когда пришел черед обвинителя, тот сказал:

– Опишите, пожалуйста, как происходит смерть при повешении. С медицинской точки зрения.

– По-разному. Либо это перелом позвоночника у основания черепа с разрывом спинномозгового столба, либо разрыв яремной вены и нарушение мозгового кровоснабжения, либо, если не повезет, асфиксия.

– Понятно. И часто приговоренные умирали от асфиксии? Это ведь долгая смерть, мучительная?

– Примерно в трети случаев, – угрюмо ответил врач.

– Как вы это понимали? Слышали вы такое принятое у палачей выражение: «плясать на веревке»?

– Нет. – Веселитский дрожащей рукой тянул из кармана платок. – Я ни с кем в сарае не разговаривал. Стоял в стороне, отвернувшись. Смотрел на часы. По инструкции я должен был констатировать смерть через сорок минут пребывания тела в петле...

– Откуда же вы знаете, что треть умерла от удушья?

– По симптомам.

– Опишите их, – потребовал обвинитель. – В деталях.

Бах тихонько простонал: «Что он делает?»

Веселитский обреченно загибал пальцы:

– Рефлекторное опорожнении кишечника, темно-бурый цвет лица, выкаченные глаза, вывалившийся язык... – И вдруг взорвался, закричал судьям тонким голосом: – Послушайте, граждане, ну в чем я-то виноват? Я никого не вешал! Вы еще могильщиков судите, которые повешенных в землю закапывали!

– Дочке вашей сейчас сколько лет? – сурово спросил Кандыбин.

– ...Двадцать четыре, а что? – растерянно пролепетал врач.

– Судить вас, правда, не за что. Но пускай дочка знает, какой ценой папаша ее от нужды спасал. Знакомые, коллеги ваши тоже пускай знают. Так оно выйдет по справедливости.

– Куда уж меня еще наказывать? – По морщинистому лицу подсудимого текли слезы. – Я всех их помню. Каждого. Тридцать одного человека. Которых сначала видел живыми, а через сорок минут мертвыми... До гроба помнить буду...

– А Колю моего помните? – снова поднялась женщина. – Такой черноволосый, на щеке родинка...

– В виде сердечка, вы говорили. – Веселитский развернулся к залу.

Посмотрел на вдову и зажмурился. – Помню... Я ведь перед казнью должен был каждого коротко осмотреть. По закону нельзя казнить, если человек сильно болен или в помраченном сознании. Но это была формальность, потому что рядом прокурор и смотритель, и они всегда опротестуют, только отношения испортишь. И, главное, все равно ведь потом повесят...

– Коля что-нибудь говорил? – Женщина напряженно смотрела на врача, но тот всё не открывал глаз.

– Да. Он сказал: «Доктор, вы на человека похожи. Очень прошу вас, сходите на Остоженку, дом Армфельдта, и найдите там мою жену, Варвару Ивановну Сонцеву...»

– Это я, я! – закричала женщина Подсудимый вздрогнул, открыл глаза, но смотрел в пол.

– «Скажите ей...» Я помню слово в слово, такое не забудешь. «Скажите ей... Если на том свете что-то есть, я дам ей знать. Я найду способ. Пускай не пугается. Пусть ждет». Я пообещал, но не сделал. Простите меня...

Вдова молча села. Мирра пожалела, что не видит ее лица.

– Почему не передали? – спросил судья. – Испугались?

– Да. Представил, что кто-то вот так же приходит к моей жене... Не хватило духа. Я слабый человек...

И опять заплакал.

На том заседании и закончилось. Было уже пять часов пополудни.

– Ну, и зачем вы меня сюда привели? – мрачно спросила Мирра.

Иннокентий Иванович грустно ответил:

– Чтобы вы видели, каково это – любить в страшные времена. Вы обратили внимание? Все обвиняемые, даже душегуб Жабин, говорили про жен, про семью. Веселитский – человек образованный, поэтому у него получилось трогательнее, но в сущности причина, по которой эти люди делали чудовищные вещи, одна и та же. Мужская ответственность за семью. А можно сказать и так: любовь. И если тогда, после первой революции, времена были страшные, то впереди нас ждут времена ужасные. Никакая любовь их не выдержит.

– Что вы всё каркаете? – разозлилась она. – Времена будут прекрасные! Самые лучшие для любви! Да если даже и ужасные? Что ж теперь – не любить? Вот вернется Антон из Саратова, а я ему скажу: «Знаешь, милый, не буду-ка я тебя, пожалуй, любить, а то нас ждут ужасные времена и зачем мы будем подвергать нашу любовь таким испытаниям?»

Бах моргал своими овечьими ресницами через толстые стекла.

– Нет, не любить вы, конечно, не можете. И я, наверное, зря всё это... Но мне показалось важным... Понимаете, нужно быть готовым. Нужно знать, что счастье любви имеет цену. И чем сильнее любовь, тем цена выше. Это страшно, но это так.

Физическая составляющая

Я все время пишу о духовной эволюции, которую стимулирует ИИ, и конечно, границы сознания разворачиваются именно в этой сфере жизни; однако подобно тому, как безфаз душа не может существовать без тела, духовная любовь не существует без физической составляющей. Это закон.

С самого начала мне было понятно, что я не имею права обойти вопрос о физической составляющей любви, но, сколько было возможно, откладывал это. Люблю. Воспитание табуретованости за и прочее не происходит в том, что я сейчас поощряю местные слова, мешая свободному высказыванию. Но все усердываюсь бороться к физической части, и откладывая расхождение, трудно тело. Социальное. Пришло к ней с нежным сердцем, укрепляя храбрость лишь тем, что эту работу. Вряд ли кто-нибудь знает. — во всем случае, при море жизни.

Трудно избавиться от вредных эпох, в которые ты начинаешь

(Из клетчатой тетради)

Физическая составляющая

Я все время пишу о духовной эволюции, которую стимулирует НЛ, и, конечно, главные события разворачиваются именно в этой сфере жизни, однако подобно тому, как живая душа не может существовать без тела, духовная Любовь не существует без физической, действующей совсем по иным законам.

С самого начала мне было понятно, что я не имею права обойти вопрос о физической составляющей Любви, но, сколько было возможно, оттягивал этот момент. Воспитание, табуированность, да и просто неуверенность в том, что я сумею подобрать уместные слова, мешали свободному рассуждению. Но мое исследование близится к финальной части, и откладывать рассмотрение трудной темы больше нельзя. Приступаю к ней с нелегким сердцем, укрепляя храбрость лишь тем, что эту рукопись вряд ли кто-нибудь прочтет – во всяком случае, при моей жизни.

Трудно избавиться от влияния эпохи, в которую ты начинал формироваться как личность. Тогда, в начале столетия, проблематику половой жизни торжественно именовали «проклятым вопросом», над «решением» которого мучились лучшие умы – философы и писатели. Некоторые из них, например Лев Толстой, доходили до совершенного абсурда, предлагая полностью исключить секс из бытования нравственного человека.

Возник даже странный феномен «белого брака», то есть совместного существования без половых сношений, род добровольного скопчества, разве что без членовредительства. Самой знаменитой парой, придерживавшейся этого принципа, являлись британский драматург Бернанд Шоу и его жена. Про Б. Шоу известно, что он лишился так называемой невинности в очень позднем возрасте и что он почитал сексуальность чем-то животным, роняющим человеческое достоинство. В течение всего своего долгого брака он ни разу не вступил с женой в половой контакт. Примечательно здесь то, что до свадьбы они состояли в плотской связи, однако, вознеся свои отношения на более высокий уровень, то есть обвенчавшись, решили любить друг друга исключительно духовным образом. В свое время, тому лет двадцать пять, знакомый английский врач рассказывал мне, что писатель вовсе не был монахом и позволял себе интрижки на стороне, но «белизну» законного брака блюл

свято.

Должен сразу сказать, что я совершенно не верю в такую Любовь и уж во всяком случае не считаю ее *настоящей*. Мне непонятно, как можно всей душой Любить женщину, брезгливо или безразлично сторонясь ее тела. Всякий физический контакт, даже самое простое прикосновение к Любимому существу доставляют не меньше наслаждения, чем доверительный разговор или полное взаимопонимания молчание – иначе это не Любовь, а любовь.

В своих суждениях по данному поводу я не буду опираться на собственные воспоминания и впечатления, потому что мне кажется аморальным бесстрастно анализировать свой интимный опыт, а делать это эмоционально значило бы уйти в совершенно иной жанр. Сексологии как науки в отечественной медицине и психологии практически не существует, а исследования зарубежных авторов мне недоступны, однако у меня есть возможность использовать свой профессиональный, в некотором роде уникальный ресурс.

Отрасль медицины, которой я посвятил свою жизнь, как и мир Любовно-чувственных переживаний, находится на стыке физиологической и психологической сфер. Много лет назад я разработал для сложных случаев (а таковы большинство операций, в которых я участвую) особую методику, которая позволяет узнать психологические параметры больного, чтобы подобрать оптимальную анестезионную стратегию. Для этого я провожу целую серию доверительных бесед с пациентом, задавая самые разные вопросы. Делается это не ради получения информации, подчас мне не нужной, а для выхода на тот высокий уровень доверия между пациентом и врачом, который, согласно моей теории, значительно повышает шансы на успех, поскольку снижает фоновую нервозность оперируемого и помогает установить эффективный психологический контакт. Когда человек «раскрывается» перед тобой, ты лучше можешь ему помочь. Истории и признания, которые мне довелось выслушать за годы работы и которыми я, конечно, никогда не делился с посторонними, чрезвычайно обогатили мои представления о внутреннем мире людей, совсем на меня не похожих, – в том числе об интимной стороне жизни. Внутреннее напряжение, в котором находится человек перед опасной операцией, обычно заставляет его заново оглядываться на самые значительные моменты биографии, и очень большое место в этих воспоминаниях занимают сексуальные переживания. Чем выше уровень доверия, тем откровеннее становятся рассказы. Со временем я даже установил критерий: как только пациент в беседах доходит до уровня интимных

признаний, это значит, что между нами достигнут должный контакт. Меня давно уже перестало удивлять, как охотно люди, прежде всего женщины, раскрываются в этом деликатном вопросе перед внимательным и сочувственным слушателем. Вот каков источник сведений, которые я использую в своих заключениях.

Есть один важный признак, по которому можно отличить половую близость, возникающую в ходе НЛ, от сугубо плотского влечения. Интенсивность физической составляющей не находится в прямо пропорциональной зависимости от силы Любви. Последняя безусловно является мощным афродизиак, в особенности для женщины, которая может не получать полного наслаждения при половом акте даже с чрезвычайно потентным и искусным Любовником, если ее чувства остаются незатронутыми, и в то же время способна испытывать сильнейший оргазм со слабым, но страстно Любимым партнером. Некоторые пациентки признавались мне, что им случалось ощутить судорогу сексуальной разрядки вовсе без пенетрации, от одного лишь поцелуя или иных относительно невинных ласк.

Верно и другое. Не так давно я прочел у Бердяева: «Сильная любовь-влюбленность может даже не увеличить, а ослабить половое влечение. Влюбленный находится в меньшей зависимости от половой потребности, может легче от нее воздержаться, может даже сделаться аскетом». Это действительно так. Некоторые женщины, которые очень Любили своего мужа или любовника, говорили мне, что вообще не испытывают физического удовольствия от половых сношений, но это не уменьшает силы их чувства.

По мере старения значение этого аспекта супружеских отношений естественным образом уменьшается. Верный признак состоявшейся, прочной Любви – освобождение от эротической зависимости: даже абсолютная невозможность продолжать сексуальные контакты вследствие травмы или болезни уже не способна разрушить такой союз. (Я не раз был свидетелем того, как пациенты, лишившиеся возможности осуществлять половую функцию из-за фронтового ранения, тем не менее благополучно сохраняли семью и Любовь.)

Однако нормальной и здоровой, конечно, является ситуация, когда психоэмоциональная и физическая стороны Любви пребывают в органичном балансе. При НЛ именно это чаще всего и происходит. Если так можно выразиться, взаимопонимание душ способствует взаимопониманию тел. Когда сходятся две половины андрогина, впадины

одной идеально совпадают с выпуклостями другой.

Анализируя случаи удачной в сексуальном отношении Любви, я составил нечто вроде свода правил, придерживаясь которых пара имеет больше шансов не только обрести, но и долгое время сохранять эротическую гармонию. Этот список, пожалуй, выглядит чересчур деловитым и несколько напоминает какую-нибудь техническую инструкцию, однако каждый его пункт неслучаен и неоднократно перепроверен в ходе бесед с пациентами. (Мне даже жаль, что я не могу написать книгу или хотя бы брошюру на основании этих многолетних «исповедей». Уверен, такая работа оказалась бы полезной для многих, но при ханжестве советского книгоиздания это совершенно невозможно, и в любом случае я вряд ли позволил бы себе вторгаться в область, которая лишь очень косвенно связана со сферой моих профессиональных занятий.)

Вот несколько условий, соблюдение которых, по моим наблюдениям, приносит пользу эротическим отношениям в Любви – во всяком случае, для пар, находящихся в долгих и прочных отношениях.

Физическая Любовь должна быть **нестыдлива**. Когда оба партнера не стыдятся своего тела и своей телесности во всех ее проявлениях (к чему, увы, приучает нас, в особенности женщин, существующая система воспитания), это делает половую жизнь естественной и легкой, избавляя от вредных комплексов, психологических травм и дисфункций.

При этом Любовь не может быть и бесцеремонной, ей полезна определенная **нарядность** (употребляю это странноватое слово, потому что не могу подобрать более точного). Неприятных, неэротичных проявлений физиологичности стесняться не нужно, но не следует их и выпячивать. Долгая привычка и близость не должны превратиться в неряшливость или цинизм. Лучше, когда Любящие не забывают о некоторой «декоративности», то есть и через много лет после начала отношений всё еще предпринимают усилия, чтобы выглядеть в глазах друг друга физически привлекательными, если угодно – красивыми. Небрежностью в этом смысле обычно грешат мужчины, и совершенно напрасно. Многие женщины с досадой рассказывали мне, как их расстраивает и эротически дестимулирует затрапезность «домашнего» вида мужей и неромантичность их бытового поведения.

Очень важным условием является отношение к сексу не как к привычному ритуалу, а как к **празднику**. Эту мысль я почерпнул из беседы с одной чрезвычайно умной и очень счастливой в браке пациенткой, дамой далеко не первой молодости. Они с мужем еще

со времен медового месяца установили железное правило, согласно которому сексуальный контакт допускался только два раза в неделю, так что оба постоянно находились в ощущении некоторого физиологического голода и ждали, допустим, субботы, а потом среды с нетерпением. Случались и нарушения «режима», но редко, и каждое воспринималось как «запретный плод», что еще больше обостряло ощущение праздника. Моя собеседница заранее думала о том, чтобы каждое соединение было как-то по-новому обставлено, проявляя незаурядную изобретательность, но такая креативность, конечно, доступна немногим.

Сексуальность – феномен очень сложный, формируемый множеством факторов, над которыми человек невластен. Иногда бывает, что кто-то из Любовников имеет непреодолимую склонность к причудам или привычкам, которые считаются девиантными или «непристойными». Нужно принимать партнера таким, какой он есть, и стараться любить даже его сексуальные странности, рассматривать их как безобидную и увлекательную игру, в которой нет ничего стыдного или греховного. Гармоничность половых отношений невозможна без добровольной **вовлеченности**.

Конечно, очень часто бывает, что Любящие не совпадают в своих сексуальных запросах. Я имею в виду не только вовлеченность в «причуды», когда один подыгрывает другому, но и явление почти повсеместное: разную интенсивность полового чувства, определяемую индивидуальным гормональным фоном. К тому же с возрастом этот механизм эволюционирует. Если в молодые годы мужчины обычно нуждаются в сексуальном удовлетворении чаще, чем женщины, то в зрелом и пожилом возрасте нарастает обратная тенденция.

Физиологии двух людей почти никогда не сосуществуют абсолютно в унисон, это скорее счастливое исключение. Для того чтобы сексуальное партнерство на всех этапах приносило обоюдную радость, при неполном совпадении сексуальностей полезно соблюдать принцип **чередования**, когда каждый из половых актов «посвящается» кому-то одному; второй Любящий сознательно и добровольно «обслуживает» бенефициара, зная, что в следующий раз наступит и его (или ее) очередь.

Совершенно очевидно, что НЛ предполагает абсолютную физическую **верность**, которая сама по себе является усилителем и фиксатором полового влечения, однако это требование создает серьезные проблемы во время продолжительной разлуки Любящих. Сексуальный голод, особенно для людей с активной гормональной деятельностью, бывает

мучителен, даже вреден для общего физического состояния и психического здоровья. Вопреки утверждениям современной отечественной медицины и общественному осуждению, могу со всей уверенностью сказать, что в подобных ситуациях совершенно нормальный выход – самоудовлетворение, которое не должно сопровождаться ни чувством вины, ни чувством стыда. Уж во всяком случае, онанизм предпочтительнее, чем измена. Здесь можно вспомнить известную притчу о кинике Диогене, который, когда его корили за привычку к мастурбации, отвечал: «Ах, если бы так же легко было удовлетворить голод, просто потерев рукой по животу!»

Последнее неперемное условие физиологического благополучия не связано собственно с сексом. Я установил, что очень важную функцию исполняет такой вроде бы совершенно неэротический ритуал как **совместный сон**. Любящие должны спать друг с другом не только в сексуальном, но и в самом буквальном смысле, причем желательно каждую ночь. Физическая близость двух тел в момент отключения сознания представляет собой наиболее точную модель соединения половинок андрогина. Каким-то не вполне понятным, но несомненным образом прикосновения и объятия, случающиеся, когда оба партнера находятся во власти сна, устанавливают особенно доверительную плотскую связь. Вместе засыпать и просыпаться, слышать сквозь сон дыхание, бормотание, даже всхрапывание партнера – всё это соединяет и сближает два отдельно существующих мира не меньше, чем собственно половое сношение. Супруги дореволюционной эпохи, принадлежавшие к привилегированному классу, делали большую ошибку, когда после сексуального контакта расходились по разным спальням.

Должен сказать, что эта маленькая глава, в особенности самая концовка, меня взволновала и разбередила. Полагаю, что прежде чем перейти к завершающей и суммирующей части своего исследования, где мне потребуется абсолютная ясность мысли, придется сделать некоторый перерыв.



Ка! Наши ног облощевей.

(Фотоальбом)

* * *

Праздники чем хороши? Не надо по будильнику вскакивать. Под утро сон всегда густой и сладкий, как повидло. И вдруг прямо в мозг, бормашиной: дззззззз! Вставай, вузовка Носик! Подъем!

А нынче Мирра проснулась от поцелуев в затылок и в шею. Приоткрыла глаз, увидела желтую от солнца подушку и вспомнила: сегодня 1 мая, День Интернационала, в семь пятнадцать вскакивать незачем.

Муж; почувствовал, что она уже не спит, и зашарил по разным приятным местам. Мирра немного понежилась, слегка поворачиваясь, чтобы его рукам было удобнее. Потом развернулась к нему уже всерьез, и они очень качественно полюбили друг друга – не тыр-пыр, давай-давай, времени мало, а вдумчиво, врасстяжку. Ну то есть вначале вдумчиво и врасстяжку, полусонно, а потом, конечно, все быстрее и быстрее, с кувырканием, визгом кроватных пружин, рычанием и вгрызанием. Кажется, получилось шумно, но нижняя соседка в потолок не стучала, как случалось раньше. При умелом подходе даже жабы поддаются

дрессировке.

Встать Мирра не торопилась. Антон уже сидел за столом в майке и трусах, брился, а она лежала, подперев рукой щеку, лицом к стене и бездумно смотрела, как на обоях покачивается тень вяза – он помахивал своими ветвями за окном, здоровался.

Мирра думала, что день впереди длинный. Они сходят с факультетской колонной на демонстрацию. К институту уже не успеть, но можно пристроиться на Моховой. Потом почему бы не посидеть в кино. Или в парк, на лодке покататься. А вечером... ну вечером в Первомай найдется куда пойти. И до вечера еще далеко.

Хорошо!

Замурлыкала «Конную Буденного», которую договорились спеть с ребятами, проходя по Красной площади:

Не начинаем боя мы,
Но, помня Перекоп,
Всегда храним обоймы
Для белых черепов.

Вдруг сзади: щелк!

Повернулась – Антон с фотокамерой.

– Порнографию снимаешь, Клобуков? Будешь потом по полтиннику продавать?

– Очень уж красиво лежала. – Он продолжал целиться объективом. – Не бойся, я потом голову отрежу.

Мирра засмеялась:

– Знаем-знаем. Вы, мужики, нам бы всем головы поотрезали. Оставили бы только то, что ниже. Э, э! Убери свою бандуру! – погрозила ему кулаком. – Я спереди некрасивая. Сиськи как груши, ноги бутылками. Вот научусь делать женщин красивыми, и себя тоже превращу в Медицейскую Венеру. Тогда щелкай со всех сторон.

– Шутишь? – Антон удивился, что было лестно. – Ты очень красивая. У тебя удивительное сложение. Я бы сказал, загадочное. Когда ты в одежде и стоишь, кажется, что ты плотная и коренастая, а когда голая и лежишь, становишься упругой, длинной. И сильной. Знаешь, на кого ты сейчас похожа? На анаконду, проглотившую аллигатора.

Она прыснула.

– Иногда – правда, нечасто – ты бываешь удивительно наблюдателен,

Клобуков. Аллигатора я лопать бы не стала, гадость такую, но чувствую я себя сейчас в самом деле, будто проглотила золотую рыбку, и она еще прыгает где-то вот здесь. – Мирра похлопала себя по низу живота. – ...Куда это ты пялишься, Клобуков? Смотри человеку в глаза, когда с ним разговариваешь. Ты же интеллигент.

Он улыбнулся, но взгляд перевел не сразу.

– Ты поразительно естественна, когда на тебе ничего нет. – Задумчиво потер намыленную щеку. – Теперь я иногда смотрю на тебя, когда мы на улице или где-нибудь в помещении, и думаю: как странно она выглядит в одежде. Как будто восточная женщина в парандже.

– Это означает, что советская легкая промышленность еще не научилась производить качественные товары широкого потребления, – пошутила Мирра. – А вообще-то чему ты удивляешься? Естественное состояние человека – нагота.

– Категорически не согласен. Нагота – естественное состояние животного. Именно одежда делает человека человеком. Мое естественное состояние – быть в костюме и даже при галстукке. Это мой дополнительный эпитет, в котором я чувствую себя комфортнее всего.

Он продолжил бриться, удивленно приподняв брови и глядя в зеркало:

– Мы с тобой до того непохожи... Даже противоположны! Странно, что нам так хорошо вместе.

– Физику учи. Противоположности притягиваются. – Она развела ладони. – Тут минус, тут плюс. Между ними притяжение. Бумс! – Хлопнула в ладоши. – И полетели искры.

Хихикнула.

– А помнишь, как у нас всё не складывалось до «бумс!» добраться? То одно, то другое? А когда наконец оказались в койке, помнишь, что с первым разом получилось?

– Давай лучше про второй вспоминать, – поморщился Антон.

С первого раза у них не черта не вышло.

Он сидел красный, прикрывался рукой, несвязно бормотал: «Прости, прости... У меня так давно этого не было... Я же говорил, это совсем не нужно...» Жутко был смешной. Она не удержалась, фыркнула. Тут он вообще съезжился.

– Я знаю... Я смешон...

– Не ты, а мы. – Мирра как начала смеяться, уже не могла остановиться. – Нет, правда! Ну умора же! Мы с тобой так долго роняли слюни, прямо помирали от голода. Вот наконец дорвались, стол накрыт,

налетай – а ложка гнется, вилка падает...

Вид у Антона стал такой несчастный, что Мирра решила с шутками завязывать.

– Ты что, не понимаешь? – Погладила его по щеке. – Любовь играет с нами в кошки-мышки. Она нас дразнит. Но мы ее все равно поймем. Не сегодня так завтра.

Он неуверенно улыбнулся, поцеловал ее пальцы, и Мирра решила, что на завтра откладывать незачем.

– Беда с интеллигентными мужчинами, – вздохнула она. – Всё у вас через голову, даже это. Ладно, Клобуков, давай подведем теоретическую базу, если тебе так проще. Провожу инструктаж. А ты слушай и мотай на ус. Лады?

Он неуверенно кивнул.

– Правило первое. Не суетись и никуда не торопись. Не в трамвай садишься. Правило второе. Не думай, как ты выглядишь да что я о тебе подумаю. Вообще отключи свою умную голову. Не мешай природе.

– Я не умею не думать.

– Черт с тобой. Думай. Смотри на мое плечо и думай: это плечо. Можешь его погладить, поцеловать. Думай: я глажу ее плечо, целую. Вот так... Получается?

– Да...

– Молодец. Теперь целуй вот сюда и думай: я целую ее шею... Ключицу... Подмышку... – Она подняла руку. – Хорошо, молодец... Ну и так далее, по всей анатомии. Ты же доктор... И хватит от меня ладошкой прикрываться. Я тоже доктор. Думай про то, что с тобой буду делать я. Называй всё своими именами. А ни про что другое сейчас не думай...

И всё у них со второго раза получилось, как надо. И даже лучше, чем надо – чуть не до обморока.

Никогда и ни с кем Мирра так быстро не доходила до края, когда в глазах темно, в голове искры, и крик рвется сам. Практически всегда, каждый раз. Только он начнет обнимать, гладить, и уже подступает. Руки у него, что ли, волшебные, у Клобукова?

* * *

Завтракали тоже не спеша.

Антон готовил. Такое у них было распределение семейных обязанностей: он кухарит, она моет посуду. Повариха из Мирры была паршивая, ей бы только поскорее сварганить что-нибудь, а Клобуков относился к приготовлению еды вдумчиво. У него получалась мировая яичница – с салом и зеленым луком, который он выращивал на подоконнике.

Сегодня Антон опробовал новый примус, вслух изучал инструкцию.

– Так, раздел «Розжиг». Наполнить резервуар топливом на две трети объема... Наполняем...

– Фу, – поморщилась Мирра на запах керосина.

– Накачать воздух с помощью насоса... Качаем... Налить горючего в чашечку и прогреть грелку...

– Клобуков, жрать охота! Ты не мог с вечера матчасть изучить?

– Сейчас, уже скоро, – сосредоточенно ответил он.

– Давай лучше я тебе вслух почитаю. Интересней будет.

Развернула праздничную первомайскую газету, стала просматривать заголовки.

– Ура! – воскликнула Мирра. – Даешь!

– А? – Антон рассеянно взглянул на нее с горящей спичкой в руке. – Что такое?

– Открывают воздушную линию Москва – Тифлис. Всего шесть остановок, и ты в Тифлисе. Через 21 час, представляешь? А сейчас трясись трое суток на поезде! Давай слетаем в Грузию, когда начнут возить пассажиров?

– У меня тоже успех. Горит! – похвастался он. – Муж у тебя хоть и не кося сажень в плечах, зато золотые руки.

– Больше никаких «саженей». Забудь. С сегодняшнего числа, с 1 мая 1926 года, Союз Советских Социалистических Республик окончательно переходит на метрическую систему... Ух ты! Слушай! – Мирра радостно прочитала: – В Англии вчера началась всеобщая стачка! Вслед за горняками забастовали четыре миллиона трудящихся! Клобуков, у них тоже начинается!

– А может ну ее, первомайскую демонстрацию? – сказал на это несознательный Клобуков. – Давай лучше сразу в парк, пока народ не нахлынул. А то всюду очереди будут – и на лодочной станции, и за мороженым.

Она строго ответила:

– Сначала общественное, потом личное. Такая у нас страна, особенная. Не похожая на другие. Где еще на первой полосе, большим шрифтом, главная газета будет печатать стихи? Послушай первомайское поздравление

Маяковского.

Товарищ солнце, не щерься и не ящерься!
Вели облакам своротить с пути!
Сегодняшний праздник – праздник трудящихся,
И нечего саботажничать: взойди и свети!

Тысячи лозунгов, знаменами избранных,
Зовут к борьбе за счастье детей,
А кругом пока – толпа беспризорных.
Что несправедливей, злей и лютей?!

Смотри: над нами красные шелка,
Словами бессеребряными затканы,
А у скольких еще бока кошелька
Оттопыриваются взятками?

Она энергично отмахивала бодрый ритм сжатым кулаком, так что сполз ситцевый халатик. Взглянула на Антона – нравятся ли стихи. Он глазел на ее голое плечо.

– Э, Клобуков! Без глупостей! Ну тебя к черту. За яичницей следи. Животное ты, а не интеллигент.

Но халат не поправила, а спустила до самого пояса – очень уж здорово пригревало весеннее солнце, кожа прямо вся золотилась.

– Ой, хорошо как... Зима кончилась. – Мирра блаженно зажмурилась. – Не приставай, ладно? Ты свое уже получил. Дай позагорать.
– Слушай...

Она открыла глаза. Такая интонация у него была, когда он заговаривал о чем-то серьезном.

Клобуков действительно хоть и пялился на ее грудь, но вид имел не плотоядный, а задумчивый.

– Это... Ну, ты понимаешь... *всё это*... занимает такое важное место в нашей... по крайней мере, в моей жизни. Я не уверен, что это хорошо и правильно. Когда мы не вместе, когда я в клинике, или на консилиуме, или даже разговариваю с пациентом – вдруг вспомню что-нибудь *такое*, и бросает в жар... Мне кажется, я всё время об этом думаю. Ну, раз в несколько минут уж точно...

– Правда? – с любопытством спросила она. – А что именно ты

вспоминаешь? Воображаешь меня вот такой вот? – Приподняла руками бьют, закусила губу, затуманила взгляд. – Вот сидишь ты с Логиновым и другими светилами, обсуждаешь что-нибудь научное, и вдруг вспомнил про меня. Что с тобой происходит? Сразу водрузил над землей красное знамя труда? Прямо на консилиуме?

– Да ну тебя. Опять ты со своим солдатским юмором. Я серьезно. – Он стоял со сковородкой в руке, сосредоточенно щурился через очки. – Франциск Ассизский называл свое тело «мой братец ослик», то есть относился к нему, как к животному, на котором едет душа. Иногда «ослика» приходится вразумить палкой, иногда можно угостить его морковкой. Ну, то есть, бывает, что телесное тебя раздражает и его надо подавлять, но бывает, что ты благодарен своей физиологии – как-то так это следует понимать. Осел упрямится, но все-таки везет тебя, это честная рабочая скотинка. Комичная, нескладная, со своими капризами. Не всем им нужно потакать, но и пренебрегать потребностями тоже нельзя. Иначе осел заболит, а то и околет. Кто тогда доставит душу к цели путешествия?

– Глупости, – дернула плечом Мирра. – Отрывка идеалистической философии. Нельзя отрывать физическое тело от сознания. Так можно скатиться в вульгарный материализм. Я тут где-то на эту тему заметку видела... Шас... – Она перелистнула газетный лист. – А, вот. «Английский врач Нейль подсчитал, что в теле среднего человека содержится железа на 1 небольшой гвоздь, сахара – на 2 чайных ложки, жира на 7 кусков мыла, фосфора на 2200 спичек. Общая стоимость материалов – около 60 коп». Я стою не 60 копеек. Потому что кроме физики с химией во мне есть еще мысли и чувства. Я – всё вместе. И это, и это, и это. – Мирра хлопнула себя по лбу, по груди, по животу. – Что-нибудь одно отними – и нет меня.

– Да, конечно. Но у меня такое ощущение, что во мне стало как-то... слишком много тела. И, согласно закону сохранения массы, если в одном месте прибыло... – Клобуков с несвойственной ему простотой тоже хлопнул себя, по ширинке. – ...То в другом месте, вот здесь, в мозгу, убыло. «Братец ослик» оседлал меня. Это я его везу, а не он меня... Ты не замечаешь, что я поглупел?

– Есть такое дело. Давно хотела с тобой об этом поговорить, – с озабоченным видом согласилась Мирра и захохотала, видя, как вытянулась у Клобукова физиономия. – Слушай, не относись ты ко всему на свете со звериной серьезностью. Уж к *этому-то* точно не надо. Это радость, угощение. Это весело.

– А если родится ребенок? Ты говорила, у тебя задержка. Проверилась?

– Успеется. Ну, ребенок и ребенок. Это тоже радость. Нас с тобой станет больше. Чего тут плохого?

Он задумался, наморщив лоб. Что-то его мучило. Клобуков был ужасно смешной. Мирра хорошо изучила – видела насквозь безо всякого рентгена.

– Давай, говори. Не пыхти. О чем ты хочешь меня спросить?

– ...Помнишь, как я во вторник приехал из Астрахани. Ну, вечером... Ты меня ждала только в пятницу, а у нас операцию отменили, и я приехал раньше, а телеграмма не дошла...

В глаза не смотрит. Это еще что за новости?

– Конечно, помню. Выхожу из ванной, а ты вот он. Накинулся на меня, как на Зимний дворец, и дал такой залп «Авроры»...

Антон покраснел, а Мирра со смехом продолжила:

– А потом я говорю: «Которые тут временные – слазь!» И ты, дурак, обиделся, потому что не ходил со мной в Политехнический слушать новые стихи Маяковского.

Это, правда, было ужасно смешно – как Клобуков тогда надулся. Она с выражением продекламировала: «Которые тут временные, слазь! Кончилось ваше время!»

Он и сейчас набычился.

– По-моему это совершенно не смешно. Скорее вульгарно.

– Да, Клобуков, по части юмора ты у меня инвалид. Но даже это мне в тебе нравится. Давай, не мямли, выкладывай, что тебя терзает.

Антон именно что замямлил. Глядел по-прежнему в пол. И щеки опять покраснели.

– Я вошел, ты не услышала... Зову – не откликаешься... Вода лилась, ты душ принимала... Я тихонько подошел, дверь не заперта... Заглянул, а ты...

Тут он окончательно стушевался, не договорил.

– Что я? – подогнала его Мирра.

– Ты себя... рукой... И лицо было точь-в-точь такое же, как когда мы... И... я не хотел говорить, ты извини, но я все время об этом теперь думаю... Во-первых, стыдно и неприятно, что это меня так возбудило... Противно быть таким животным... Но не только в этом дело... Я вроде как тебе и не нужен. Ты можешь и без меня... В общем...

Он замолчал, сделался совсем красный. Надо было срочно спасать человека, не то сейчас самовозгорится от смущения.

Мирра встала, подошла, взяла Антона за подбородок. Он все равно отводил глаза.

– Э, Клобуков, ну что за бред ты несешь? Нет тут ничего плохого, стыдного, противного. Это как с едой. Ешь, когда голоден. Если мы вместе и я проголодалась, а ты еще нет – не беда, можно подождать. Вдвоем ужинать гораздо лучше. Но если я одна и вдруг голодный спазм... У тебя на консилиуме бывает, и у меня тоже. Особенно если ты уехал в командировку со своим Логиновым и я одна. Бывает, так подкатит – прямо горю вся. Ну и наешься всухомятку, чтоб отпустило. Что тут такого? Зато я тебе никогда не изменю. Я могу ужинать или с тобой, или ни с кем. Понял, идиот?

Он засмеялся.

– И правда идиот. Прости. Иногда я не понимаю, за что ты меня любишь?

– А любят за что-то? – поразила Мирра. – Вот не знала!

Клобуков тоже удивился.

– Разве нет? Я точно знаю, за что тебя люблю. Во-первых, за то, что с тобой я чувствую себя вдвое, нет вдесятеро более живым. Во-вторых, за то, что ты как вода или огонь – я могу смотреть на тебя часами, никогда не надоедает. В-третьих, при всей своей грубоватости ты самая женственная из женщин. В-четвертых, я знаю, что ты никогда не будешь врать и никогда меня не предашь. В-пятых... – Антон вдруг нахмурился. – А ты меня? Нет, правда, за что? Скажи.

– За то, что ты дурак смешной. Живу, как в цирке с клоуном.

– Нет, серьезно?

– Как же ты мне надоел, Клобуков, с этой твоей привычкой вечно все анализировать, во всем выискивать глубокий смысл! – Мирра закартавила, передразнивая его: – «Почему ты такая грустная?» Да просто грустная и всё, отстань! «Почему ты меня любишь?» Да по всему. По ничему. Ну вот есть ты, есть я, а всё остальное – постольку поскольку. Ясно?

– То есть... – Антон потер висок. – Ты хочешь сказать, что мы с тобой образуем вдвоем некую обособленную сущность? Замкнутую систему?

– Я хочу сказать: иди к черту, зануда. Давай уже жрать. Яичница стынет!

НЛ

тн

Бывает любви стареива-
когда и он, и она не обман-
ваются в надежде утолить
свой взысканный голод. Это
эбенин доверию распрое-
транение.

Бывает любви вечная — когда
эффект взысканности не
прекращается до конца жизни.
Также нечасто, но встречается.

И бывает Настоящая Любовь —
когда нар. неры не просто
стареивы друг с другом до
самой смерти, но и благодаря
решимости, осознанию, вы-
ходят на более высокий уровень
личности, становится лучше,
чем был прежде, но определенно.
Я уже писал, что не связан с
концепцией Владимира Сорокина,
который видит смысл любви
в том, чтобы дойти до такого
состояния двух данных грани-
чных существ, которое соз-
дало бы из них одну абсолю-
тную и единственную любовь и
исбавило бы человека как
свободное существо мужского
и женского начала, сохраняя
свою формальную особ-
ность, но преодолевших свою
формальную несобственность
существование рознь и распадение.

(Из клетчатой тетради)

НЛ

Бывает Любовь счастливая – когда и он и она не обманываются в надежде утолить свой внутренний Голод. Это явление довольно распространенное.

Бывает Любовь вечная – когда эффект взаимоутоления не прекращается до конца жизни. Такое нечасто, но случается.

И бывает Настоящая Любовь – когда партнеры не просто счастливы друг с другом до самой смерти, но и, благодаря своей соединенности, выходят на более высокий личностный уровень, *становятся лучше*, чем были прежде, по отдельности. Я уже писал, что не согласен с концепцией Владимира Соловьева, который видит смысл Любви в том, чтобы достичь «такого сочетания двух данных ограниченных существ, которое создало бы из них одну абсолютную идеальную личность» и «создать истинного человека, как свободное единство мужского и женского начала, сохраняющих свою формальную обособленность, но преодолевших свою существенную рознь и распадение». Зачем сливать две личности, каждая из которых уникальна, а стало быть бесценна, в одну? Нет, Любовь должна быть катализатором развития каждой из этих личностей – вот в чем я вижу ее истинное назначение. Такая Любовь, увы, – феномен раритетный.

В прежние времена, когда браки заключались главным образом по сговору и их прочность удерживалась не родством душ, а экономической необходимостью либо общественно-религиозными запретами, НЛ могла возникнуть лишь по очень большому везению, напоминающему выигрыш в лотерею. Однако и в наши времена, когда почти все союзы заключаются по сердечной привязанности, абсолютное большинство супружеских пар вынуждены довольствоваться более или менее удачными паллиативами подлинной Любви. Такое положение в казенных документах называется «неполное служебное соответствие». Если современный брак не распадается, а длится всю жизнь, это означает, что партнеры все-таки в какой-то степени насыщают Голод друг друга. Применяя другую, столь же сухую метафору, можно сказать, что у Любви есть хотя бы минимальный «контрольный пакет», вследствие чего она сохраняет управление в акционерном обществе, именуемом семьей.

В художественной литературе можно встретить множество описаний неудачной семейной Любви, поскольку она порождает интересные

с сюжетной точки зрения коллизии, но я не знаю произведений, в которых был бы увлекательно описан истинно счастливый брак. Причину такой несправедливости сформулировал Толстой в первой фразе «Анны Карениной» («Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему») – и ошибся. Пары, связанные Настоящей Любовью, совершенно не похожи одна на другую. Каждая движется собственным Путем, летит к своей сияющей звезде, и полет этот захватывающе интересен.

Мне кажется, что теперь, рассмотрев предмет во всей его совокупности, я готов выделить характерные приметы, по которым можно распознать НЛ и отличить ее от других типов Любви. Ничего принципиально нового в этих заключениях не будет, все они так или иначе уже звучали. Просто хочу их суммировать, а в некоторых аспектах разобрать поподробнее.

И намерен я начать с неприятного – с «побочных эффектов» НЛ.

Первая из сложностей, над которой мне пришлось немало поломать голову, выставляет НЛ в довольно невыгодном свете. Я коротко уже касался этой тревожной проблемы.

Настоящая Любовь не нуждается в детях.

Точно к такому же выводу я пришел, когда разрабатывал теорию аристонмии: этот Путь самосовершенствования человеку легче дается, если он не обременен семьей. Когда-то мне посчастливилось работать с выдающимся хирургом, величиной мирового значения. Для этого врача не существовало ничего кроме дела, которым он занимался. Однажды, узнав, что я собираюсь жениться, он сказал мне в редком порыве откровенности (прежде мы никогда не говорили о личном): «Коллега, жизнь – это лотерейный билет с правом передачи. Нашел смысл и цель – выиграл. Нет – передаешь билет детям. Быть может, им повезет больше. Но если уж сорвал куш, детей заводить не следует. Выигрыш отнимет у тебя все время, все силы, ребенок останется обделенным, а это нехорошо». Я тогда счел эту теорию сумасбродной. В определенном смысле тот хирург, конечно, и мог считаться маньяком. Но не таковы ли более или менее все гении (согласно моему пониманию – это люди, которым повезло раскрыть свой уникальный дар)?

Аристоном – существо, всецело принадлежащее Большому Миру, и логически понятно, что обязательства Малого Мира замедляют духовную эволюцию такого индивидуума. Однако НЛ ведь целиком находится в сфере Малого Мира, к которому безусловно принадлежит семья. Что же

за семья без детей?

Отлично понимаю, что апология Любви, которой ни к чему дети, выглядит страшновато, однако я пишу не для брошюры общества «Знание» (да и вообще не для читателей), поэтому могу позволить себе бесцензурность мысли и полную откровенность. Я не собираюсь судить, хорошо или плохо не нуждаться в потомстве; я хочу понять, почему так получается.

И начну с вопроса, который прозвучит дико: *зачем человеку дети?* Не человечеству, не Природе, не Богу, а конкретному живому человеку.

Боюсь, что профессор прав: рождение и воспитание потомства – это заменитель смысла жизни для личности, которая в собственном бытии такого смысла не обнаружила и своего истинного назначения не осуществила. Именно так происходит с подавляющим большинством людей: они живут непонятно зачем, а очень часто даже и не пытаются это понять. Заводя ребенка, человек перепоручает разгадать эту загадку следующему поколению, передает некую эстафету. Существование даже самого никчемного индивида обретает значимость, потому что из его семени когда-нибудь в будущем может произрасти плод, который ретроспективно оправдывает и *объяснит* смысл существования всех предков.

Тот, кто исполнил свое предназначение, то есть прошел Путь развития (аристонимический или Любовный) до конца, цель жизни исполнил. А всякая достигнутая цель – это окончание движения, энтропическое состояние. Если угодно – смерть.

Нужно ли этого пугаться? Не думаю.

Не такова ли, в сущности, цель всей эволюции человечества? Избежать преждевременной гибели, достичь некоего идеального общества, то есть построить некий земной рай. В раю движения нет, там все конфликты разрешены, там царит энтропия.

Если человечество достигнет гармонии, ему станет незачем развиваться дальше, и оно умрет от старости, пресытится жизнью, отойдет «яко колос ко снопу». И потомства уже не оставит.

Когда личность за период своего биологического существования достигает состояния, которое в дальневосточных философиях называется Просветлением, это индивидуальная модель построения земной гармонии. Классический аристоним живет в одноместном раю; у пары, обретшей НЛ, купе на двоих. Можно, конечно, разместить там и детей, но выйдет тесновато. Я уже писал, что ради детей НЛ может и потесниться, однако это создаст проблемы и для Любви, и для ребенка.

Есть еще один «побочный эффект» НЛ, который свидетельствует не в ее пользу.

Настоящая Любовь, в сущности, асоциальна.

Точно так же, как из типического аристократа обычно выходит неважный семьянин, из людей, живущих Настоящей Любовью, не получают героические воины, самоотверженные государственные деятели, гениальные ученые или пламенные ударники производства.

НЛ – это мир, в котором хватает места только для двоих. Самозабвенное общественное служение или истинно плодотворная, тем более творческая работа в этой системе координат затруднены, а то и невозможны. (Такое чудо – успешное сосуществование Малого и Большого Миров – было бы осуществимо только в гипотетической ННЛ, *Настоящей Настоящей Любви.*)

Однако о внешне непривлекательных сторонах НЛ или, если угодно, о стоимости проезда по этому Пути я упомянул не для того, чтобы его развенчать, а по другой причине, которую вскоре объясню. Теперь же хочу остановиться на благе, которое несет с собой Настоящая Любовь.

Как я уже неоднократно говорил, главный ее смысл заключается в том, что она позволяет личности проявить свои лучшие качества, что она возвышает и облагораживает душу. Полагаю, будет уместным еще раз перечислить те последствия НЛ, которые позволяют придти к подобному выводу.

Человек делается альтруистичен, ставя интересы Любимого прежде собственных. В наиболее возвышенных случаях ради спасения или блага партнера он готов пожертвовать самым дорогим – Любовным счастьем. В переписке Абеяра и Элоизы есть очень сильный пассаж, где Элоиза отговаривает Любимого жениться на ней, боясь, что семейные заботы помешают ему отдаваться высокому призванию. «Не лучше ль мне оставаться твоей любовницей, нежели стать твоей супругой?» – говорит Элоиза с мудростью Настоящей Любви, провидя несовместимость Малого и Большого Миров.

При НЛ человек великодушнее и щедрее к партнеру, чем к самому себе. Он может пожалеть что-то для себя, но не для Любимого. Ритуал *одарения* бывает очень разным по уровню, в зависимости от воспитания, социального положения и обстоятельств, но сути это не меняет. Мне вспоминается одна комичная, но вместе с тем и трогательная история из недавнего прошлого. Во время войны, когда я служил в госпитале

на Ленинградском фронте, у меня на глазах разворачивался роман санитары и уборщицы. Это были совсем простые, даже грубые люди, которые не употребляли и, кажется, даже не знали неясных слов и изъяснялись в основном посредством обсценной лексики. Время было очень тяжелое: блокада, у всех голодный психоз на почве недоедания, все ходят бледные, истощенные, еле волокут ноги. Но эти двое выглядели совсем плохо, так что несколько раз падали в обморок при исполнении своих обязанностей. Я заподозрил половое излишество и решил поговорить с мужчиной, предупредить его об опасности физических эксцессов на фоне дистрофии. Оказалось, что ничего подобного: ни у него, ни у нее давно не осталось сил «сладиться» (как он это назвал). Тогда я стал разбираться и вскоре выяснил, что каждый из них не ел свой скудный паек хлеба, а отдавал второму, говоря, что сумел где-то «подхарчиться» и сыт. Второй после долгих уговоров брал пищу, но не ел ее, а откладывал и в следующий раз начинал потчевать первого. Они так и заморили бы друг дружку до смерти своей Настоящей Любовью, если бы я не заставил обоих впредь съедать паек у меня на глазах.

Щедрость Любящего доходит до таких пределов, что жизнь Любимого становится ценнее собственной, а это уже свидетельство полного разрыва с низменным, природным началом, заложенным в человеке. В качестве иллюстрации опять прибегну к своему печальному военному опыту, которого у меня больше, чем хотелось бы.

Однажды, когда я сопровождал эшелон с ранеными, которых эвакуировали в тыл, мы попали под налет вражеской авиации. Бомб на нас самолеты не тратили, но несколько раз пролетели вперед и назад, обстреливая состав из пулеметов. Все раненые, кто мог двигаться, бросились в поле или залегли под вагоны. Должен сказать, что так же поступил и медперсонал, хотя уставом запрещено оставлять раненых в опасности. Я, конечно, остался, потому что был старшим по должности, и стал свидетелем сцены, которую не забуду, пока жив. Одна из медсестер и один раненый танкист, как это нередко у нас случалось, полюбили друг друга. У него было тяжелое ранение обеих ног, покинуть койку он не мог. Осталась и его возлюбленная. Более того, она попыталась лечь сверху, чтобы прикрыть его своим телом. И у меня на глазах развернулось по внешнему виду безобразное, а на самом деле поразительное по красоте действие: они боролись, жестоко и даже иступленно, за право оказаться сверху и превратиться в живой щит. Женщина была здорова и обладала большей физической силой, зато мужчина лучше умел драться. В конце концов он ударил ее кулаком в солнечное сплетение, а когда она обмякла,

подмял под себя. Я кричал им: «Немедленно прекратите, идиоты! Пуля, если попадет, прошьет обоих!» Но я ошибся. Попала не пуля, а выбитая ею щепка, длинная и острая. Она пронзила мужчину, убив его, а женщину едва кольнула. В ту пору много писали о подвиге Александра Матросова, закрывшего собою амбразуру, но поступок танкиста кажется мне не менее героическим, хотя золотую звезду «Героя Советского Союза» за такое не дают, а звезды «Герой Любви» на свете не существует. Я, впрочем, думаю, что для НЛ это был не героизм, а совершенно естественная модель поведения.

Ряд удивительных, благотворных перемен, которые производит в человеческой душе НЛ, можно было бы и продолжить, тем более что делать это приятно, но не буду тратить чернила на изложение истин, которые кажутся мне очевидными. Довольно сказать, что практически все лучшие качества, присущие виду *Homo sapiens*, обнаруживают тенденцию к росту.

С одной существенной оговоркой. Этот сияющий свет не создает ауры и не рассеивает вселенской тьмы. Скорее он похож; на сильно сфокусированный луч, который направлен на одного-единственного человека – того, кого Любишь. Встречный свет устроен точно таким же образом. Двоим людям довольно того, что им светло друг с другом, а мрак окружающего мира их гнетет, только когда вторгается в Любовную идиллию. Для справедливости нужно сказать, что и в объективном, общечеловеческом смысле тот, кто испытывает НЛ, делается лучше – просто потому, что счастливый, состоявшийся, не терзаемый внутренним Голодом человек добрее, терпимее, позитивнее; в нем нет агрессии. Однако НЛ – это, в общем-то, эгоизм на двоих.

И все же я склонен считать, что НЛ при всех своих ограничениях может считаться Путем, альтернативным аристократическому. В конце концов аристократа тоже есть в чем упрекнуть. Он «сияет» не кому-то одному, а многим, и это прекрасно, однако каждому отдельному представителю человечества достается лишь частица света, и свет этот не пропитан таким теплом, которое дает адресная, *персональная* Любовь. Спросите кого угодно, с кем он предпочтет делить жизнь – с аристократом или с тем, кто умеет по-настоящему Любить, и ответ будет очевиден. НЛ вкладывает в тебя все сто процентов своего капитала, а не делит его на миллион акционеров. Тора утверждает: кто спас одного, тот спас всё человечество. Наверное, то же можно сказать и про Любовь.

Вот я вплотную подошел к тому, ради чего затеял всё это длинное, противоречивое и местами – сам вижу – не слишком убедительное исследование.

Как избавить НЛ от черствости по отношению к миру, а аристократию – от сухости и эмоциональной *несогретости*? Я бы не хотел, чтобы аристократический путь предназначался исключительно для аскетов, которые ради Служения отказываются от Любви. Такие подвижники, наверное, необходимы, но их не может и не должно быть много.

Как сделать НЛ открытой миру, а аристократию – открытой Любви?

Неужели нельзя жить *правильно* и в то же время счастливо?

Неужели никак невозможно соединить два эти Пути – аристократию и Настоящую Любовь?

Неужели нельзя полноценно заниматься большим, благородным делом, приносящим пользу человечеству, и в то же время не жертвовать Любовью?

Не получится ли найти формулу жизни, которая соединит достоинства Большого и Малого Миров, не порождая между ними конфликта? Возможен ли Путь, который я называю Настоящей Настоящей Любовью?

В следующей, заключительной главе я попробую это сделать.



(Фотоальбом)

– Сегодня исторический день, – торжественно объявила Мирра. – Клобуков, ты только что удачно схохмил. Никогда бы не поверила. Чего-

чего, а каламбура от тебя никак не ждешь.

Шутка была такая. Мирра быстро решила техническую задачу, набросала на бумаге рисунок шва, и ей стало скучно. Взяла отрывной календарь – роскошный, старорежимного вида, весь в золотых завитушках, с церковными праздниками (Антону один прооперированный нэпман подарил) – и прочла вслух, просто так, от нечего делать:

– «Шестнадцатое мая, третье по пасхе воскресенье, начало недели жен-мироносиц». Что за жены такие?

Клобуков со своей половины стола говорит:

– Это же ты жена-мироносица. Моя жена Мирра Носик.

Она удивленно рассмеялась. Приподнялась, заглянула за барьер. Это Антон перегородил письменный стол пополам грифельной доской в полметра высотой. Говорит, Миррин вид отвлекает его, мешает сосредоточиться. Когда они оба сидели, занимались, она его не видела, а только слышала: сопит, как ежик, и постукивает – мелом по доске что-нибудь запишет и сотрет, привычка у него такая.

Похвала была ему приятна. Мирра мужа комплиментами не баловала.

– Да, неплохо получилось, – скромно признал он. – Ты что томишься? Уже приготовилась? Гляди. Хорошо себя покажешь – будет тебе зеленая улица. Прошляпишь что-нибудь – о продолжении забудь.

Она с досадой:

– Хватит меня стращать, а? Я стараюсь не психовать, а он... Посмотри лучше – как тебе? Который лучше?

Показала рисунки швов. Он посмотрел, одобрил все три варианта, но посоветовал обвести карандаш тушью – получится наглядней и солиднее.

Совет был правильный. У Мирры снова появилось, чем заняться.

В комнате опять стало тихо: с одной стороны стола постукивал мел, с другой поскрипывало стальное перо.

Вообще-то это называется «счастье», подумала Мирра. Они вместе, рядом, и каждый занят своим делом – любимым, важным. Антон составляет план анестезии для сложной трепанации, но это обычная его работа, а вот Мирра готовилась к первой в своей жизни профильной операции. Не самостоятельной, конечно, а в качестве второго хирурга, однако со своим ответственным участком работы. Ни в коем случае нельзя ударить лицом в грязь.

То есть сама-то операция были не ахти какая мудреная – секторальная резекция молочной железы на предмет удаления зрелой фибroadеномы. Но не в резекции дело.

Хирург, профессор Клейменов, увидел на практическом занятии, как Мирра кладет на лайковой коже косметический шов собственного изобретения. Похвалил. Предложил ассистировать – он собирался оперировать какую-то свою знакомую. Сказал, та ужасно волнуется, что грудь будет обезобразена.

Мирра пошла знакомиться с пациенткой. Поговорила с ней, выслушала всю жизненную историю – научилась у Клобукова вызывать людей на откровенность, хотя хирургу это вроде и ни к чему.

Больная Щетинкина, 1890 года рождения, имела мужа на восемь лет младше.

– Люблю моего Семочку ужасно, – всхлипывала она, округляя влажные карие глаза. – И он меня любит. Уткнется сюда, – она показала на свой внушительный бюст, – целует, потом голову спрячет между грудями, как котенок... Я от этого прямо как варенье вся делаюсь. Но лет-то мне сколько? А Семочка у меня, как младенец, ни одной морщинки. Куколка! А у меня, глядите, и так уже висит всё, хотя я нарочно не рожала, шесть абортс сделала, только бы себя сберечь. А доктор мне фотоснимки показал, какая у меня после операции грудь будет – кошмар, ужас! Одна такая, другая сякая, и рубец этот жуткий! Как я Семочке покажусь? Он меня бросит, и правильно сделает... У-у-у-у! – И завывала так горестно, безнадежно, что дуру стало невыносимо жалко.

– Шрам получится аккуратный, насчет этого не беспокойтесь. Келоидного рубца с моим швом не будет, обещаю... Но размер, конечно, получится неодинаковый. Если только...

Тут Мирре пришла в голову дерзкая идея, о реализации которой на своем пятом курсе она еще и не мечтала.

– Смотрите, что можно сделать... – Она стала рисовать на бумаге, вкрадчивым голосом объясняя: – Вот какие груди у вас сейчас. Да, имеется возрастное обвисание, это явление совершенно нормальное и естественное, происходящее вследствие ослабления фиксации и понижения сопротивляемости тканей... После операции профессора Клейменова получится вот так. Линия сбоку – это шрам. Ровненький, но все равно видный.

– Как дыня, от которой кусок отъели, – заплакала Щетинкина. – Если Семочка уйдет, я руки на себя наложу!

Мирра продолжала рисовать.

– А можно сделать вот такие. Поменьше, но упругие, твердые, красивой формы. Хотели бы вы такую грудь?

– Жизнь бы отдала, – свирепо ответила пациентка. – А можно?

Профессор сделает?

– Нет, профессор не сделает. А я могу. Но нужно, чтобы он разрешил. Если вы потребуете, и настойчиво – он не сможет отказать.

Затея была рискованная. Заговор за спиной главного оператора – за такое могут в шею выгнать.

– Что это я вас подговорила – молчок. Скажите: хочу косметическую ремодуляцию груди. Мол, слышала, что в Европе сейчас делают. Запомните?

– Косметическая ре-мо-ду-ля-ция, – повторила Щетинкина благоговейно, будто молитву.

– Он станет говорить, что у нас такого нет, а вы стойте на своем. Профессор скажет мне, что операция откладывается, потому что больная блажит – ремодуляцию ей подавай. И тут я рраз ему на стол готовый план.

– А он есть, план этот? – Пациентка жадно смотрела на рисунок. – Даже если нету, я все равно согласная. Вцеплюсь в Архип Петровича – не отстану! Только докторша, родненькая, сделай мне такие!

План не план, но принцип операции Мирре был известен – недавно она с клубуковской помощью прочла и законспектировала тематическую подборку из немецкого хирургического журнала. А к тому моменту, когда ее вызвал профессор Клейменов, чтобы сообщить о внезапно возникшей проблеме, был готов и план. «Надо же, какое совпадение, – бесстыже изобразила она удивление. – А я как раз решила взять косметическую ремодуляцию грудных желез в качестве дипломной разработки. Там всё не так уж сложно. Операция состоит из трех этапов...»

И уверенно, рисуя на бумаге, объяснила:

– Полная незаметность рубца достигается тем, что он переносится в подгрудную складку. Конечно, это далековато от нашей фибroadеномы, вам будет неудобно работать... – Тут она нарочно сделала паузу. Профессор самолюбиво хмыкнул: «Ну, это, положим, пустяки. Дальше что?» – Сосок перемещается на новое место, выше. Там делается удлинненно-овальный разрез. Сосок подтягивают кверху и вшивают. Стягивая дефект, образовавшийся в результате резекции фибroadеномы и заодно убрав еще какое-то количество жировой ткани, придаем груди нужную форму. Обвислость пропадает, обретается упругость. Потом делаем аналогичную процедуру со второй, здоровой железой, чтоб получилось симметрично. Вот и всё. Когда прооперированная женщина стоит или сидит, шрама в подгрудной складке вообще не видно. Когда лежит, с моим косметическим швом будет просто тонкая белая полоска.

– Черт, – вздохнул профессор. – Надо следить за новинками. Рутину

заедает, не хватает времени. Скажите, коллега, а взялись бы вы – под моим наблюдением, конечно, – проделать все эти манипуляции? Чувствуется, что вы хорошо проработали теоретическую сторону.

– Ой. – Мирра изобразила испуг, но осторожно, чтобы не пережать. – Только если вы будете во всем, во всем мной руководить. И если что, поможете.

Внутри у нее прямо грянул духовой оркестр. «И в схватке упоительной, лавиной стремительной даешь Варшаву, даешь Берлин!»

А что потом было с Щетинкиной! Так обняла, что чуть не раздавила своим пресловутым бюстом. Вот ведь вроде чепуха – висят сиськи или торчат, а на самом деле нисколько не чепуха, если человек считает, что от этого зависит счастье. На какие только жертвы и испытания не пойдет женщина, чтобы спасти любовь...

– Клобуков! – позвала Мирра. – У меня к тебе вопрос.

За доской сопение. Погружен в работу, не слышит.

Мирра сползла на стуле пониже, достала его щиколотку ногой.

– Эй, Клобуков!

– Ммм?

– А если я попрошу тебя операцию сделать? Твой нос поправить? согласишься?

– Зачем?

Из-за доски высунулась голова, замигала.

– Чтобы мне было на тебя приятнее смотреть. Сделаю тебе римский. Или греческий. А то кочерыжка какая-то.

– Если тебе неприятно смотреть на мой нос – смотри в глаза, – буркнул муж. Голова исчезла.

Вот она, разница между нами и ими, печально размышляла Мирра. Женщина ради любимого готова меняться, страдать, работать над собой, а эти палец о палец не ударят. И мой еще из лучших. Обычный муж отрастит себе пивное брюхо, и наплевать ему, нравится это жене или нет.

Она встала, потянулась, зевнула. Лениво подошла к книжным полкам, тоже поделенным на две части: на клобуковской половине густо, на Мирриной не особенно, одни учебники, научные журналы да томик Маяковского.

Взяла с зарубежной половины брошюру, которой раньше не видела. В. Соловьев, «Смысл любви».

Усмехнулась. Все-таки она к Клобукову несправедлива. Он тоже готов меняться, просто у мужчин это происходит по-другому. Надо же, изучает теорию. Выстраивает научную базу. Смешной!

Полистала немного.

– Ну не болван твой Соловьев? Ты только послушай. «Что мужчина представляет активное, а женщина – пассивное начало, что первый должен образовательно влиять на ум и характер второй – это, конечно, положения азбучные». Азбучные, каково? Вот индюк!

– Ммм?

– Клобуков, я с тобой разговариваю!

– О чем? – Оторвался, наконец, от бумажек. Удостоил внимания. Рожа недовольная. – Слушай, ты же знаешь. У меня тоже в некотором роде первая операция – первая с профессором Зельдовичем. В зависимости от того, как она пройдет, он или возьмет меня в постоянные анестезисты, или нет. Во-первых, мы на мели, нужен новый источник заработка. Во-вторых, работать с Зельдовичем будет одно удовольствие. Он очень интересный хирург. В отличие от Логинова берется только за самые сложные операции. И этот случай тоже мудреный. Давай я тебе расскажу. Может быть, посоветуешь что-нибудь...

– Ты лучше расскажи, почему от Логинова ушел.

С вражиной и контриком Логиновым Мирра готовилась вести долгую позиционную войну, чтобы постепенно освободить мужа от чужеземного ига, вывести из-под зловредного логиновского влияния. Но неделю назад Антон вдруг пришел домой мрачный и объявил: «Всё, с профессором больше не работаю. Готовься к тощим временам». И как она ни приставала – что такое, что случилось, – не раскалывается. Молчит, как большевик в деникинской контрразведке.

С одной стороны, Мирра, конечно, была ужасно рада. Но все-таки что у них стряслось? Почему такая таинственность?

Момент был удачный. Антон увлечен работой, не хочет от нее отрываться.

Подошла, крепко взяла его ладонями за щеки, подняла лицо кверху.

– Из-за чего ты поссорился с Логиновым? Я от тебя не отстану, пока не ответишь толком. Не дам работать, честное комсомольское. В результате ты опозоришься перед Зельдовичем, тебя выгонят и будешь работать анестезистом у ветеринара. А ну говори!

Клобуков знал, что «честным комсомольским» она зря не разбрасывается. Покосился вниз, на свои записи. Вздыхнул.

– Профессор сказал, что мое... что изменения в моем семейном положении плохо сказываются на работе. Что я стал отказываться от командировок. Что у настоящего врача есть Дело, а потом уже всё остальное. А у меня теперь сначала *всё остальное*, и только потом Дело...

Что это вопрос приоритетов и что нужно выбрать. – Говорил он через силу, неохотно. – Мне не понравилось, что он назвал тебя «всё остальное». Слово за слово... Ну и, в общем, я сказал, что уйду...

– То есть Дело и я, по его мнению, несовместимы? – удивилась Мирра.

– Он, в сущности, прав. Работа, конечно, может стоять в жизни человека не на главном месте. Но если работа для человека – Дело, так не получится... Посмотри, как мы с тобой работаем. – Он показал на перегородку. – У тебя свое дело, у меня свое. Мы постоянно отрываем друг друга от работы, мешаем. Разве не так? Но я тебе вот что скажу. Пускай. Мой приоритет – ты. Я это сказал Логинову. И ему это не понравилось.

Она смотрела на его лицо, сплющенное между ее ладонями, и думала: какой он сейчас красивый! Просто невыносимо красивый.

– Дурак твой Логинов. Во-первых, скоро я стану настоящим хирургом, и мне тоже понадобится хороший анестезист. Будем работать вместе, одной командой: лучший в СССР косметический хирург М. Носик и лучший на свете анестезист А. Клобуков. Никакой борьбы приоритетов.

– Я не буду с тобой работать, извини, – сказал Антон. – Я с уважением отношусь к избранной тобой специальности. Косметическая хирургия – дело хорошее и важное. Но на мой век хватит операций, когда человеческая жизнь в опасности и ее нужно спасать.

Как с этим поспоришь? Мирра и не стала.

– Ну и пожалуйста. Пусть каждый из нас занимается своим делом. Найду себе другого анестезиста. А в сложных случаях буду звать тебя. Ты ведь не откажешь?

– Если в этот момент не будет настоящей операции.

Она стукнула его по лбу:

– Какой же ты, Клобуков, зануда со своей честностью!

– Ты сказала «во-первых». А что во-вторых?

Он тер освобожденную мятую щеку.

– А во-вторых, я тебе еще не говорила, что я тебя люблю?

Антон моргнул.

– Нет. Я тебе много раз, а ты мне никогда. Я знаю, что ты не признаешь «телячьих нежностей».

– Ну вот запиши себе, на память. Число поставь. В следующий раз такое услышишь от меня нескоро.

Наклонилась и поцеловала его: в лоб и в нос коротко, в губы подольше.

– Это тебе за то, что не поддался гаду Логинову... А я знаю, как это

было трудно... Проси в награду чего хочешь.

У Клобукова сверкнули глаза. Он обнял Мирру за талию.

– Ты знаешь, чего я хочу.

– Стоп. Мы же договорились. – Она уперлась руками ему в плечи. – До операции шуры-муры отменяются. Они сбивают настрой, потом невозможно сосредоточиться на работе...

– Сама сказала: «Проси чего хочешь». Кто постоянно хвастается: «Я человек слова, я человек слова»?

– Ладно, хрен с тобой. Только давай сам. Не заводи меня. Чик-чирик, быстренько.

Антон оскорбленно продекламировал:

Я ненавижу, когда отдается мне женщина с виду,
А на уме недопрядённая шерсть;
Сласть мне не в сласть, коль из чувства даруется долга, –
Ни от какой из девиц долга не надобно мне.

И поднял палец:

– Овидий. Две тысячи лет назад сказано.

– Была бы честь предложена. Не хочешь – не надо. Расходимся по отсекам.

Мирра сделала вид, что уходит, и его принципиальность моментально испарилась.

Пять минут спустя, в ванной, приводя себя в порядок и глядя, как покрасневшийся Антон причесывает растрепанные волосы, Мирра сказала:

– Клобуков, ты без меня, как лампочка без электричества. Вот перегорят у меня пробки, и ты погаснешь. Будешь висеть холодной стекляшкой.

Он оглянулся. В глазах – страх.

– Я не могу такого представить. Что я есть, а тебя нет... То есть могу, и это ужасная мысль. Почему ты вдруг про перегоревшие пробки?..

– Так просто, – легкомысленно качнула головой Мирра. – Приятно думать, как много я для тебя значу.

Но Клобуков не успокоился. Кажется, она случайно попала на болезную тему.

– Приятно? – Он поежился. – А у меня иногда мороз по коже... Я много об этом думаю, только с тобой не делюсь, потому что ты

не любишь таких разговоров... Знаешь, я совсем иначе представлял себе любовь. Оказывается, я не знал про нее главного. Плохого и страшного. Она лишает свободы и мужества. А может сделать подлецом.

Мирра присвистнула:

– Ну ты дал, Клобуков. Как это?

– Очень легко могу представить ситуацию, когда я окажусь перед выбором – отказаться от тебя или от дела всей моей жизни. Даже хуже: предать тебя или совершить какой-нибудь чудовищно подлый поступок... Я знаю, что выберу тебя. И окажусь подлецом... Вот в чем ужас.

Ему, глупенькому, кажется, в самом деле было страшно, а Мирра слушала – прямо таяла.

– Говори, Клобуков, говори. Ты сегодня прямо соловей. Ты, конечно, несешь чушь. Но очень приятную. – Не удержалась. Прижала его, обняла, поцеловала. Сказала ласково: – Ну кто от тебя потребует, чтобы ты предал либо меня, либо дело или свой долг? Итальянские фашисты? Белопанская Польша? А, знаю. Клика Чжан Цзолина. «Пледай, глажданин Клобукова, свою сисилистическую лодину, не то отбелем у тебя глажданку Носик и все ее сиси-писи»? – просюсюкала она с китайским акцентом.

Антон засмеялся. Она тоже.

– Замри-ка, жена-мироносица. Не двигайся. – Он попятился из ванной. – Остановлю мгновение. Оно прекрасно.

– Ты куда?

Но Клобуков уже вернулся, с фотокамерой.

– Хочу сделать снимок на память о дне, когда ты впервые сказала, что меня любишь... – Он приложился к видеоискателю, недовольно фыркнул. – Нет, тени просто ужасные. Давай спустимся во двор, под яблоню. Там сейчас должен быть отличный полуденный свет. Только не убирай улыбку. Не меняй выражение лица. Пусть остается таким же, как сейчас. Точь-в-точь.

Мирра прыснула:

– Навечно?

Настоящая

Настоящая любовь

Вот я и подошел к финалу моего "практика жизни" и "практика". Перед последней главой остановился не зная, есть ли у меня еще на оставшуюся борьбу. Прочитав все написанное выше кое-что исправил, вычеркнул, дополнил. И в конце концов, как мне казалось, вышел, вышел, вернулся будет еще, вхожу.

Даже два входа, два двери, ведущие в правую, то есть не только с идеями, но и с делами, не только с делами, но и с идеями, не только с идеями, но и с делами. Первая из них открывает со стороны Малого мира, вторая — со стороны Большого.

Многие же одна выхваченная из контекста цитата и, как ни странно это звучит, носущая даром.

Снова процитирую. У смирленного философа Бертрама Рассела я наткнулся на мысль, которая на первый взгляд привлекательна и не угнетает. Любви и знания. Правда, любовь и управление знанием. Жизнь — следствие, средство, достижение — любовь и знание. Стоить мне встать в эту линию, недолго до коррикции, и все встало на свои места.

(Из клетчатой тетради)

Настоящая Настоящая Любовь

Вот я и подошел к финалу моего «трактата внутри трактата». Перед последней главой остановился, не зная, есть ли у меня ответ на основной вопрос. Перечитал всё, написанное выше, что-то исправлял, вычеркивал, дополнял. И в конце концов, как мне кажется, нашел выход – или, вернее будет сказать, вход.

Даже два входа, две двери, ведущие в правильную, то есть не только счастливую, но и осмысленную, не только осмысленную, но и счастливую жизнь. Первая из них открывается со стороны Малого Мира, вторая – со стороны Большого.

Помогла мне одна выхваченная из контекста цитата и, как ни странно это прозвучит, посещение балета.

Сначала про цитату. У современного философа Бертрана Рассела я наткнулся на мысль, которая на первый взгляд тривиальна и не удерживает читательского внимания: «Правильная жизнь вдохновляется любовью и направляется знанием... Цель жизни – счастье; средства достижения – любовь и знание». Стоило мне внести в эту максиму небольшую коррекцию, и всё встало на свои места.

Правильная жизнь вдохновляется Настоящей Любовью и направляется аристократией. Цель жизни – счастье; средства достижения – НЛ и (а не «или») аристократия.

После этого было уже легко. Осталось только распределить приоритеты.

Первый маршрут, берущий свое начало из Малого Мира, определяется так:

Настоящая Любовь, дополненная и возвышенная аристократией.

Это означает, что человек остается внутри Малого Мира, не замахиваясь на великие цели, но при этом не замыкается в своей счастливой каюте на двоих, не запирает ее изнутри на ключ. Человек делится счастьем с теми, кому повезло меньше. Такая НЛ не эгоцентрична, а щедра.

Этой щедрости должно как минимум хватать на собственных детей. Есть отличная метафора, гласящая, что ребенок подобен дорогому, желанному гостю, приход которого – праздник. Для гостя не жалеют тепла и внимания, подают всё лучшее, что есть в доме, однако знают, что визит

продлится ограниченное количество времени. Ребенок вырастет и отправится своей дорогой, а хозяева останутся вдвоем. Родители должны относиться к детям, как к общему Делу, совместному проекту, адресованному в будущее, как к подарку, который они делают человечеству, и тогда естественная, *обычная* семейная функция – произвести на свет и вырастить потомство – озарится светом аристократии. Прекрасно, если есть возможность дать детям хорошее образование, но даже если родители очень бедны, они все равно могут воспитать в ребенке качества, которые пригодятся и для аристократического развития, и для способности к Настоящей Любви (для второго достаточно родительского примера).

Но счастливая пара, если захочет, может дать миру и гораздо больше, не ограничиваясь сугубо семейными интересами. Пожалуй, она даже должна это делать, поскольку кому многое дано, с того много и спросится.

Купаясь в счастье, нельзя забывать о том, что большинство людей несчастны. Если не из сострадательности, являющейся атрибутом аристократического Пути, то хотя бы из суеверия. Про это отлично сказано в чеховском рассказе «Крыжовник»: «Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда – болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других».

Двое, согревающие теплом своей Любви хотя бы ближнюю периферию внешнего мира, живут *правильно*, даже безупречно. В отдаленном счастливом будущем, когда урегулируются все общественные конфликты, такой образ жизни, вероятно, станет преобладающим и ничего большего от человека не потребуется. Но в современной реальности, с ее несправедливостью, жестокостью, иррациональностью, супружеская пара, избравшая дорогу НЛ, должна быть осторожна в своей эмпатической благотворительности, следя затем, чтоб центр тяжести не переместился в Большой Мир. Не следует стремиться к высокой карьере; не следует занимать должностей, которые предполагают жертвование личными интересами ради общественных; в сущности, не следует и браться за какие-то масштабные дела, увлеченность которыми поставит семейное счастье под угрозу. Человек, решивший остаться в границах Малого Мира, в некотором смысле подобен клирику, который выбирает путь белого духовенства, зная, что не станет епископом, митрополитом или патриархом.

Этот Путь чреват трагическим исходом, если хотя бы один из Любящих ощущает в себе силу или призвание для служения Большому Миру. Тогда возникает риск, что на крутом повороте судьбы, ставящим перед человеком жестокий выбор «или – или», второй партнер, оставшийся в рамках Малого Мира, почувствует себя преданным. Такой паре лучше – по взаимному согласию, с ясным осознанием всех возможных последствий – войти в другую дверь. За ней откроется дорога, имя которой **аристонмия, согретая Настоящей Любовью**. Это вторая разновидность ННЛ.

Конечно, легче, когда оба имеют склонность к такому Пути, что происходит, если глубокая, сильная Любовь связывает мужчину и женщину, решивших посвятить себя какому-то великому делу: науке, филантропии или политической деятельности. Тогда иерархия приоритетов выстраивается бесконфликтно, и Любовь без протеста, гармонично занимает в жизни пары второе место.

Примером подобной судьбы видится мне Любовный союз великих физиков Пьера и Марии Кюри. (Вернее сказать, мне очень хочется верить, что они нашли именно такое счастье, хотя интимных подробностей их брака я не знаю.) Они очень Любили друг друга, но при этом были целиком поглощены захватывающе интересной и величественной работой, от которой зависело будущее науки и человечества. После ранней трагической смерти мужа Мари продолжила общее дело и в конце концов, если воспользоваться популярным в моей стране выражением, буквально *сгорела на работе* – умерла от вредоносного воздействия радиации. Примечательно, что служение науке не помешало паре воспитать замечательных дочерей, старшая из которых весьма успешно занимается наукой, тоже вместе с мужем, а младшая, как мне рассказывали, посвятила себя занятию не менее благородному – руководит (опять-таки вместе с супругом) детским фондом при Организации Объединенных Наций. Мы видим семейную пару, которая шла аристонмическим Путем, при этом не отказываясь от Любви, и вырастила потомство, следующее той же счастливой формуле.

Но вернусь к ситуации более сложной, когда тягу к Большому Миру чувствует только один из партнеров. Как быть в этом случае?

Здесь Любовь подвергается проверке – насколько она настоящая. Может показаться, что тут есть выбор: от какого из миров отказаться, но это иллюзия. Выбора нет. Сила Большого Мира велика. Раз овладев человеком, она уже не отступает. Тот, кто ощущает внутренний потенциал *масштабного свершения* и давит в себе этот позыв ради Любви, совершает

грех, подобный добровольному уничтожению таланта. Такой человек истребляет самое лучшее, что в нем есть, а стало быть, по определению уходит с Пути самоусовершенствования.

В такого рода коллизии правильное решение может быть только одно: второй партнер должен найти в себе достаточное количество Любви, чтобы встать рядом и идти вместе, понимая при этом, что на первое место в жизни обоих выходит уже не Любовь, а Служение. Притом этот шаг должен быть сделан искренне и без привкуса жертвенности. Если тот, кого ты Любишь, принимает символический постриг, вступай в орден вместе с ним, разделяя и веру, и обеты. Понадобится взойти на крест – взойдете вместе, хоть это и погубит Малый Мир, в котором вам было так хорошо вдвоем.

Понимая, что образ восхождения на крест слишком трескуч, я, пожалуй, отдам предпочтение менее пафосной аллюзии, тем более что именно через нее мне открылось существо проблемы.

На днях я был в Большом театре на балете «Жизель», где бесконкурентно солирует Галина Уланова, на которую главным образом и приходит смотреть публика. Со своей профессиональной привычкой фиксировать внимание на малозаметных, обычно ускользающих от внимания деталях, я смотрел не столько на приму, сколько на антураж действия и вдруг увидел, какая огромная команда обеспечивает блестящее выступление артистки: и кордебалет, и оркестр, и осветители, и невидимые рабочие сцены – весь огромный коллектив, всё гигантское чрево театрального левиафана. Сама по себе Уланова выступить бы не смогла – ну, или танцевала бы вальс-бостон в кругу знакомых.

Поскольку я все время, беспрестанно, ломал голову над загадкой ННЛ, у меня в это мгновение произошло нечто вроде озарения. Я вдруг понял, что представляет собой *правильная пара*, в которой один из партнеров идет дорогой Большого Мира, а второй, влекомый Любовью, ему сопутствует.

Всё очень просто. Первый ничего не достигнет или достигнет гораздо меньшего, чем мог бы, если будет двигаться своим Путем в одиночку. Но эффект получится совсем иным, если второй партнер всего себя «инвестирует» в поддержку первого. Тогда они становятся подобием театра. Пускай вся слава, лавры, признание достаются первому, который находится на сцене, в свете рампы, но без работы второго, невидимого толпе, никакого «театра» бы не было – все ограничилось бы моноспектаклем, без сценического костюма, освещения и даже микрофона.

Можно взять и другое сравнение, банальное. Армия бывает боеспособной лишь в том случае, когда фронтовые ударные части надежно

прикрыты с флангов и имеют хорошее тыловое обеспечение. Ордена и медали заслуженно достаются тем, кто на передовой, однако без снабженцев, связистов, санитаров, поваров победа невозможна.

Третья метафора, напротив, весьма оригинальна. Я встретил ее в брошюре, привезенной нашим директором из американской командировки. Увидев название «Как сделать ваш брак счастливым», я взволновался и попросил книжку почитать, хотя у нас с академиком весьма натянутые отношения. Сам текст представляет собой набор банальностей и очевидностей, но меня поразило своей точностью уподобление семьи команде корабля. Удивительно удачная, неожиданная метафора! У автора, правда, речь идет всего лишь о том, как направить судно в гавань уюта и комфорта, однако это уж решать самому экипажу, какой они строят корабль и куда он поплывет – или, может быть, полетит, если корабль космический.

В ситуации, когда один партнер лидирует, а второй обеспечивает поддержку, прикрытия и защиту, очень важно избежать двух опасностей. Ведомый не должен полностью растворяться в личности ведущего, а ведущий не смеет подавлять ведомого. Эволюция должна распространяться и на того, и на другого. Тогда то, чего второй не добывает по линии аристонимического развития, будет с лихвой компенсироваться работой Любви. И заслуга второго перед миром не меньше, чем заслуга первого, даже если со стороны это выглядит иначе. Я читал, что, согласно верованиям китайцев (а кажется, и иудеев) жене достается ровно половина блаженства, заслуженного мужем. Верно и обратное – если заботам Большого Мира служит жена, а муж ей помогает.

Конечно, в истории, да и в современности из-за общественного неравенства полов чаще всего великие деяния совершает мужчина, а вспомогательная роль достается женщине. Так жили великий писатель Федор Достоевский и великая жена (употребляю это словосочетание безо всякой иронии, а с благоговением) Анна Сниткина. Она умирила больную душу мужа, не подавив его гения; она создала ему идеальные условия для труда; она не жалуясь и даже не грустя принимала его слабости. Они были счастливы друг с другом, а миру оставили написанные книги – и детей.

Я очень хотел бы привести пример счастливой семьи, в которой главным деятелем являлась бы женщина, но не могу вспомнить ничего столь же масштабного и общеизвестного, потому расскажу историю малозначительную и, быть может, не совсем корректно иллюстрирующую мой тезис, зато она подлинная, я наблюдал ее собственными глазами.

В будущем же – и скором будущем – по мере эмансипации полов, семейные пары, в которых жена заметнее и с общественной точки зрения «важнее» мужа, несомненно станут обычными.

История моя относится к первому разряду ННЛ – то есть, это настоящая любовь, возвышенная чем-то большим. Не великим, о нет, но безусловно выходящим за рамки счастливого мира для двоих.

Лет десять назад я познакомился с одной примечательной парой, приехавшей в столицу из провинции. Она была начинающей актрисой и, насколько я могу судить, подававшей большие надежды. Однако у С. имелся опасный для актрисы недостаток: она была *слишком* красива. До такой степени, что это затмевало ее сценический дар. Когда она входила в людное помещение, все начинали смотреть только на нее. Женщины – нервно, мужчины – мечтательно или жадно.

Меня, собственно, заинтересовала не С, а ее муж. Он совершенно терялся в тени ее сияния, на него редко обращали внимание, а если и обращали (обычно другие мужчины), то лишь как на досадную помеху. Это был молчаливый человек скромного положения и неприметной внешности. Многие считали его ничтожеством и жалели С. за мезальянс. Но, наблюдая за этой парой, я заметил, что между супругами существует некая невербальная, но понятная обоим коммуникация. Если кто-то из ухажеров делался слишком настойчив, актриса как-то беспомощно, растерянно смотрела на мужа, и тот немедленно приходил ей на выручку – чаще всего спокойно, уверенно и тактично, а если этого оказывалось недостаточно, мог и вступить в драку. Однажды я оказался свидетелем подобной сцены, в которой мужу-защитнику здорово досталось, и мне пришлось вправлять ему сломанный нос. Мы разговорились. Он сказал, что ему случалось, защищая «Сашуленьку», попадать и в больницу, но он не видел в этом ничего особенного. «Она – великий талант. Она – чудо божье, – убежденно говорил этот человек, улыбаясь окровавленным ртом, – и я счастлив, что нахожусь рядом, что я ей нужен. Без меня она пропадет». Он говорил, как она непрактична, как не может о себе позаботиться и какое наслаждение готовить ей еду, стирать и утюжить ее наряды, чистить ее маленькие туфельки. Видя ее на сцене, он замирал от восторга, не мог сдержать слез. И, конечно, был абсолютно убежден, что «Сашуленьку» ждет великое театральное будущее, как только публика разглядит под сиянием эффектной внешности гениальную актрису. Помнится, меня удивило, что не только муж, но и сама С. относились к ее поразительной красоте с некоторым даже раздражением.

Потом произошло то, чего все ждали. В С. влюбился народный артист,

знаменитый кинорежиссер, предложивший ей главную роль в большой картине. Это был путь к быстрой и огромной славе. Но для того, чтобы получить роль, С. должна была сойтись с режиссером. У этого действительно выдающегося мастера, был, если так можно выразиться, свой художественный метод (впрочем довольно обычный в этом ремесле): он мог снять удачный фильм, только если состоял в любовной связи с главной героиней, иначе не загорался работой и ничего не получалось.

Между С. и ее мужем возникла ссора, в некотором роде уникальная. Он уговаривал ее уйти к режиссеру, «принести себя в жертву искусству». Она не соглашалась. Я был посвящен в эту странную коллизию, потому что супруг после того откровенного разговора считал меня своим единственным конфиденантом и рассчитывал на мою поддержку.

Проку от меня не вышло. Я слушал, как они ругаются, и помалкивал.

«Если ты веришь в свой Дар, в искусство, ты должна подчинить этому всё! – горячился муж. – Иначе ты будешь не Актриса, а мещанка!»

«Будут другие предложения. Я подожду...» – слабо возражала С. «Не говори глупостей! Не будет никаких предложений! Ни в Москве, ни в Ленинграде! – кричал он. – Ты же его знаешь, он царь и бог, он перекроет тебе все дороги! Придется возвращаться в Облдраму. Всю оставшуюся жизнь будешь играть перед залом, в котором хорошо если пять нормальных человек на пятьсот дебилов! Я этого не позволю! Не потерплю, чтобы из-за меня ты зарывала в землю свой талант! Я сам от тебя уйду!» Он не красовался перед самим собой, не играл в благородство – это было видно. Жена скоро перестала спорить, а только плакала и мотала головой.

Актриса есть актриса, даже один зритель для нее – публика, подумал я и откланялся, чтобы своим присутствием не мешать С. принять решение, казавшееся мне неизбежным.

Но я ошибся. Через несколько дней они уехали из столицы. Роль в картине сыграла другая артистка, впоследствии вышедшая за того режиссера и ставшая всесоюзной знаменитостью.

С. и ее мужья надолго потерял из виду и встретил вновь совсем недавно, будучи в их городе по служебной надобности.

Она играет в местном театре. По-моему, очень хорошо. Давали «Трех сестер», где С. исполняла роль Маши. Вершинин говорил ей: «Допустим, что среди ста тысяч населения этого города, конечно, отсталого и грубого, таких, как вы, только три» – и она так на него смотрела, так молчала, что у меня стиснулось в груди. Я вдруг перестал замечать, что зал в основном заполнен по разнарядке «культпоходниками» – красными

от пива рабочими и озорничаящими школьниками, а увидел несколько человек с осмысленными, взволнованными лицами, и, кажется, впервые понял, о чем пьеса Чехова и зачем в депрессивном шахтерском городе нужен драмтеатр.

Был там и муж, сидевший рядом со мной. Всякий раз, когда С. произносила реплику, он тоже беззвучно шевелил губами.

Наверное, этот пример ННЛ выглядит не слишком выигранно, но мне он почему-то согревает душу. Им я, пожалуй, и закончу свою вставную главу о Любви.

Мне осталось сказать только одно.

Углубившись в эту трудную, временами мучительную для меня тему, я надеялся найти формулу земного рая – и вывел целых две. Но кроме того я понял еще вот что.

Рай не может существовать без ада. И земной ад – это не жизнь, полная страданий. Это жизнь пустая, потраченная зря – когда в ней не нашлось места ни для Настоящей Любви, ни для аристократии, ни даже для детей, эстафеты в будущее.

Жизнь, которой все равно что не было.

notes

СНОСКИ

1

Немногим счастливцам (*англ.*).

2

Древнегреческие философы относили сюда же (а некоторые ставили даже выше) чувственные контакты между двумя мужчинами, но я не буду касаться этой разновидности любовных отношений, поскольку она находится вне нынешней сферы моего интереса.

3

Катексис – в немецком оригинале *Besetzung* («оккупация, захват»).

4

На трактовках Любви, присущих восточным культурам, я остановлюсь ниже.

5

Никакой надежды (*лат.*).

6

Поспешай не торопясь (*лат.*).

7

Прилежание (*нем.*).

8

Постороннее (*лат.*).

9

Для обсуждения (*лат.*).

10

Плотские желания (*лат.*).

11

Чувственная любовь (*лат.*).

12

Девушка в цвету (фр.).

13

Я был подростком, когда случилась драма в Ясной Поляне, и взрослые вокруг меня ожесточенно спорили, кто был прав в этом семейном конфликте, за которым следила вся думающая Россия: Лев Николаевич или Софья Андреевна. Теперь мне ясно, что это был классический, во всей его горечи и трагичности, раздор между интересами Большого и Малого Миров.

Table of Contents

[Борис Акунин, Григорий Чхартишвили Другой Путь](#)

[НЛ и ННЛ](#)

[Краткая история Любви](#)

[Altera pars](#)

[Любовь Нового времени](#)

[Соблазн Шопенгауэра](#)

[Анамнез Любви](#)

[«Неправильная Любовь»](#)

[Любовь и Вера](#)

[Любовь мужская и женская](#)

[Физическая составляющая](#)

[НЛ](#)

[Настоящая Настоящая Любовь](#)

[Сноски](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)